UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00324979 4

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

WILLIAM H. DONNER
COLLECTION

purchased from
a gift by

THE DONNER CANADIAN
FOUNDATION

326 R

I

Дорогой

Сергею Григорьевичу

Евгении Ивановне

(17)

со самым сердечным чувством

и знаком глубокого уважения

Автор.

Шестерне Б.

А

ALDANOV, MARK ALEKSANDROVICH

М. А. АЛДАНОВЪ

PESHCHERA

ПЕЩЕРА

ТОМЪ II

ПЕТРОПОЛИСЪ / БЕРЛИНЪ

LIBRARY
JUL 22 1969
UNIVERSITY OF TORONTO

Alle Rechte vorbehalten.
Copyright 1936 by M. A. Aldanov.

PG
3476
A327 P4
t.2

Druck: Speer & Schmidt, Berlin SW 68

I.

«О человѣкѣ этомъ поистинѣ могу сказать, что данъ ему духъ бодрствующій, сильный и безпокойный и что любитъ онъ все новое. Обычное же существо людей и дѣйствія ихъ ему не нравятся: ищетъ онъ дѣлъ рѣдкихъ и неиспытанныхъ, и въ мысляхъ у него много больше того, что замѣчаютъ другіе.

Восхожденіе Сатурна свидѣтельствуетъ, что мысли этого человѣка безполезны и печальны. Онъ имѣетъ склонность къ алхиміи, къ магіи, къ колдовству и къ общенію съ духами. Человѣческихъ же заповѣдей и вѣры онъ не цѣнитъ и не уважаетъ. Все раздражаетъ его, все вызываетъ въ немъ подозрѣніе изъ того, что творятъ Господь и люди. А покинутый одинокій мѣсяцъ показываетъ, что эта его природа весьма вредитъ ему въ общеніи съ другими людьми и не вызываетъ въ нихъ добрыхъ чувствъ къ нему.

Однако лучшее при его рожденіи было то, что показался тогда и Юпитеръ. Посему есть надежда, что съ годами отпадутъ его недостатки и что этотъ необыкновенный человѣкъ станетъ способенъ къ дѣламъ высокимъ и важнымъ». [1])

II.

«Можетъ быть, еще и неправда», — подумала Муся съ надеждой: она сѣла въ автомобиль такъ же легко, какъ всегда, и не чувствовала ничего такого, что описывалось въ книгахъ. «Очень можетъ быть, еще и неправда... Докторъ вѣдь и сказалъ только: «по всей вѣроятности»... Но отчего же я такъ устала? Правда, очень жарко... Вотъ сейчасъ онъ повернетъ направо»... Шофферъ дѣйствительно выѣхалъ на большую дорогу. «Прекрасный автомобиль, и мы отлично сдѣлали, что купили его. Вивіанъ былъ совершенно правъ. Къ сожалѣнію, онъ всегда правъ»...

Автомобиль все ускорялъ ходъ. Между двумя виллами, въ просвѣтѣ, за участкомъ земли съ огромной надписью: «Terrains à vendre», показалось море съ мелкими бѣловатыми волнами и снова исчезло. Въ саду, весело смѣясь и крича, играли въ крокетъ полуодѣтые барышни и молодые люди. Подъ пестрымъ зонтомъ, въ своемъ саду, пила чай семья. «Вотъ и у меня будетъ со временемъ такая», — съ ужасомъ подумала Муся. — «Такъ лѣтъ черезъ двадцать... Со всѣмъ тѣмъ, тогда это будетъ уютно... Еще propriété à vendre... Здѣсь, кажется, все продается»...

Нехитрый гипсовый поваренокъ, въ бѣлой курткѣ и голубыхъ штанахъ, у дверей ресторана протягивалъ руку съ меню. Синимъ пятномъ мелькнула на огромной афишѣ роковая женщина кинематографа. «Les Ondes», «Les Dunes», «Jeannette», «Réséda», «Camélia», «Louisette»... — читала Муся названія виллъ, все въ нормандскомъ стилѣ: косыя и вертикальныя коричневыя полосы на свѣтложелтомъ фонѣ, крыши съ непостижимымъ количествомъ острыхъ угловъ. «Боже, какъ бѣдна чело-

вѣческая фантазія!.. Отлично идетъ автомобиль... Какіе это стихи онъ отбиваетъ? Не помню, какіе, но это были чудесные, грустные стихи... Опять поваренокъ. Этотъ, по крайней мѣрѣ, негръ. Да, очень можетъ быть, что неправда: сейчасъ, напримѣръ, я рѣшительно ничего не чувствую... «Zanzibar»... Какъ глупо! Выпить cocktail?... Нѣтъ, гадко... Да, кажется, дурно при одной мысли», — тревожно провѣрила себя Муся. — «Это ничего не доказываетъ... Не надо было уѣзжать тотчасъ послѣ завтрака, въ самое жаркое время дня. Но иначе я, навѣрное не застала бы этого несчастнаго донъ-Педро... Какъ хорошо тогда было!.. «Кто прежней Тани, — бѣдной Тани, — теперь въ княгинѣ-бъ не узналъ»... Этотъ автомобиль доставляетъ мнѣ такое же удовольствіе, какое папѣ доставлялъ въ Петербургѣ нашъ первый экипажъ. Бѣдный папа! О немъ теперь, кромѣ мамы, забыли рѣшительно всѣ на землѣ. Какъ ни стыдно, и я забыла. То-есть, не забыла, а я не испытываю больше горя. Но у меня теперь это вытѣснило все другое».

Это она не хотѣла называть и въ мысляхъ. Слово было некрасивое, грубое, рѣдко употребляющееся въ разговорѣ, — «беременность», — оно и прежде рѣзало слухъ Мусѣ. Забывъ о своихъ Люцернскихъ мысляхъ, она приняла почти какъ несчастье сообщеніе доктора. Проплакавъ всю ночь, она утромъ потребовала отъ мужа, чтобы объ этомъ никто пока ничего не зналъ. Клервилль недоумѣвалъ.

— Я никому не собирался разсказывать, но собственно отчего такой секретъ? И отчего такое горе?

Муся взглянула на него почти съ ненавистью. Ей вдобавокъ казалось, что и онъ принялъ извѣстіе безъ восторга.

— Конечно, рожать не вамъ, а мнѣ.

— Безъ всякаго сомнѣнія, но я не думалъ, что это для васъ будетъ неожиданностью, — сказалъ, разсердившись, Клервилль. — Съ другой стороны, на войнѣ, напримѣръ, былъ я, а не вы...

Онъ самъ тотчасъ почувствовалъ, что замѣчаніе вышло глупое: одна изъ тѣхъ глупостей, которыя могутъ сорваться у умнаго человѣка. Муся, не отвѣтивъ ни слова, вышла изъ комнаты. «Все-таки странно ссориться по такому поводу. Съ англичанкой этого не могло бы никакъ быть», — подумалъ Клервилль, и опять ему пришло въ голову, что его женитьба была непоправимой ошибкой.

«Да, если это правда, то личная жизнь кончена. Можетъ быть, навсегда, но ужъ навѣрное надолго... Все, все кончено», — думала Муся, прислушиваясь къ автомобилю, отбивавшему тактъ ея мыслей: «Кто прежней Тани — бѣдной Тани»... «Все» — это были и надежды на новую, совсѣмъ новую, встрѣчу съ Брауномъ, и то неловкое, нехорошее, но тоже новое, волнующее, что завязывалось между ней и Серизье, и еще больше, быть можетъ, легкая свободная, беззаботная жизнь, которой она жила въ Парижѣ.

Жизнь эта почти не измѣнилась послѣ смерти отца: Тамара Матвѣевна, ссылаясь на волю Семена Исидоровича, требовала, чтобы Муся не соблюдала траура. Муся сомнѣвалась, дѣйствительно ли выразилъ такую волю ея отецъ (онъ, по ея мнѣнію, вообще никогда не думалъ о смерти, хоть часто говорилъ о ней), — и смутно чувствовала, что Тамарѣ Матвѣевнѣ было бы пріятно, если-бъ все же трауръ соблюдался.

Вначалѣ предполагалось, что, по возвращеніи изъ Люцерна въ Парижъ, Тамара Матвѣевна поселится вмѣстѣ съ ними. «Не могу же я выбросить

маму на улицу!» — сказала мужу Муся съ легкимъ раздраженіемъ, точно онъ ей возражалъ. Клервилль поспѣшно отвѣтилъ: «разумѣется». «Однако, въ слѣдующій разъ онъ отвѣтитъ сдержаннѣе, а потомъ и въ самомъ дѣлѣ станетъ возражать. Да, собственно это и вправду демагогія съ моей стороны: никто вѣдь не предлагаетъ выбросить маму на улицу, дѣло идетъ только о томъ, чтобы устроить ее на отдѣльной квартирѣ, по близости отъ насъ... Жизнь Вивіана не можетъ быть испорчена оттого, что умеръ папа, котораго онъ, въ сущности, и зналъ очень мало»... Тамару Матвѣевну устроили въ пансіонѣ по сосѣдству съ ихъ гостиницей. Муся заходила къ ней ежедневно, Клервилль раза два въ недѣлю. По воскресеньямъ Тамара Матвѣевна обѣдала у нихъ. Вначалѣ говорилось, что со временемъ они снимутъ квартиру и поселятся вмѣстѣ. Потомъ объ этомъ перестали говорить: «Все-таки я не вправѣ требовать такой жертвы отъ Вивіана», — думала Муся. Она въ душѣ признавала, что ея мужъ ведетъ себя чрезвычайно корректно. Муся этого ему не говорила: никогда не надо было признавать вслухъ, что мужъ правъ, — такъ или иначе онъ могъ это потомъ использовать.

Трауръ соблюдался въ легкой формѣ. Можно было ходить въ концерты, но въ театръ Муся не ѣздила. Она больше не танцовала, но весь день проводила на людяхъ, то въ гостяхъ, то у себя, то въ ресторанахъ Булонскаго лѣса. Не помѣшалъ трауръ и покупкѣ автомобиля. Черезъ недѣлю послѣ ихъ возвращенія изъ Люцерна, Клервилль, со смущеннымъ видомъ, сказалъ женѣ, что, къ сожалѣнію, приходится упустить совершенно исключительный случай: одинъ изъ его сослуживцевъ совсѣмъ недавно купилъ превосходный автомобиль Дэймлера, а теперь получилъ назначеніе въ колоніи и продаетъ за полцѣны машину, едва ли сдѣлавшую двѣ

тысячи километровъ. — «Такой находки, конечно, больше никогда не будетъ, и если-бъ не было неловко изъ-за нашего несчастья»... Автомобиль былъ купленъ по настоянію Тамары Матвѣевны. «Папа былъ бы такъ радъ, Мусенька, онъ такъ тебя любилъ... И Вивіана», — сказала она и заплакала.

Цѣна, уплаченная за автомобиль, была, несмотря на рѣдкій случай, высока. Муся даже имѣла сомнѣнія насчетъ случая. Она знала, что ихъ состояніе внезапно очень увеличилось. Значительная часть полученнаго ими наслѣдства была вложена въ какія-то экзотическія акціи, которыя вдругъчрезвычайно поднялись на биржѣ. Клервилль, смѣясь, разсказывалъ, что его тетка купила эти цѣнности вопреки предостереженію своего банкира, — больше, кажется, потому, что ей нравилось ихъ звучное названіе. Что такое съ ними произошло, онъ и самъ въ точности не зналъ: не то найдена была какая-то руда, не то оказалась недоброкачественной руда конкуррирующаго предпріятія. Банкиръ Клервилля не совѣтовалъ торопиться съ продажей бумагъ, — цѣна все росла. Клервилль однако ихъ продалъ и, какъ оказалось позднѣе, продалъ въ самый выгодный моментъ: потомъ акціи снова упали. Это внезапное увеличеніе состоянія пришлось какъ разъ послѣ кончины Семена Исидоровича. Совпаденіе вызывало у Муси грусть и неловкость, какъ она ни рада была неожиданно свалившимся деньгамъ. Теперь было бы такъ легко скрасить жизнь ея отца. «Да, какъ все странно!» — думала она.

Клервилль ничего этого не думалъ и былъ очень веселъ. Засѣданія комиссіи все учащались. Невольно поддавалась его настроенію и Муся. Они оба вдругъ почувствовали, что нѣтъ ни причины, ни смысла оставаться въ опустѣвшемъ душномъ Парижѣ. Серизье уѣзжалъ въ Довилль. Муся предложила также туда отправиться, — она словно нарочно испы-

тывала терпѣніе мужа. Однако Клервилль тотчасъ согласился. Въ Довиллѣ начался большой сезонъ поло, — онъ страстно любилъ эту игру и теперь собирался пріобрѣсти лошадей. Отпускъ на службѣ ему давно полагался.

Тамара Матвѣевна только руками замахала, когда Муся нерѣшительно предложила ей отправиться съ ними на море. Но ихъ она очень убѣждала остаться тамъ подольше. — «Я, Мусенька, отлично могу жить въ пансіонѣ одна, что со мной можетъ случиться? А мнѣ такъ пріятно, что ты отдохнешь... И Вивіанъ»... — сказала она со слезами (ея слезы теперь утомляли не только Клервилля, но и Мусю).

Одобрила Тамара Матвѣевна и то, что въ Довилль выписали Витю. Муся, тотчасъ по возвращеніи изъ Люцерна, рѣшительно потребовала отъ мужа, чтобы онъ досталъ для Вити визу. Въ томъ состояніи доброты, душевной мягкости, заботы о другихъ людяхъ, въ которомъ она недолго находилась послѣ смерти отца, Мусѣ стало страшно, что Витя почему-то живетъ далеко отъ нея, одинъ, въ Германіи, гдѣ происходили и снова могутъ начаться кровавыя событія (онъ еще раньше, по ея настоянію, переѣхалъ изъ Берлина на нѣмецкій морской курортъ). Визу оказалось возможнымъ устроить въ нѣсколько дней. «Пріѣзжай немедленно или во всякомъ случаѣ, какъ только ты устроишь тѣ soi-disant дѣла, что у тебя будто-бы завелись, если, конечно, ты не врешь», — писала Муся, впадая въ ласково-повелительный тонъ старшей сестры. — «Мы оба ждемъ тебя съ нетерпѣніемъ (это «мы оба» доставило немало горя Витѣ). Готовься къ поступленію въ Сорбонну и къ серьезной работѣ съ осени. Давно пора». Ласково-повелительный тонъ еще въ Россіи былъ привыченъ Мусѣ въ обращеніи съ Витей, но съ тѣхъ поръ, какъ онъ получалъ отъ

нея деньги, тонъ этотъ, независимо отъ ея воли, принялъ чуть иной оттѣнокъ.

Встрѣтились они радостно-нѣжно, все-же не такъ, какъ годъ тому назадъ, въ Гельсингфорсѣ. «Я ли это измѣнилась, или онъ?» — спрашивала себя Муся. — «Конечно, онъ очень хорошій мальчикъ, но все-таки довольно обыкновенный, и главное, именно мальчикъ. Во всякомъ случаѣ съ нимъ будетъ нелегко, даже и независимо отъ денегъ... Ахъ, эти проклятыя деньги, какъ онѣ все отравляютъ!»

Витя жилъ на ея средства. Клервилль ни разу объ этомъ не сказалъ ни слова; но именно это тяготило Мусю, — почти такъ, какъ Витю мучило въ Берлинѣ, что ни слова о деньгахъ не говорили Кременецкіе. Отправляя ему чекъ на переѣздъ, Муся вдругъ и себя поймала на мысляхъ о томъ, что можно было бы купить на эту сумму. Она тотчасъ, со стыдомъ, отогнала отъ себя эти мысли. Однако, деньги безпрестанно о себѣ напоминали. «Если мнѣ такъ, то каково же ему, съ его деликатностью?» — говорила себѣ Муся и старалась быть особенно милой съ Витей. Но это было хуже всего: прежде с т а р а т ь с я было не нужно, — оба они это чувствовали. Какъ-то за обѣдомъ, вскорѣ послѣ пріѣзда Вити, Муся заговорила о предстоящемъ началѣ университетскаго семестра въ Парижѣ. — «Я думаю, очень пріятно учиться въ Парижскомъ университетѣ», — сказала она. — «Въ самомъ дѣлѣ, это, должно быть, очень пріятная жизнь», — подтвердилъ Клервилль. Хотя слова его не имѣли рѣшительно никакого скрытаго смысла, Витя покраснѣлъ; смутилась и сама Муся. Послѣ обѣда, оставшись съ Мусей наединѣ, Витя рѣшительно заявилъ, что объ его поступленіи въ университетъ говорить не приходится.

— Я не могу жить нѣсколько лѣтъ на счетъ твоего мужа! Достаточно того, что... — Голосъ его

дрогнулъ. — Конечно мнѣ лучше всего поѣхать въ армію...

— Перестань говорить глупости!

— Это не глупости, а самое разумное, что я могу сдѣлать, и самое порядочное, — сказалъ Витя и опять покраснѣлъ, вспомнивъ, что точно такой же разговоръ у нихъ былъ годъ тому назадъ въ Гельсингфорсѣ. Онъ почувствовалъ, что и Муся подумала объ этомъ. — Во всякомъ случаѣ объ университетскихъ занятіяхъ не можетъ быть и рѣчи. А вотъ, если-бъ ты могла найти для меня платную работу...

— Деньги это вздоръ, очень стыдно, что ты объ этомъ говоришь! Однако если тебя, по твоей глупости, это тревожитъ, то я не возражаю. Можетъ быть, такую работу можно сочетать съ университетомъ? Кромѣ того, ты такъ молодъ, что университетъ не убѣжитъ, — сказала Муся. — Знаешь что? Надо бы намъ воспользоваться тѣмъ, что донъ-Педро по близости, и обратиться къ нему? Я уже о немъ думала («Значитъ, она сама думала, что мнѣ пора поискать заработка», — отмѣтилъ мысленно Витя). Это прекрасная мысль. Вдругъ ты станешь великимъ кинематографическимъ артистомъ? — продолжала она въ шутливомъ тонѣ. — Или кинематографическимъ режиссеромъ, а? Донъ-Педро, конечно, можетъ тебя устроить. Вотъ только захочетъ ли онъ?

— Мнѣ все равно, какая работа, лишь бы я могъ жить безъ чужой помощи, — сказалъ Витя. Въ голосѣ его Мусѣ послышалось оскорбленіе.

— Спасибо за это «чужой»... Ну, что-жъ, я попрошу донъ-Педро назначить мнѣ свиданіе. Говорятъ, онъ теперь великій человѣкъ. Можетъ, надо говорить не «свиданіе», а «аудіенцію»?...

О свиданіи Муся попросила донъ-Педро не сразу. Сначала что-то помѣшало, — дѣло было все-таки не спѣшное, — а потомъ докторъ ей объявилъ, что она, по всей вѣроятности, беременна. Только дня черезъ два послѣ этого извѣстія, по настойчивой просьбѣ Вити, Муся отправилась къ Донъ-Педро, который жилъ на сосѣднемъ курортѣ.

Муся и сейчасъ еще не знала, какого мѣста будетъ просить для Вити у Альфреда Исаевича. «Неужели статиста въ кинематографѣ? Я понимаю, что это обидно для его самолюбія. Я и сама желала бы для него другого. Конечно, и среда это, должно быть, не Богъ знаетъ какая, особенно вредная въ его годы. Сонечка тоже была статисткой или чѣмъ-то въ этомъ родѣ. Но это было въ Петербургѣ, въ большевистское время... Въ Россіи все было совершенно другое. Тогда всѣ они у насъ жили, ѣли, пили, и никому въ голову не приходило, что это неестественно, неловко или стыдно. Удивительно, какъ на насъ подѣйствовалъ парижскій воздухъ, воздухъ «буржуазной Европы»... Могла ли бы я прежде подумать, что во м н ѣ скажется самый обыкновенный эгоизмъ богатыхъ людей, что деньги будутъ занимать такое мѣсто въ моей жизни, въ жизни папы, что онѣ отразятся на моихъ отношеніяхъ съ Витей! У него нѣтъ ни отца, ни матери и, если-бъ не я, то онъ погибъ бы въ самомъ буквальномъ смыслѣ слова. Онъ и погибнетъ, если я умру отъ родовъ»... — Муся съ перваго дня рѣшила, что у нея мрачныя предчувствія, и тотчасъ имъ повѣрила. «Да, умру, меньше, чѣмъ черезъ годъ послѣ кончины папы... О мамѣ позаботится Вивіанъ... Съ нимъ вышла глупая ссора. Удивительно: у насъ ссоры почти всегда по такимъ поводамъ, что ни понять, ни разсказать потомъ нельзя... Но о Витѣ некому будетъ позаботиться. Поэтому я должна его устроить. Надо, кстати, купить ему подарокъ, хоро-

шій, дорогой, такой, чтобы могъ ему пригодиться и въ случаѣ нужды, когда меня не будетъ. Денегъ въ подарокъ онъ не возьметъ. Кольцо ему купить, что ли, или запонки, или булавку, какъ только появятся лишніе деньги»... Несмотря на значительное увеличеніе состоянія, лишнихъ денегъ у нихъ все-таки какъ будто никогда не было. Они по прежнему проживали весь свой доходъ. «Вивіанъ и знать не долженъ. Но во всякомъ случаѣ, я обязана его устроить»... Мусѣ хотѣлось плакать оттого, что она скоро умретъ отъ родовъ, оттого, что она больше не любитъ Витю, оттого, что такъ много страннаго въ жизни, въ особенности оттого, что надо бросить все. «Конечно, надо. Теперь это было бы просто гадко и глупо... Все гадко: и эти мои похожденія, и комиссія Вивіана... Все надо измѣнить, какъ я и хотѣла тогда въ Люцернѣ», — думала Муся. «Теперь — въ княгинѣ-бъ — не узналъ»... — стучалъ, переговариваясь съ ней, Дэймлеръ.

III.

Донъ-Педро, предупрежденный изъ Довилля по телефону, встрѣтилъ Мусю въ hall'ѣ своей гостиницы, самой дорогой на курортѣ. Непріятной неожиданностью оказалось то, что съ Альфредомъ Исаевичемъ былъ Нещеретовъ. Увидѣвъ его, Муся вспомнила: бывшій богачъ теперь состоялъ компаніономъ донъ-Педро, она слышала объ этомъ еще въ Парижѣ.

Альфредъ Исаевичъ былъ чрезвычайно внимателенъ и любезенъ. Но это былъ другой человѣкъ. — «Право, кажется, онъ и ростомъ выше сталъ», — съ улыбкой подумала Муся. Одѣтъ Донъ-Педро былъ превосходно, именно такъ, какъ полагается быть одѣтымъ на морскомъ курортѣ не очень молодому богатому человѣку: свѣтлый костюмъ, шелковая рубашка съ открытымъ воротникомъ, галстухъ, поясъ, бѣлые башмаки, все такъ и сверкало новизной.

— ...Да, да, Марья Семеновна, повѣрьте, я былъ совершенно потрясенъ кончиной вашего батюшки, — говорилъ онъ, пододвигая Мусѣ кресло у небольшого стола, на которомъ стояли кофейный приборъ и рюмки съ ликеромъ. — Вѣдь вы въ Люцернѣ получили мое письмо?

— Да, очень васъ благодарю... Мы никому тогда не отвѣчали, но...

— Что вы! Какіе тутъ отвѣты!.. Ваша матушка здорова? Я понимаю, какой это былъ ужасный ударъ для Тамары Матвѣевны.

Нещеретовъ пробурчалъ что-то сочувственное. Онъ послѣ смерти Семена Исидоровича не прислалъ ни письма, ни телеграммы.

— Мама здорова, какъ можетъ быть здорова теперь, но ея жизнь кончена.

Донъ-Педро глубоко вздохнулъ. Онъ искренно жалѣлъ Тамару Матвѣевну.

— Я понимаю... Ваша матушка съ вами въ Довиллѣ?

— Нѣтъ, она отказалась съ нами поѣхать, какъ мы ее ни просили.

— Я понимаю... Вы позволите вамъ предложить чашку кофея? Здѣсь превосходный кофей, какого я, кажется, съ Петрограда не пилъ.

Донъ-Педро теперь говорилъ не кофе, а кофей. Онъ обмѣнялся съ Мусей замѣчаніями о жарѣ въ Парижѣ, о погодѣ на морѣ, о Довиллѣ, — Альфредъ Исаевичъ уже зналъ и Довилль. «Нѣтъ я не очень люблю эти модныя свѣтскія мѣста», — тихо сіяя, говорилъ онъ. — «Каждый вечеръ напяливать смокингъ, покорно благодарю»... — Нещеретовъ слушалъ его съ усмѣшкой.

— Какіе же теперь, Марья Семеновна, ваши планы? Вашъ супругъ будетъ служить въ Англіи?

— Онъ самъ еще этого не знаетъ. Мы изъ Довилля поѣдемъ въ Лондонъ, тамъ все это выяснится. Можетъ быть, мой мужъ будетъ назначенъ военнымъ агентомъ на континентъ... У меня къ вамъ просьба, Альфредъ Исаевичъ...

— Не просьба, а приказаніе, — любезно сказалъ донъ-Педро. — Я слушаю.

Муся перешла къ дѣлу. Альфредъ Исаевичъ тотчасъ ее прервалъ.

— Яценко? Сынъ петроградскаго слѣдователя по важнѣйшимъ дѣламъ?

— Да. Вы его знали?

— Конечно, зналъ... Марья Семеновна, я зналъ весь Петроградъ. Николай Петровичъ Яценко — добавилъ онъ со своей безошибочной памятью на имена и отчества. — Это былъ прекрасный человѣкъ... Я слышалъ, что онъ погибъ?

— Да, повидимому. Но сынъ этого не знаетъ и все еще надѣется, что его отецъ живъ.

— Дай Богъ, чтобы онъ былъ правъ!.. Ужасъ-ужасъ!.. Прекраснѣйшій былъ человѣкъ. Такъ сынъ его здѣсь? Помнится, я видѣлъ одного сына Николая Петровича, не тотъ ли это? Тотъ во время войны еще былъ гимназистомъ.

— Тотъ самый. У Николая Петровича былъ только одинъ сынъ, вотъ онъ теперь и оказался здѣсь...

— И, конечно, никакихъ средствъ не имѣетъ, — докончилъ за нее донъ-Педро. — Бѣдный юноша... Сколько теперь такихъ драмъ! Вы, вѣрно, собираете для него деньги? Я охотно готовъ принять участіе въ подпискѣ, — сказалъ Альфредъ Исаевичъ и вынулъ изъ бокового кармана новенькій изящный бумажникъ. Это теперь для него уже стало довольно привычнымъ дѣломъ. Въ послѣдніе мѣсяцы къ нему часто обращались за пожертвованіями дамы. Донъ-Педро и заранѣе увѣренъ былъ послѣ телефоннаго звонка Муси, что она хочетъ просить о пожертвованіи. — Радъ помочь, сколько могу...

— Нѣтъ, нѣтъ, Альфредъ Исаевичъ, вы ошибаетесь, — сказала Муся. — Видите ли, этотъ юноша очень близокъ нашей семьѣ, онъ долго жилъ у насъ и папа очень его любилъ. Слѣдовательно, пока у меня есть средства, онъ нуждаться никакъ въ подпискѣ не можетъ, — пояснила она, съ досадой чувствуя на себѣ насмѣшливый взглядъ Нещеретова.

— Такъ чего же вы желаете, Марья Семеновна? — спросилъ Альфредъ Исаевичъ. Съ полной готовностью вынимая бумажникъ изъ кармана, онъ клалъ его назадъ еще охотнѣе. Узнавъ, въ чемъ дѣло, донъ-Педро только вздохнулъ. По добротѣ своей и по опьяненію властью, онъ и такъ уже принялъ на службу больше людей, чѣмъ требовалось дѣлу. — На службу это, конечно, труднѣе... Одна-

ко я все сдѣлаю... Не только потому, что вы этого желаете, хоть и этого, разумѣется, было бы достаточно, но еще и потому, что я сохранилъ о Николаѣ Петровичѣ свѣтлое воспоминаніе. Мы съ нимъ были въ самыхъ добрыхъ отношеніяхъ, — почти искренно сказалъ донъ-Педро: ему теперь дѣйствительно казалось, что онъ всегда былъ въ самыхъ добрыхъ отношеніяхъ съ разными видными людьми. — Что онъ умѣетъ дѣлать, вашъ молодой человѣкъ?

— Что онъ умѣетъ дѣлать?.. Начать съ того, что онъ прекрасно знаетъ иностранные языки: французскій, англійскій, нѣмецкій.

— Это очень важно, — одобрительно сказалъ донъ-Педро. — Въ нашей браншѣ языки первое дѣло... Можетъ, и стенографію знаетъ?

— Нѣтъ, стенографіи онъ не знаетъ.. Но я увѣрена, онъ въ дѣлѣ быстро ей научится.

— Было бы веселѣе, если-бъ малецъ уже ее зналъ, — сказалъ Нещеретовъ. — А то въ дѣлѣ учиться, дѣлу накладно-съ.

— Разумѣется, — подтвердилъ донъ-Педро, смягчая улыбкой тонъ своего компаньона. — Со всѣмъ тѣмъ стенографія не есть условіе sine qua non... Вотъ что мы сдѣлаемъ, Марья Семеновна. Мы съ Аркадіемъ Николаевичемъ послѣзавтра возвращаемся въ Парижъ...

— Такъ скоро?

— Да, увы! Дѣла вотъ сколько, — Альфредъ Исаевичъ показалъ на горло. — Вы адресъ нашей дирекціи знаете? Я его вамъ дамъ... Такъ вотъ, пусть этотъ молодой человѣкъ зайдетъ ко мнѣ, какъ только онъ вернется въ Парижъ. Я съ нимъ поговорю, разспрошу его, какъ и что, и почти увѣренъ, что работа для него найдется. Правда, Аркадій Николаевичъ? — обратился донъ-Педро къ Нещеретову. Впрочемъ, по его вѣжливо-снисходитель-

ному тону ясно было, что онъ спрашиваетъ только изъ корректности, чувствуя себя полнымъ хозяиномъ.

Чувствовалъ это и Нещеретовъ. Онъ занималъ въ дѣлѣ должность члена правленія, но былъ на вторыхъ роляхъ, отъ которыхъ очень давно отвыкъ. Его и взяли больше за связи, да еще потому, что участіе Нещеретова было лестно Альфреду Исаевичу, который помнилъ прошлую славу разореннаго богача. Нещеретовъ старательно поддерживалъ свой обычный грубовато-насмѣшливый тонъ, по привычкѣ продолжалъ зачѣмъ-то поддѣлываться подъ купца или мѣщанина; но все это выходило не такъ, какъ прежде.

— Работа для работящаго человѣка всегда найдется, — отвѣтилъ онъ, угрюмо взглянувъ на Альфреда Исаевича. Нещеретова раздражало, что распорядителемъ фирмы, чуть только не его начальникомъ, оказался Богъ знаетъ кто. Однако такъ повернулось денежное колесо, которымъ онъ самъ работалъ всю жизнь. Работу этого колеса онъ привыкъ принимать и признавать безъ споровъ. Одни, богатѣя, взлетали, другіе разорялись и падали, — такъ всегда было. Съ раздраженіемъ и съ тяжелымъ чувствомъ, онъ теперь признавалъ въ этомъ мелкомъ газетчикѣ хозяина. Альфредъ Исаевичъ и смѣшилъ Нещеретова, и внушалъ ему нѣкоторое подобіе уваженія: какъ ни какъ, именно онъ придумалъ дѣло, обѣщавшее блестящій успѣхъ; онъ и капиталъ нашелъ, и съ обстановкой быстро освоился, и справлялся со своими обязанностями не худо. «Только они это могутъ», — думалъ Нещеретовъ, разумѣя евреевъ.

— А что, Марья Семеновна, если-бъ мы пустили вашего юношу не по конторской, а по артистической части? Какъ вы думаете?

— Я увѣрена, Альфредъ Исаевичъ, что вы выбе-

рете для него лучшую, самую подходящую работу, — сказала Муся. — И заранѣе сердечно васъ благодарю.

— Жалованья у насъ небольшія, — вставилъ Нещеретовъ.

— Большого жалованья я не могу обѣщать, — подтвердилъ Альфредъ Исаевичъ.

— Я всецѣло на васъ полагаюсь, Альфредъ Исаевичъ. Говорятъ, вы создали колоссальное предпріятіе, — польстила ему Муся.

— О нѣтъ, пока еще отнюдь не колоссальное, — скромно отвѣтилъ донъ-Педро. — Можетъ быть, со временемъ оно разовьется, но сейчасъ еще и весь міръ находится въ недостаточно устойчивомъ состояніи для колоссальныхъ предпріятій.

— Вѣдь, кажется, въ вашемъ дѣлѣ принимаетъ участіе мистеръ Блэквудъ? — спросила Муся. Тотчасъ, по недовольному выраженію лица Альфреда Исаевича, она поняла, что сдѣлала ошибку. Нещеретовъ засмѣялся.

— Ничего подобнаго! Кто вамъ сказалъ?

— Не помню, кто... Можетъ быть, я просто что-то спутала.

— Не понимаю, кто могъ вамъ это сказать. — Донъ-Педро остановился на мгновенье, соображая. Муся была близко знакома съ баронессой Стеріанъ, бывала въ томъ румынскомъ салонѣ, куда онъ давно больше и не заглядывалъ. «Вѣроятно, это идетъ оттуда. Можетъ быть, та госпожа подозрѣваетъ, что я деньги у Блэквуда досталъ, а комиссіи ей не заплатилъ!..» — Альфредъ Исаевичъ возмутился: онъ всегда честно выполнялъ свои обязательства. — Мистеръ Блэквудъ никакого, даже самаго отдаленнаго, отношенія къ нашему предпріятію не имѣетъ! Я дѣйствительно предлагалъ ему въ свое время заняться кинематографомъ, и то въ совершенно другомъ варіантѣ моихъ идей. Но онъ откло-

нилъ мое предложеніе, — извините меня, это не вашъ другъ? — отклонилъ мое предложеніе въ довольно хамоватой формѣ...

— И теперь рветъ на себѣ волосы, — замѣтилъ весело Нещеретовъ.

— Вѣроятно, не рветъ, но могъ бы рвать волосы, — сказалъ, успокаиваясь, донъ-Педро. — А если вы хотите знать, кто наши акціонеры, то...

— Помилуйте, Альфредъ Исаевичъ, зачѣмъ мнѣ это знать?

— Это не составляетъ секрета. — Нещеретовъ смотрѣлъ на донъ-Педро съ неудовольствімъ: секрета тутъ дѣйствительно не было, но безъ всякой надобности сообщать имена пайщиковъ дѣла могъ только свѣжеиспеченный финансистъ. Альфредъ Исаевичъ и самъ это почувствовалъ. Не называя именъ, онъ сказалъ, что въ дѣло вложили капиталъ самые разные люди: среди нихъ есть и аргентинцы, и одинъ шведъ, почитатель Аркадія Николаевича, и даже какой-то индусскій богачъ.

— Кромѣ того я пустилъ въ ходъ нѣкоторыя свои еврейскія связи, — закончилъ донъ-Педро.

— Такъ что мы не какіе-нибудь антисемитники, — сказалъ Нещеретовъ. — А что до вашего Блэквудіанца, Марья Семеновна, то онъ теперь отсюда рукой подать, въ Кабурѣ.

— Я не знала. Вы его видѣли?

— Не видалъ и о томъ не скорблю-съ. Но прочелъ въ газетѣ, что онъ остановился въ Грандъ-Отелѣ. Если онъ вамъ нуженъ...

— Нѣтъ, онъ мнѣ не нуженъ, — сказала Муся, вставая. — Еще разъ сердечно васъ благодарю, Альфредъ Исаевичъ. Значитъ, мы такъ и сдѣлаемъ. Какъ только этотъ молодой человѣкъ вернется въ Парижъ, онъ зайдетъ къ вамъ.

— Такъ точно... Для вѣрности, пусть сошлется на васъ, и я его тотчасъ приму. А то вы знаете, у

меня тамъ теперь столпотвореніе, голова кругомъ идетъ... Вотъ вырвались сюда отдохнуть, на двѣ недѣльки, съ Аркадіемъ Николаевичемъ, и то цѣлый день телефонируемъ въ Парижъ.

— Вы что же предполагаете ставить? — спросила Муся, холодно прощаясь съ Нещеретовымъ. — Если, конечно, это не секретъ.

— О, у насъ интереснѣйшая вещь! — сказалъ донъ-Педро. Онъ взялъ Мусю обѣими руками за руку. Донъ-Педро ставилъ драму изъ древнихъ ніемъ. Муся слушала, думая, какъ бы освободить руку. Донъ-Педро ставилъ драму изъ древнихъ временъ.

— ...Да, да, остро-авантюрная вещь, но поставленная въ совершенно новыхъ, истинно-художественныхъ тонахъ, — говорилъ Альфредъ Исаевичъ. — Мы хотимъ дать высшій синтезъ. Мой девизъ: простыя, всѣмъ доступныя, общечеловѣческія чувства на фонѣ художественной фантастики, съ остро-напряженной фабулой. Я хочу, чтобы у зрителей все время комокъ стоялъ въ горлѣ и чтобы они въ то же время были ослѣплены красотой, богатствомъ постановки...

— Это очень интересно...

— Это будетъ необыкновенно интересно. По моей мысли, дѣйствіе происходитъ на востокѣ, въ пору римскаго владычества. Вы понимаете, борьба двухъ началъ: съ одной стороны римляне временъ упадка, скептики и эпикурейцы, утратившіе вѣру въ правоту своего міра, съ другой стороны іудаизмъ, физически подавленный, но несущій античному міру новую мораль, новую высшую правду. Помните, какъ у Алексѣя Толстого: «слабъ, но могучъ»... Большая идея побѣждаетъ силу упадочниковъ. И на этомъ фонѣ, на фонѣ восточной нѣги и роскоши, разыгрывается любовная драма, съ напряженно-острымъ дѣйствіемъ. Это моя идея. Намъ было

представлено шесть сценаріевъ по моему заданію, я ихъ синтезировалъ, и мы уже крутимъ во всю. Черезъ недѣлю начнется декупажъ.

— Очень, очень интересно, — повторила Муся, пытаясь освободить руку. Она и сама не рада была своему вопросу. — Это, кажется, немного напоминаетъ «Quo Vadis»?

— Ахъ, нѣтъ! У насъ гораздо лучше, и не то, совсѣмъ не то!..

— Я понимаю, что не то, — поправилась Муся, увидѣвъ огорченіе, изобразившееся на лицѣ Альфреда Исаевича, — только отдаленное сходство.

— Нѣтъ, даже отдаленнаго сходства нѣтъ, ни намека!

— Идея прекраснѣйшая, — вмѣшался Нещеретовъ. — Евреи во всемъ мірѣ валомъ повалятъ, ихъ печать не нахвалится. Продажа въ Америку совершенно обезпечена. Эхъ, жаль, Альфредъ Исаевичъ, что вы больше не сіонистъ. У сіонистовъ теперь хорошія деньги, они и въ Палестину купили бы фильмишко.

— Кто вамъ сказалъ, что я больше не сіонистъ?

— Вотъ вѣдь и дѣйствіе будетъ въ Палестинѣ... Люблю я слово «Палестина», единственное красивое изъ сіонистскихъ словъ. А то все какія-то «экзекутивы».

— Ну, это очень условно, какія слова красивыя, какія нѣтъ, — сказалъ донъ-Педро, съ сожалѣніемъ выпуская руку Муск.

IV.

Море было довольно далеко. Муся шла по топкому песку, старательно обходя лужи, и, прикрывъ глаза рукой, разыскивала палатку. Они сняли ее сообща, — всѣ внесли свою долю. Кабину рѣшили не нанимать, узнавъ съ ужасомъ, что она стоитъ въ сезонъ пятьсотъ франковъ. «По моему, безъ кабины можно обойтись, а впрочемъ, какъ вамъ угодно», — посовѣтовалъ въ первый же день женѣ Клервилль. — «Разумѣется, можно обойтись», — согласилась Муся, подавляя раздраженіе, которое теперь вызывало у нея почти все, что говорилъ ея мужъ. «Пятьсотъ франковъ на кабину жалко, а пятьсотъ фунтовъ для себя за этихъ лошадей на поло не жалко», — и теперь подумала она съ досадой, увидѣвъ выходившую изъ кабины даму въ великолѣпномъ пеньюарѣ. Муся сама чувствовала несправедливость упрека: ужъ въ скупости Клервилля упрекнуть было бы трудно. Но они дѣйствительно по разному понимали, на что нужно и на что не нужно тратить деньги. Послѣднее увлеченье Клервилля — поло— было совершенно непонятно Мусѣ. Она нисколько не возражала. Игра была очень красивая и элегантная, фамилія Клервилля появлялась теперь въ свѣтской хроникѣ газетъ, — это было пріятно Мусѣ. Но все-таки это была игра для мальчиковъ, — такъ увлекаться ею могъ, по ея мнѣнію, только ограниченный человѣкъ. Клервилль проводилъ на поляхъ поло, на ипподромѣ, въ конюшняхъ ежедневно долгіе часы. По тому, какъ онъ смотрѣлъ на лошадей, какъ о нихъ говорилъ, какъ доказывалъ, что англійская система игры — семь періодовъ по 8 минутъ — лучше американской — восемь періодовъ по 7 минутъ, — Муся все яснѣе чувствовала, что передъ ней чужой чело-

вѣкъ, человѣкъ другой расы, — «высшей или низшей, ужъ этого я не знаю»... «Вѣрно, онъ и сейчасъ на поло. А другіе уже, должно быть, тутъ. Гдѣ же однако наша палатка? Она была лѣвѣе клуба», — оріентировалась Муся по стоявшимъ на берегу домамъ. Мимо нея, провожая ее взглядомъ, шли мужчины, одѣтые какъ уличные мальчишки. Вѣтеръ рвалъ пестрое полотно палатокъ. Впереди надъ Трувиллемъ зеленѣлъ лѣсъ. «Вотъ сейчасъ за той веревкой должна быть наша палатка. Кто это лежитъ? Да, Жюльетъ»...

— Вы одна, мой другъ?

— Какъ видите, — отвѣтила сухо Жюльеттъ, приподнявшись ровно настолько, насколько требовалъ минимумъ вѣжливости. Она не спросила Мусю, какъ сошла поѣздка.

— Вы не знаете, гдѣ Вивіанъ?

— Не знаю. Кажется, на поло.

— А остальные?

— Сейчасъ должны прійти. Купаться...

— Всѣ?

— Кто всѣ? («Ей, конечно нужно знать, гдѣ Серизье», — мысленно перевела Жюльеттъ почти съ ненавистью). — Мама не придетъ, у нея болятъ ноги, море плохо на нее дѣйствуетъ.

— Зачѣмъ же она пріѣхала въ Довилль? — спросила Муся, чувствуя, что, подъ вліяніемъ враждебнаго тона Жюльеттъ раздражается сама. — Лучше было бы выбрать курортъ не на морѣ («Это значитъ: лучше было бы, чтобы насъ здѣсь не было, чтобы мы и м ъ не мѣшали»).

Муся сѣла въ холщевое кресло, распахнувъ свой купальный халатъ, и положила на колѣни книгу, французскій романъ изъ русской жизни. «Нѣтъ, еще, разумѣется, ничего не можетъ быть замѣтно... Почему она на меня сердится? Ревнуетъ къ Серизье, конечно... Какой ужъ теперь Серизье! Сказать ей?

Нѣтъ, не скажу... Жюльеттъ — самая трезвая дѣвочка на свѣтѣ. Вотъ кто твердо знаетъ, чего хочетъ: теперь ученье, теннисъ, разные романы — безъ глупостей, конечно; потомъ «выйти замужъ за любимаго человѣка». И она всего этого добьется, зубами вырветъ у жизни. Такъ и надо, за свое счастье надо бороться безжалостно... Но теперь съ ней что-то творится странное... Не хочетъ разговаривать, ну, и не нужно. Она поздоровалась со мной вотъ какъ сердитый мопсъ подаетъ лапу: на, отвяжись... Такъ какъ же князь Иримовъ?..»

Мимо палатки, таща за собой ведерко, съ озабоченнымъ дѣловымъ видомъ, плелся, переваливаясь, трехлѣтній мальчикъ. «Сейчасъ иди сюда», — кричала бонна въ очкахъ. — «Что ей отъ него нужно? Зачѣмъ она кричитъ? Хочу ли я имѣть такого карапуза? Это должно быть забавно»... «Chocolat... Fruits glacés»... — пѣлъ проходившій разносчикъ. Муся откинулась на спинку кресла, взглянула на море, устало закрыла глаза, затѣмъ снова открыла. «Совсѣмъ оно не такое, какъ пишутъ теперь художники. У нихъ море выдуманное»... У палатки справа, лежа на животахъ съ необыкновенно дѣловитымъ видомъ, загорали двѣ дамы среднихъ лѣтъ. Слѣва старый актеръ, котораго знала въ лицо Муся, разсказывалъ свою біографію, — по его тону ясно чувствовалось, что разсказъ будетъ длинный. Море гипнотизировало Мусю, дурманило вѣтромъ, рябью, мѣрнымъ шумомъ, запахомъ соли. «Это выдумали, что море красиво: оно слишкомъ велико, чтобъ быть красивымъ. Но тактъ его дѣйствуетъ какъ музыка»... — «А когда я кончилъ, онъ бросился мнѣ на шею и воскликнулъ: «Мой мальчикъ, ты будешь великимъ артистомъ! Это я тебѣ говорю! я!..» — съ растроганной улыбкой разсказывалъ актеръ. — «Все-таки въ ея годы немного смѣшно носить розовыя платья», — говорила дама. — «Вѣдь

ей лѣтъ подъ сорокъ?» — «Что вы! Ей по меньшей мѣрѣ сорокъ четыре!..» — «Правда? Вотъ я не подумала бы!» — «Я навѣрное знаю! Она училась въ пансіонѣ съ моей старшей кузиной, и была двумя классами выше ея»... Въ морѣ атлетически сложенный человѣкъ, подойдя къ краю высокаго похожаго на эшафотъ сооруженія, раскачивался, готовясь къ прыжку въ воду. «Какъ хорошо сложенъ!.. Показать его Жюльеттъ? Здѣсь какъ будто все устроено для того, чтобы доводить насъ до бѣлаго каленія. Только мы въ этомъ другъ другу не сознаемся... Браво, молодецъ!. Да, море дурманитъ...» «Chocolat! Fruits glacés!» — оралъ разносчикъ. «Такъ мы тогда съ папой въ Сестрорѣцкѣ, въ день его рожденія, ѣли глазированные фрукты съ присохшимъ пескомъ... Потомъ былъ званый ужинъ. Банкетъ не банкетъ, но съ рѣчами... Засидѣлись до того часа, когда ораторамъ начинаетъ «вспоминаться одна старая легенда». Кажется, въ тотъ вечеръ старая легенда вспомнилась Фомину. И, право, было весело... Березинъ затянулъ: «Какъ цвѣтокъ душистый»... Мнѣ показалось смѣшно и глупо: «Выпьемъ мы за Сему, Сему дорогого»... За глаза папу всѣ называли Семой, это его сердило... А теперь та урна въ Люцернѣ». За эшафотомъ вдали медленно шелъ пароходъ. Струя дыма какъ будто переходила въ облако. Отгороженный облакомъ голубой сводъ замыкалъ надъ Мусей огромную коробку. «Ахъ, какъ хорошо! Только бы не уходить изъ этой коробки подольше. Да, «Simon Krémenetzky Eternels regrets»... Какъ можно послѣ этого ссориться!..»

— Жюльеттъ, за что вы на меня сердитесь?

— Нисколько не сержусь.

— Нѣтъ, я вижу...

— Вы ошибаетесь.

— Жюльеттъ, я хочу сказать вамъ одну вещь

которой я еще никому не говорила. Я, кажется, жду ребенка.

Жюльеттъ измѣнилась въ лицѣ.

— Я васъ поздравляю, — не сразу выговорила она.

Обѣ не знали, что сказать другъ другу.

— Вы... Вамъ сказалъ докторъ?

— Да... Пожалуйста, никому не говорите.

— Я никому не скажу. — Жюльеттъ чувствовала, что ее такъ и заливаетъ радость.

— Вивіанъ хочетъ дѣвочку, я мальчика, вѣрно, и здѣсь сказывается начало пола. Я говорю глупости? Все равно. Говорятъ, это открываетъ новую жизнь, — съ грустной насмѣшкой сказала Муся. — Но я...

— Не говорятъ, а навѣрное.

— Но я этого не чувствую. Вы твердо знаете? Я сейчасъ чувствую себя какой-то машиной, и это гадко...

— Какія глупости!

Жюльетъ вдругъ встала на колѣни и поцѣловала Мусю.

— Я такъ рада!

— Я вижу и очень тронута. — Муся съ удивленіемъ въ нее вглядывалась. — Со всѣмъ тѣмъ вы на меня дуетесь уже давно. За что?

— Вамъ такъ показалось.

— Не думаю. — Муся вдругъ догадалась о причинѣ радости Жюльеттъ и вспыхнула. — Вотъ, кажется, они идутъ... Такъ, пожалуйста, никому ни слова!

Къ нимъ подходила Елена Федоровна, Мишель и Витя, всѣ въ купальныхъ костюмахъ и въ плащахъ. Увидѣвъ Мусю, Витя подбѣжалъ къ ней.

— Ты уже вернулась? Ну какъ? Что онъ сказалъ?

— Все отлично.

— Правда?

— Обѣщалъ мѣсто, хотя и съ небольшимъ жалованьемъ, — сказала Муся, показывая глазами, что не хочетъ говорить подробнѣе при постороннихъ. Ей просто не хотѣлось объ этомъ говорить.

— Но когда?

— Какъ только ты вернешься въ Парижъ.

— Тогда я тотчасъ и поѣду, — съ легкимъ вздохомъ сказалъ Витя.

— Совсѣмъ это не нужно. — Муся перешла на французскій языкъ. — Во всякомъ случаѣ и самъ донъ-Педро еще здѣсь пробудетъ нѣкоторое время. Онъ былъ чрезвычайно любезенъ. Надо бы сдѣлать ему какую-нибудь politesse...

— Позовите его къ обѣду, — посовѣтовала Елена Федоровна. — Я его люблю, хоть онъ и бестія...

— Потому, что онъ бестія, — поправилъ Мишель.

— Нѣтъ, обѣдать съ нимъ это скучно. Развѣ взять ложу въ театръ и его позвать... Но въ театръ я не могу пойти изъ-за траура.

— Позовите его на этотъ матчъ бокса, — сказалъ Мишель. Это будетъ чрезвычайно интересно... — Онъ назвалъ фамиліи боксеровъ. — Одинъ негръ, другой бѣлый.

— Да, я читала. Это, быть можетъ, мысль, — сказала Муся, подумавъ. Боксъ подходилъ, пожалуй, къ разряду зрѣлищъ, которыя можно было посѣщать и въ траурѣ.

— Въ благодарность за мысль вы приглашаете и меня.

— Всѣхъ... Развѣ билеты стоятъ такъ дорого?

— Какъ для кого. Для меня очень дорого, а, напримѣръ, для мистера Блэквуда не очень.

— Вы мнѣ подаете еще одну мысль. Оказывается, мистеръ Блэквудъ въ Кабурѣ, мы позовемъ и его.

— Это зачѣмъ?

— Все-таки мы у него въ долгу за тотъ версальскій завтракъ.

— То онъ у васъ въ долгу, то вы у него. Онъ такъ богатъ, что по отношенію къ нему не можетъ быть свѣтской задолженности.

— Нѣтъ, можетъ быть и есть, но пониженная: на его обѣды съ шампанскимъ надо отвѣчать чаемъ съ лимономъ. Если же не отвѣчать совсѣмъ, онъ потеряетъ уваженіе.

— Такова жизнь.

— Какія глубокія мысли мы высказываемъ! Кромѣ того съ однимъ донъ-Педро я умру со скуки.

— Господа, пойдемъ въ воду. Скоро пять часовъ.

Муся встала и сбросила на песокъ пеньюаръ, чувствуя на себѣ взгляды Мишеля и Вити. «Нѣтъ, разумѣется, еще ничего не можетъ быть видно»... Жюльеттъ аккуратно складывала пеньюаръ, сумочку, шляпу.

— Камень положить, а то еще улетитъ?

— Улетѣть не улетитъ, а какъ бы не стащили.

— Въ моей сумкѣ три франка... Идемъ, господа! — сказала Муся. «Какъ все-таки эти мальчишки непріятно смотрятъ голодными глазами... А, впрочемъ, неправда: это не непріятно»... Она сбросила туфли и побѣжала впередъ по влажному теплому песку. «Очень хорошо сдѣлала, что сказала Жюльеттъ»...

— Господа, идемъ назадъ! Вода мокрая и безумно холодная, — по русски кричала Елена Федоровна.

«Вотъ это и есть блаженство», — думалъ Витя, подплывая сзади къ Мусѣ и глядя на нее влюбленными глазами. Стоялъ тотъ гулъ счастливыхъ голосовъ, который бываетъ только при морскомъ купаньѣ. Волны ровно набѣгали и разбивались, гулъ

росъ и превращался въ визгъ. Витя сталъ на дно, на мгновенье повернулся спиной къ набѣгавшей волнѣ, выдержалъ ея ударъ и, снова повернувшись, увидѣлъ въ бѣлой пѣнѣ Мусю, которая радостно орала: «Спаси меня, Витька, я тону!..»

— Ты спасена! Я спасъ тебѣ жизнь! Что я за это получаю?

— Вотъ что! — она вырвалась, плеснула Витѣ въ лицо водой и поплыла. Новая волна вдругъ наросла недалеко отъ нихъ. «А-а!» — слышался со всѣхъ сторонъ счастливый пискъ. Витя поплылъ за Мусей. «Да, вотъ теперь она та же, что была когда-то. «Кто прежней Тани — бѣдной Тани — Теперь въ княгинѣ-бъ не узналъ!..» — выплыли у него въ памяти стихи. — «Какъ она мило тогда читала это». — «Муся, не уплывайте такъ далеко!» — кричала откуда-то слѣва Жюльеттъ, дѣлавшая по всѣмъ правиламъ гимнастическія движенія въ водѣ. — «Лишь бы только она къ намъ не подплыла»... Елены Федоровны и Мишеля не было видно. — «А? что?» — кричала Муся. — «Я говорю, не уплывайне такъ далеко. И вообще пора выходить!..» — «Да вы съ ума сошли, Жюльеттъ, мы только что вошли!» — «Не только что, а десять минутъ тому назадъ. Дольше купаться вредно»... Муся подплыла къ Витѣ и стала на дно, фыркая и откашливаясь. Мимо нея, ошалѣло визжа, проплыла собачка, въ догонку за мячемъ, которымъ съ криками перебрасывались молодые люди. Счастливый отецъ, раскачиваясь всѣмъ тѣломъ, несъ на плечѣ ребенка; оба видимо такъ же, какъ собачка, ошалѣла отъ радости жизни.

— Какой ужасъ!.. Я наглоталась соленой воды!

— Ничего, такъ тебѣ и надо... Ахъ, какое сегодня море!

— Смотри, волна!.. Ахъ!.. Нѣтъ разбилась!..

— Кажется, никогда не было такого моря!.. Му-

сенька, разскажи подробнѣе, что же сказалъ донъ-Педро?

— Обѣщалъ твердо, что дастъ тебѣ работу... Онъ самъ еще не знаетъ, какую. Вѣроятно, по этой... по административной части (Мусѣ не хотѣлось сказать: по конторской части).

— Что такое административная часть?

— Ты думаешь, я знаю? Важно то, что ты будешь получать жалованье. То-есть, это для тебя важно: ты почему-то такъ къ этому стремишься. Значитъ, кончены всѣ глупости, ты остаешься въ Парижѣ, и больше никакихъ разговоровъ!

— Даже никакихъ разговоровъ? Рабство давно отмѣнено.

— Это очень досадно. Мнѣ страшно хотѣлось бы имѣть рабовъ... Правда, дивное море? Въ Германіи, вѣрно, и море было хуже?

— Гораздо!

— Дай мнѣ руку... Ты радъ, что ты здѣсь?

— Мало сказать: я радъ... Я счастливъ, что я съ тобой, что ты сегодня опять такая же, какъ была прежде.

— Когда прежде?

— Въ Петербургѣ... Въ Гельсингфорсѣ...

— Развѣ я была не такая же? Ты, кажется, ошалѣлъ отъ моря?

— Можетъ быть... Только въ морѣ, Мусенька испытываешь эту безпричинную радость жизни. Вотъ когда кажется, что живешь каждымъ вершкомъ тѣла!..

— Нѣтъ, какъ ты красиво говоришь! Повтори, повтори! «Каждымъ вершкомъ тѣла»?

— Какой-то философъ назвалъ это «наличной монетой счастья»...

— Господи! Онъ и купается съ философскими цитатами! Кромѣ того ты ни одного философа не читалъ.

— Но я слышалъ эту цитату отъ Брауна...

— Ахъ, это онъ говорилъ? Въ самомъ дѣлѣ это хорошо: «наличная монета счастья»... Такъ то Браунъ!

— Отчего же мнѣ нельзя цитировать философовъ?

— Вотъ отчего! — Муся опять плеснула на него водой.

— Ахъ, ты такъ!..

— Гадкій мальчишка, какъ ты смѣешь?! Люди смотрятъ.

— Мнѣ все равно.

— Жюльеттъ, уймите его! Онъ съ ума сошелъ... Гдѣ вашъ братъ, Жюльеттъ?

— Развѣ я сторожъ моего брата?

— Онъ не можетъ оставить баронессу, — по русски сказалъ Витя.

— Прошу тебя не злословить.

— Я ничего дурного не сказалъ. У тебя испорченное воображеніе.

— Погоди, вотъ я сейчасъ надеру тебѣ уши!.. Ахъ, ахъ, какая волна!

Все потонуло въ радостномъ визгѣ.

V.

Клервилль не любилъ баккара и находилъ не совсѣмъ приличнымъ, что Муся, одна, ходитъ въ казино. «Ты совершенно правъ, мой другъ», — отвѣчала ему иронически Муся, — «я и не сомнѣваюсь, что ты бросишь лошадей и будешь ежедневно сопровождать въ клубъ свою дорогую жену» (она уже не замѣчала, что ей въ другомъ тонѣ почти невозможно говорить съ мужемъ). «Со всѣмъ тѣмъ, мнѣ, слава Богу, не шестнадцать лѣтъ, и я имѣю основанія надѣяться, что и одну меня никто въ Казино не обидитъ...» Друзьямъ Муся безъ большой увѣренности объясняла, что играетъ изъ любопытства. «Все-таки надо испытать и это ощущеніе, да и очень ужъ интересно: кого только тамъ не видишь, и нигдѣ характеры такъ не сказываются, какъ въ игорномъ домѣ». Про себя она думала, что у нея наслѣдственная страсть къ игрѣ, обострившаяся изъ-за неудачной личной жизни. «Вѣдь не для денегъ же я играю! Хотя, что грѣха таить, проигрывать всегда непріятно».

Въ этотъ день ощущенія въ клубѣ были особенно острыя. Муся сначала проиграла тысячи двѣ и была сама себѣ жалка сознаніемъ собственной грѣховности, желаніемъ казаться равнодушной, мыслью о томъ, что на эти деньги можно было бы купить подарокъ Витѣ, бинокль, вѣеръ. Потомъ ей удалось перемѣнить мѣсто за столомъ и освободиться отъ сосѣдства со старичкомъ-барономъ, который явно приносилъ ей несчастье. Новое мѣсто оказалось превосходнымъ: Муся не только все отыграла, но была въ большомъ выигрышѣ. Груда жетоновъ передъ ней росла. Мудрость предписывала использовать до конца полосу счастья, но стрѣлка на часахъ все продвигалась, шелъ шестой часъ. Она

обѣщала мужу пріѣхать на поло, для нея былъ взятъ билетъ. «Собственно, это очень глупо думать о билетѣ, стоящемъ десять франковъ, когда здѣсь игра идетъ на тысячи. Однако, «вы обѣщали, я для васъ взялъ билетъ, и, право, моя милая, я нахожу это страннымъ», — съ досадой думала Муся, хоть Клервилль скорѣе всего ничего такого и не сказалъ бы. Она собрала жетоны, получила въ кассѣ нѣсколько пачекъ заколотыхъ булавками ассигнацій и, не считая, сунула ихъ въ сумку. Не игравшіе мужчины не сводили съ нея глазъ (игроки не интересовались ею совершенно).

Муся прошла къ выходу съ дѣланнымъ смущеніемъ: она уже привыкла бывать одна въ казино; ее почти забавляло, что многіе, вѣрно, принимали ее за кокотку высокаго ранга. Въ холлѣ она остановилась у столика и сочла выигранныя деньги, — оказалось 6.600 франковъ. «Господи! Такого случая еще не было! Прямо совѣстно!..» Какой-то господинъ, читавшій въ углу газету, издали на нее поглядывалъ. Муся поспѣшно спрятала деньги. Впрочемъ, видъ у господина былъ отнюдь не разбойничій, а благодушно-насмѣшливый, почти нѣжный. «Нѣтъ, мнѣ нисколько не совѣстно. У того жокея выиграть — сдѣлать доброе дѣло. Онъ вчера за этимъ же столомъ обобралъ всѣхъ тысячъ на полтораста. Да и другіе такіе же, и жокеи, и бароны. Выиграла и очень рада, что выиграла. Но что же сдѣлать на эти деньги? Да, прежде всего подарокъ Витѣ, вѣдь онъ въ пятницу уѣзжаетъ. Какъ жаль, что воскресенье: сейчасъ бы и купила ему какое-нибудь кольцо. Тысячи на полторы, на двѣ? Теперь ужъ прямо грѣхъ былъ бы, послѣ такого выигрыша, не купить дорогого подарка. Завтра-же куплю, сейчасъ надо ѣхать на поло... Казино, поло, вечеромъ матчъ бокса, а вѣдь я въ самомъ дѣлѣ живу какъ кокотка. Сознаться ли имъ, что выиграла

больше шести тысячъ? Вивіанъ скажетъ «Правда? Это забавно, поздравляю», и заговоритъ о своихъ лошадяхъ. Жюльеттъ посмотритъ на меня уничтожающимъ взглядомъ. Елена Федоровна и Мишель лопнутъ отъ зависти. Наизусть ихъ всѣхъ знаю...» Муся вышла на улицу и съ удивленіемъ увидѣла, что магазины открыты. «Да вѣдь сегодня вторникъ! Это мнѣ все время въ Довиллѣ кажется, будто воскресенье. Тогда сейчасъ же зайти къ ювелиру»...

Она пошла по улицѣ, останавливаясь у витринъ знаменитыхъ парижскихъ магазиновъ. Въ томъ, что здѣсь эти магазины находились почти рядомъ, было для нея особое очарованіе Довилля. Мусѣ хотѣлось купить все выставленное въ витринахъ; она знала толкъ и въ платьяхъ, и въ мѣхахъ, и въ драгоцѣнностяхъ.

— Дайте мнѣ что-нибудь подходящее для подарка молодому человѣку, — сказала приказчику Муся, — не знаю, что именно, полагаюсь на васъ. Такъ, тысячи на полторы.

Приказчикъ, густо напомаженный человѣкъ, съ бриллiантовой булавкой въ галстухѣ и съ бриллiантовымъ кольцомъ, поднялъ крышку стола и сталъ выкладывать на стекло изящныя кожаныя коробочки. Пользуясь случаемъ, Муся осмотрѣла чуть ли не все, что было въ магазинѣ. «Мадамъ спрашиваетъ о томъ ожерельѣ изъ розоваго жемчуга, которое у насъ было выставлено на прошлой недѣлѣ?» — говорилъ приказчикъ. — «Оно позавчера продано. Да, разумѣется, за три милліона, какъ было написано въ витринѣ у насъ цѣны безъ запроса. Черезъ нѣсколько лѣтъ такое ожерелье будетъ стоитъ вдвое больше. Жемчугъ вѣдь, — мадамъ, конечно, знаетъ, — теперь считается лучшимъ помѣщеніемъ капитала. Но та дама купила ожерелье для своего удовольствія. Это жена аргентинскаго милліонера, который на войнѣ нажилъ огромное состоя-

ніе: онъ поставлялъ кофе, говорятъ, и намъ, и нѣмцамъ. Мадамъ вѣрно видѣла его даму въ «Нормандии»... — Тонъ приказчика раздражилъ Мусю. «Вѣрно, недоѣдалъ годами, чтобы купить эту булавку, а на выборахъ въ величайшемъ секретѣ голосуетъ за соціалистовъ. Въ такую жаркую погоду у него, должно быть, помада течетъ за воротникъ», — брезгливо морщась, подумала она. Муся хотѣла было купить для Вити кольцо, но отказалась: кольцо сверкало и на пальцѣ у приказчика. Она выбрала запонки для фрака, заплатила 2.900 франковъ и вышла, сожалѣя о томъ, что необдуманно истратила гораздо больше, чѣмъ собиралась, и сама удивляясь нелѣпости своей покупки. У Вити и фрака никакого не было. «Но вѣдь я именно для того и дѣлаю этотъ подарокъ, чтобы онъ могъ продать или заложить на случай какой-нибудь frasque de jeunesse. Деньги дарить непріятно. Воображаю впрочемъ frasques de jeunesse Вити!.. Ну, да запонки онъ можетъ носить и не къ фраку. Вотъ и сегодня нацѣпитъ ихъ на этотъ матчъ бокса, пусть утретъ носъ Мишелю: у нихъ, вѣрно, это такъ же, какъ у насъ»... Она подозвала автомобиль и велѣла ѣхать на поло. И тотчасъ опять стала ее мучить все та же мысль. «Нѣтъ сейчасъ нельзя объ этомъ думать!» — предписала себѣ она. — «Завтра докторъ долженъ дать окончательный отвѣтъ. Если «да», уѣдемъ въ Лондонъ на всю зиму. Я имъ въ такомъ видѣ не покажусь. Я знаю, что многимъ мужчинамъ гадко на это смотрѣть, какъ на гусеницу, я ихъ отлично понимаю... Но сейчасъ еще ничего не видно. Серизье, впрочемъ, завтра все равно уѣзжаетъ»...

Автомобиль остановился у воротъ. Еще издали Муся услышала радостный гулъ. По низко выстриженному полю неслись люди на коняхъ. Въ первомъ всадникѣ Муся узнала своего мужа. Наклонившись къ головѣ лошади, бѣшено вертя колесомъ длин-

ный молотокъ въ правой рукѣ, онъ мчался за мячемъ далеко впереди всѣхъ. «Прямо сумасшедшіе! Какъ они лошадей не калѣчатъ!» — съ ужасомъ подумала Муся. Молотокъ взвился надъ головой Клервилля и упалъ со страшной силой. Мячъ понесся вдаль. Загремѣли рукоплесканья. «Кажется, всѣхъ побѣдилъ. Экая радость», — иронически подумала Муся. Однако и она испытывала чувство гордости. Бѣшеный бѣгъ лошадей сталъ замедляться. Рукоплесканья гремѣли все громче.

За столомъ Георгеску были только дамы. Муся тотчасъ увидѣла, что произошло что-то непріятное. У Леони лицо было въ красныхъ пятнахъ, это съ ней, особенно на людяхъ, бывало очень рѣдко. На лицѣ у Жюльеттъ было упрямое выраженіе, которое хорошо знала Муся. «Даже глаза у нея пожелтѣли отъ злости. Что это творится съ дѣвченкой въ послѣднее время? Ее просто узнать нельзя!..» Только Елена Федоровна весело улыбалась.

— Вы попали какъ разъ къ тріумфу вашего мужа.

— Я не знала, что былъ тріумфъ.

— Говорятъ, онъ играетъ лучше всѣхъ... Садитесь сюда, подъ зонтикъ, а то очень печетъ солнце... Развѣ вы не слышали, какую овацію устроила ему публика?

— Я чрезвычайно тронута... Это у васъ лимонадъ? Жюльеттъ, можно выпить изъ вашего стакана?

— Сдѣлайте одолженіе.

— Я умираю отъ жажды. — Видъ Муси говорилъ ясно: «Ну, разсказывайте, въ чемъ дѣло. Я первая спрашивать не буду».

— Разсудите насъ вы, Муся, — обратилась къ ней взволнованно Леони. — Часъ тому назадъ моя

милая дочь неожиданно объявляетъ мнѣ, что въ пятницу ѣдетъ въ Парижъ!..

— Мама, право, это совершенно неинтересно госпожѣ Клервилль.

— Нѣтъ, оставь меня, наконецъ, въ покоѣ! Жюльеттъ объявляетъ мнѣ, что въ пятницу уѣзжаетъ въ Парижъ!..

— Но вѣдь я сто разъ объясняла вамъ, мама, что я ѣду на нѣсколько дней.

— Тѣмъ болѣе дико! Подумайте, въ такую жару ѣхать въ Парижъ, когда тамъ нестерпимая духота, когда наша квартира ремонтируется, такъ что и остановиться негдѣ!

— Но вѣдь Мишель тоже ѣдетъ и остановится у насъ на квартирѣ.

— Мишель другое дѣло! Мишель — молодой человѣкъ, онъ дома будетъ только ночью.

— Зачѣмъ вы хотите ѣхать? — осторожно-дипломатично спросила Муся. Она не понимала, въ чемъ дѣло. «Неужели потому, что Серизье уѣзжаетъ завтра? Но тогда она совершенно сошла съ ума. И для приличія хоть недѣлю надо было бы выждать».

— Мнѣ необходимы кое-какія книги для моей работы.

— Ты говоришь вздоръ! Здѣшній книжный магазинъ выпишетъ тебѣ въ три дня любую книгу.

— Мама, я васъ прошу не волноваться, для этого причинъ нѣтъ никакихъ. Поймите, что книгъ, которыя мнѣ нужны, въ продажѣ нѣтъ. Я сдѣлаю въ библіотекѣ выписки и вернусь черезъ нѣсколько дней. Я право не понимаю, почему объ этомъ нужно спорить, да еще такъ. Кажется, и мосье Викторъ ѣдетъ въ пятницу?

— Да, ему тоже приспичило. Я его не пускаю, но онъ рѣшительно стоитъ на томъ, что донъ-Педро будетъ нанимать служащихъ тотчасъ по возвращеніи въ Парижъ, значитъ, ему нужно торопиться.

По моему, дѣло не убѣжало бы и черезъ двѣ недѣли. Но, можетъ быть, Витя и правъ, поэтому я согласилась отпустить его съ Мишелемъ, — сказала Муся, подавляя зѣвокъ. Споръ матери съ дочерью совершенно ее не интересовалъ. «Поѣзжай, моя милая, или оставайся здѣсь, мнѣ все равно»... Муся вдругъ, со страннымъ чувствомъ свободы, почувствовала, что никого не любитъ. «Да , ни Вивіана, ни Витю, а объ этихъ и говорить не стоитъ. И Серизье вздоръ... Браунъ? Браунъ не вздоръ. Я люблю въ немъ то, что онъ шалый человѣкъ. Другимъ онъ, вѣрно, кажется образцомъ спокойствія, уравновѣшенности. Но я-то знаю, одна я чувствую, что душа у него бѣшеная. Если-бъ онъ игралъ въ баккара, то прикупалъ бы къ шестеркѣ! Онъ и въ жизни прикупаетъ къ шестеркѣ, а я только такихъ могу любить. Серизье, тотъ въ жизни и къ четверкѣ не прикупаетъ... Серизье это у меня такъ... А Браунъ это колдовство: онъ зачаровалъ меня, зачаровалъ разъ навсегда въ тотъ день, когда Шаляпинъ пѣлъ «Заклинаніе Цвѣтовъ». Но съ такимъ же успѣхомъ я могла бы влюбиться въ президента Вильсона или въ архіепископа Кентерберійскаго... Никого не люблю. Это страшно... Нѣтъ, не страшно. Такъ жить спокойнѣе, хоть скучно»...

— ...Молодые люди совсѣмъ другое дѣло. Но ты!.. Вѣдь мы всѣ пробудемъ здѣсь еще недѣли двѣ, не больше. И ты пріѣхала сюда не учиться, а отдыхать. Какъ же можно тратить на эту безсмысленную поѣздку нѣсколько дней! Не говорю уже о расходахъ.

— Въ Парижѣ жизнь мнѣ будетъ стоить дешевле, чѣмъ здѣсь, а поѣду я въ третьемъ классѣ.

— Въ такую жару въ третьемъ классѣ! Нѣтъ, ты просто сошла съ ума!

— Мосье Серизье говоритъ, что поѣдетъ завтра въ первомъ поѣздѣ, это самый удобный, — ядови-

то вставила Елена Федоровна. Госпожа Георгеску измѣнилась въ лицѣ. Жюльеттъ, блѣднѣя, поспѣшно обратилась къ Мусѣ:

— Надѣюсь, мосье Викторъ ничего не будетъ имѣть противъ моего общества?

— Онъ-то будетъ въ восторгѣ, если вы въ самомъ дѣлѣ поѣдете. Кстати, гдѣ же наши молодые люди?

— Они пошли къ лошадямъ. Вѣрно, имъ тамъ интереснѣе, чѣмъ съ нами.

Прозвенѣлъ колоколъ, начиналась новая партія. На доскѣ появились фамиліи игроковъ; среди нихъ были титулованные французы и англичане, какіе-то экзотическіе принцы, сыновья извѣстныхъ еврейскихъ банкировъ. «Демократическое сближеніе народовъ», — смѣясь, сказала Жюльеттъ. — «Да, и игра самая демократическая: нарочно все устроено такъ, чтобы сдѣлать ее доступной только для архимилліонеровъ», — отвѣтила Елена Федоровна. «За демократіей пріѣзжать въ Довилль было не совсѣмъ разумно», — подумала Муся, и польщенная, и раздраженная тѣмъ, что ея мужа причислили къ архимилліонерамъ. На поле медленно выѣзжали игроки, на небольшихъ гнѣдыхъ коняхъ съ перевязанными хвостами, съ бинтами на ногахъ. За оградой возвращавшійся съ работы нормандскій крестьянинъ остановилъ свою огромную лошадь, всталъ на телѣжкѣ и, вытирая лобъ цвѣтнымъ платкомъ, съ любопытствомъ смотрѣлъ черезъ заборъ на то, что происходило на полѣ. Мелкой рысью выѣхалъ судья. Опять прозвенѣлъ колоколъ. Лошади перешли на галопъ. Высоко взлетѣлъ мячъ. «Hallo boys!..», — закричалъ одинъ изъ игроковъ. — «Въ сущности ничего интереснаго», — сказала баронесса, оглядывая туалеты вновь входившихъ дамъ. — «У этой слѣва то, помните, отъ Калло, я сейчасъ узнала», — обратилась она къ Мусѣ, называя фами-

лію дамы. — «Я сегодня читала о ней въ газетахъ: она заказала бѣлье и мебель въ спальной подъ цвѣтъ своихъ глазъ. Еслибъ еще хоть глаза-то были красивые, а то вѣдь морда»... — Нормандскій крестьянинъ опустился на телѣжкѣ и медленно тронулся дальше.

— ...Какая сигнализація? Этого я не понимаю.

— Очень просто, какая. Многимъ посѣтителямъ этого заведенія, навѣрное, неудобно было бы встрѣтиться тамъ со знакомыми. Поэтому они ждутъ въ особой комнатѣ, пока не будетъ данъ сигналъ: вестибюль и лѣстница свободны, можете идти спокойно.

— А тамъ?..

— Гдѣ тамъ?

— На лѣстницѣ... То-есть тамъ, куда приводитъ лѣстница?

— Тамъ вы попадете въ зеркальную гостиную. Въ ней васъ встрѣчаютъ женщины въ упрощенномъ туалетѣ...

— Полуодѣтыя?..

— Разумѣется, въ костюмѣ Евы. Я впрочемъ думаю, что это глупо. По моему, главное удовольствіе именно въ томъ, чтобы раздѣвать женщину. Это надо дѣлать медленно.

— Медленно?

— Да. Въ зеркальной комнатѣ вы выбираете ту, что вамъ нравится, и удаляетесь съ ней.

— И удаляетесь съ ней... Но вы тамъ бывали?

— Говорю вамъ: десять разъ, — солгалъ Мишель.

— И вы поведете меня?

— Вопросъ денегъ. Это самый дорогой домъ Парижа. Считайте сами. Въ зеркальной комнатѣ меньше, чѣмъ тремя бутылками, вы отъ этой оравы не

отвяжетесь. А цѣны на шампанское тамъ звѣрскія. Затѣмъ и ей вѣдь надо заплатить. Вы при деньгахъ?

— Нѣтъ, не очень.

— И я сейчасъ совсѣмъ не богатъ. Если хотите, пойдемъ въ домъ побѣднѣе. Неужели вы никогда не бывали?

— Когда-то въ Петербургѣ бывалъ, но... Впрочемъ, не буду врать: никогда не бывалъ. Любовницы у меня, разумѣется, были.

— И отлично сдѣлали, что не ходили. Если-бъ вы знали, какъ мнѣ надоѣли женщины! Такъ и лѣзутъ, такъ и лѣзутъ... Повѣрьте, мосье Викторъ, единственная интересная вещь на землѣ — политика...

— Муся, вотъ идетъ вашъ супругъ. Господи, какъ онъ великолѣпенъ!

Елена Федоровна говорила искренно. Она недолюбивала Клервилля и угадывала въ немъ презрительное нерасположеніе къ себѣ. Но видъ его былъ сильнѣе личной антипатіи. Клервилль и въ самомъ дѣлѣ былъ великолѣпенъ. Въ бѣлой курткѣ, въ желтыхъ сапогахъ, онъ казался еще выше ростомъ. Несмотря на часъ бѣшеной скачки, на его загорѣломъ, только что умытомъ ледяной водой, лицѣ не было видно и слѣдовъ утомленія. Повидимому, игра отнюдь не истощила запаса его энергіи. Онъ шелъ вдоль изгороди быстрымъ шагомъ, то похлестывая себя по ботфорту тяжелымъ хлыстомъ, то снося ударами хлыста попадавшіеся на дорогѣ камешки. Подойдя къ столику, онъ снялъ бѣлый шлемъ и весело поклонился. Изъ-за сосѣднихъ столиковъ всѣ на него смотрѣли.

— Поздравляемъ! Поздравляемъ!

— Это было удивительное зрѣлище.

— Я немного опоздала, но видѣла конецъ игры.

Вы всѣхъ побѣдили! — насмѣшливо-ласково сказала Муся, невольно имъ любуясь.

— Заслуга не моя. Этой лошади цѣны нѣтъ.

— Садитесь къ намъ. Хотите лимонаду?

— Благодарю васъ. Но гдѣ же ваши молодые кавалеры? Неужели они оставили васъ однихъ?

— Гдѣ-то шляются. Дамы мало ихъ интересуютъ.

— О! Странная молодежь, — сказалъ Клервилль съ искреннимъ недоумѣніемъ. — Ахъ, да, — обратился онъ къ Мусѣ, — у меня есть для васъ письмо. — Я какъ разъ передъ поло встрѣтилъ одного своего товарища, ему въ Стокгольмѣ передалъ знакомый, недавно пріѣхавшій изъ Россіи.

— Изъ Россіи? Гдѣ же оно?

— Оно было безъ адреса и тотъ господинъ не догадался, что можно переслать въ наше посольство или въ военное министерство, почему-то ждалъ окказіи. Недогадливый человѣкъ, — сказалъ Клервиль, протягивая Мусѣ довольно толстый конвертъ. — А вотъ и нашъ молодой другъ.

— Поздравляю васъ съ побѣдой, — сказалъ Витя, протягивая руку Клервиллю. — Вы отлично играете...

— Витя, письмо изъ Петербурга!

— Мнѣ? О папѣ?

— Нѣтъ, мнѣ... Съ окказіей. Еще не знаю, отъ кого...

Изъ конверта выпала пачка скомканныхъ грязноватыхъ сѣро-желтыхъ листковъ съ какимъ-то печатнымъ текстомъ. «Въ демократической Швейцаріи все готово къ казнямъ рабочихъ, если они посмѣютъ нарушить капиталистическій строй...» — Въ чемъ дѣло? — спросила съ недоумѣніемъ Муся. «Въ Америкѣ каторга, электрическій стулъ и судъ Линча являются самыми излюбленными символами

демократіи и свободы». — Въ чемъ дѣло? Что за ерунда?

— Мусенька, да ты не то читаешь! Письмо на другой сторонѣ!

— Какъ? Ахъ, вотъ-что!.. Господи, да это почеркъ Григорія Ивановича!

— Не можетъ быть!

— Ну, разумѣется! Развѣ ты не узнаешь? Письмо Никонова... Господи!

Муся и Витя ахали. Клервилль смотрѣлъ на нихъ равнодушно-вопросительно.

— Это вашъ другъ? — началъ онъ, — должно быть, очень интересно...

Жюльеттъ переглянулась съ матерью и встала.

— Ну, вотъ вы прочтите письмо, — сказала она Мусѣ, — а мы пойдемъ домой. Вы заплатите, Муся, мы потомъ сочтемся.

— Я сейчасъ заплачу въ буфетѣ, — поспѣшно сказалъ Клервилль. Ему не хотѣлось слушать чтеніе длиннаго письма. — И если письмо пріятное, то мы за обѣдомъ выпьемъ шампанскаго. Заодно и по случаю моей великой побѣды, — шутливо добавилъ онъ.

— А меня не зовете? — кокетливо спросила баронесса. Клервиль сдѣлалъ видъ, будто не разслышалъ.

— Такъ я буду ждать въ гостиницѣ, — сказалъ онъ женѣ.

VI.

«Милая, дорогая Мусенька, ангелъ мой», — прочла Муся и голосъ ея дрогнулъ. — «Я не знала, что вы такъ интимны», — вставила Елена Федоровна. — «Не сердитесь на меня за это обращеніе, не изумляйтесь бумагѣ, на которой я пишу. Все будетъ объяснено въ свое время, если у васъ хватитъ терпѣнія дочитать письмо до конца. Надѣюсь отправить его съ вѣрнѣйшей и необыкновенной окказіей: одному моему знакомому сказала одна его знакомая, что у нея есть одинъ знакомый, который... Короче говоря, 8 марта выѣзжаетъ будто бы заграницу какой-то иностранный имперіалистъ, и онъ соглашается...»

— 8 марта! — вскрикнулъ Витя. — Когда же это написано?

— Помѣчено 4 марта! — отвѣтила Муся, заглянувъ въ заголовокъ.

— Дикія времена!

— «И онъ соглашается, безъ ручательства, конечно, доставить это письмо. Дойдетъ ли оно до васъ? Гдѣ вы, эфирное заграничное существо? Я нахожусь, какъ видите, въ Москвѣ. Впрочемъ, Вы этого не видите, и прежде всего надо объяснить Вамъ, откуда я пишу. Я пишу Вамъ... ну, догадайтесь! Нѣтъ, ни въ жисть не догадаетесь. Я пишу Вамъ изъ Кремля, изъ настоящаго, всамдѣлишнаго московскаго Кремля! А почему изъ Кремля, тому слѣдуютъ пункты.

«Но страшная мысль! По примѣрному подсчету, я изведу на сіе письмо по меньшей мѣрѣ десть бумаги!! Хватитъ ли у Васъ, эфирное существо, захваченное вихремъ свѣтской жизни, желанія и терпѣнія дочитать до конца? Объ одномъ умоляю Васъ: когда наскучитъ, ради Бога, бросьте. Или,

лучше, дайте прочесть любезнѣйшей Тамарѣ Матвѣевнѣ: она дама терпѣливая, добросовѣстно все прочтетъ и разскажетъ главное своими словами Вамъ и почтеннѣйшему Семену Исидоровичу...»

Муся остановилась.

— Ну да, они тамъ ничего не знаютъ, — смущенно сказалъ Витя.

«Но прежде о Васъ, эфирное существо, завтракающее и обѣдающее каждый день (неужели и бѣлый хлѣбъ иногда ѣдите? вкусенъ ли онъ?) Догадываюсь, что Вы утопаете въ славѣ, нѣгѣ и величіи. Не сталъ ли Вашъ дорогой супругъ главой «Интеллидженсъ Сервисъ»? Мы здѣсь въ нѣгѣ не утопаемъ, но это ничего не значитъ: жизнь на землѣ дивно-прекрасна, у меня вѣдь есть вобла и кирпичный чай, и порошокъ противъ вшей (не помогаетъ), и комплектъ «Вѣстника Европы». Надо же помнить, что гусь свиньѣ не товарищъ: русскій гусь долженъ быть очень тактиченъ и не докучать западной свиньѣ, — имѣю въ виду «цивилизованный міръ».

«Не сердитесь, дорогая, я знаю, Вы моихъ шутокъ терпѣть не можете, простите, что такъ глупо пишу. Все не знаю, съ чего начать. Надо бы собственно съ конца: «И еще кланяется Вамъ дяденька Тимофей Миколаевичъ». Но какъ говорилъ одинъ изъ богатырей-старшихъ адвокатуры, старшихъ товарищей Семена Исидоровича (въ письмѣ было зачеркнуто: «Семы» и написано «Семена Исидоровича»), «иныхъ ужъ нѣтъ, иныхъ далече». Отъ меня же теперь далече всѣ. Вы заграницей, — одинъ Богъ вѣдаетъ, гдѣ именно. Другіе остались въ Петербургѣ, и я давно ихъ не видѣлъ. Я переѣхалъ въ Москву мѣсяца черезъ три послѣ Вашего отъѣзда: въ Петербургѣ нечего было ѣсть (вѣдь въ послѣднее время Вы меня подкармливали). Переходить же на положеніе нищаго или стрѣлка я не хотѣлъ, — хоть и отъ этого не отказывайся). А здѣсь предложили

какую-то работишку, не то, чтобы совсѣмъ чистую (такихъ у насъ нѣтъ), но и не очень грязную, — а какую, скучно разсказывать. О бывшихъ друзьяхъ нашихъ свѣдѣнья, впрочемъ, получаю. Вашъ другъ Березинъ, какъ Вы знаете, оказался стопроцентнымъ хамомъ (съ нѣкоторой гордостью вспоминаю, что я всегда его недолюбливалъ). Сонечка все при немъ, по послѣднимъ извѣстіямъ они поженились». (Муся ахнула). «Когда разженятся, не знаю; у насъ это просто: женился, развелся, опять женился, — и это единственная популярная реформа большевиковъ, и съ этимъ никакое правительство ничаго подѣлать не сможетъ. А пока не разженились, Вашъ другъ, по слухамъ, поколачиваетъ нашу милую Сонечку»...

— Господи! Быть не можетъ!

— Это актеръ Березинъ? — спросила съ интересомъ Елена Федоровна.

«Съ сожалѣніемъ добавляю, что Сонечка очень подурнѣла, и, если я при встрѣчахъ лѣзъ къ ней по прежнему, то дѣлалъ это больше изъ приличія. Что до Глаши, то... Съ этимъ именно связано мое пребываніе въ Кремлѣ. Очень плоха бѣдная Глаша. Не скрою отъ Васъ, для нея единственное спасеніе возможно скорѣе переѣхать въ Финляндію, гдѣ есть санаторіи, есть лекарства, а, главное, есть мясо, хлѣбъ, молоко и прочія вещи, видъ и вкусъ которыхъ я иногда смутно вспоминаю. Впрочемъ, было у меня сокровище: шесть фунтовъ крупы, но отобрали при продовольственномъ обыскѣ»...

Муся положила письмо, вынула изъ сумки платокъ и поднесла его къ глазамъ.

— А у насъ обѣдъ изъ шести блюдъ... Вивіанъ каждый день пьетъ шампанское...

— Да, и у меня сегодня кусокъ въ горлѣ застрянетъ.

— Не застрянетъ! — сказала Елена Федоровна

увѣренно. Муся посмотрѣла на нее съ ненавистью. — Друзья мои, я васъ покидаю, — добавила баронесса, вставая. — Вы меня извините, вѣдь я не знаю вашихъ пріятелей. Да и пора. Значитъ, вечеромъ встрѣтимся. — Муся и Витя остались одни.

— Читай же дальше, Мусенька...

«И вотъ дня три тому назадъ я получилъ, тоже съ окказіей, два письма изъ Петербурга — отъ кого бы Вы думали? Отъ поэта Беневоленскаго! Отъ автора «Голубого фарфора»!! Извѣстно ли Вамъ, желанная, что «Голубой фарфоръ» имѣетъ теперь бѣшеный успѣхъ, что онъ переизданъ — правда, на оберточной бумагѣ — въ несмѣтномъ числѣ экземпляровъ, что имъ, судя по тиражу, зачитываются въ деревняхъ наши фермеры и фермерши? А если это вамъ неизвѣстно, то о чемъ же сообщаютъ ваши буржуазныя имперіалистическія газеты?

— Какъ онъ однако смѣло пишетъ! Вѣдь это явное издѣвательство. Неужели онъ подписался?

— Точно ты его не знаешь! Григорій Ивановичъ и шалый, и безстрашный человѣкъ... Подпись буквы, но, конечно, выслѣдить очень легко.

«Это не помѣшало нашему геніальному поэту остаться человѣкомъ порядочнымъ, изъ чего, пожалуй, соціологъ могъ бы сдѣлать выводы неожиданные: вѣдь Беневоленскій былъ «дряблый упадочникъ», а Березинъ «художникъ-общественникъ», правда? (теперь онъ «артистъ-гражданинъ» и «жертва царской реакціи»). Впрочемъ, это и ясно: художники-общественники только и жили, что страхомъ передъ «Русскими Вѣдомостями». Исчезъ «общественный контроль», т. е. газетныя рецензіи и хроника, вотъ они и показали свои настоящія художества, благо теперь премія выдается за хамство. А съ Беневоленскаго или съ меня, грѣшнаго, что было взять прежде и чего у

насъ не стало теперь? Мы поэтому и оказались меньшими прохвостами, чѣмъ они, — говорю «меньшими», такъ какъ вполнѣ порядочнымъ человѣкомъ у насъ быть нельзя. Но я не соціологъ, Мусенька, и продолжаю разсказъ. Итакъ, получилъ я два письма отъ Беневоленскаго. Одно — мнѣ, и въ немъ онъ проситъ похлопотать о заграничномъ паспортѣ для Глаши. А другое письмо было рекомендательное, на имя товарища Каровой, которая теперь въ большой силѣ. Это письмо знаменитаго поэта я въ тотъ же день передалъ по назначенію, и вчера вечеромъ получилъ приглашеніе явиться предъ свѣтлыя очи. И приложенъ былъ къ нему пропускъ въ Кремль, и съ этимъ пропускомъ я проникъ черезъ Кутафью въ мѣсто величественное и древнее, когда-то дворъ боярина Андрея Клешнина, потомъ зданіе судебныхъ учрежденій (гдѣ и я, грѣшный, однажды передъ войной проигралъ безпроигрышное дѣло), — оно же нынѣ главная берлога большевиковъ, главное гнѣздо Соловья-разбойника...

— Да онъ сумасшедшій!

— Вѣдь прямо головой рискуетъ!

— Просто полоумный!.. Я дрожу отъ ужаса...

«Однако товарища Карову я пока не видѣлъ. Обѣщаютъ допустить къ ней вечеромъ. Правда, пріемъ мнѣ былъ назначенъ на 10 часовъ утра, но отчего же малость и не подождать? Видите ли, эфирное созданіе, здѣсь сейчасъ происходитъ съѣздъ. Какой именно съѣздъ, не берусь сказать, тѣмъ болѣе, что плохо понимаю разговоры: на дворѣ боярина Клешнина сейчасъ говорятъ на всѣхъ языкахъ, кромѣ русскаго. Но, повидимому, основывается Третій Интернаціоналъ, — да-съ! О томъ, какіе такіе первые два интернаціонала, Вы вѣрно знаете лучше меня; а если не знаете, то спросите у Семена Исидоровича» (опять было зачеркнуто «Семы»). «Я же съ радостью узналъ о созданіи Третья-

го Интернаціонала изъ проэкта резолюціи, который лежитъ предо мной на столѣ. Прилагаю его вамъ на память.

«За этимъ столомъ я и сижу, милая Мусенька, и строчу Вамъ настоящее письмо на проэктѣ резолюціи по поводу звѣрствъ, совершаемыхъ подлой Швейцаріей. Резолюцій на столѣ цѣлая гора, а рядомъ чернильница и перо, а передъ столомъ стулъ, а на стулѣ сижу я и пишу. Видъ у меня при этомъ настолько интеллигентный, что я легко могу сойти за марксиста. Быть можетъ, меня въ этомъ залѣ, по славянскому облику моему, принимаютъ за делегата черногорской коммунистической партіи и думаютъ, что я составляю текстъ поправки къ резолюціи о звѣрствахъ швейцарской буржуазіи. По крайней мѣрѣ, проходящіе люди смотрятъ на меня съ почтеніемъ. И, каюсь, милая Мусенька, мнѣ доставляетъ дѣтское удовольствіе, что я пишу такія нехорошія слова подъ самымъ носомъ у всей этой шайки. Страха же никакого не испытываю, не бойтесь за меня и Вы, ибо если Вы получите это письмо, значитъ, со мной ничего не случилось.

«Народъ же здѣсь толчется всякій. Трудно только проникнуть въ Кремль, а внутри совершенный безпорядокъ. Главныхъ впрочемъ нѣтъ: насколько я могу поять, «пленумъ» засѣдаетъ въ Митрофаньевскомъ залѣ, а здѣсь суетится мелкота. Знать другъ друга въ лицо они никакъ не могутъ. Передо мной лежатъ листки со спискомъ делегатовъ, прилагаю также на память: вамъ будетъ вѣдь полезно узнать, что Турцію, напр., тутъ представляетъ товарищъ Субхи, Грузію — товарищъ Шгенти, Китай —товарищи Лау-Сиу-Джау и Чанъ-Сунъ-Куи. Попадаются впрочемъ изрѣдка и русскія фамиліи, напр., товарищъ Петинъ: онъ представляетъ Австрію (отчего бы и нѣтъ?). Но утѣшила меня фамилія представителя Кореи: для простоты и краткости, онъ на-

зывается просто товарищъ Каинъ. Еслибъ я умѣлъ отличать корейскія физіономіи отъ китайскихъ, еслибъ я былъ увѣренъ, что вонъ тотъ жестолицый субьектъ, не товарищъ Лау-Сиу-Джау и не товарищъ Чанъ-Сунъ-Куи, а корейскій товарищъ Каинъ, я бросился бы къ нему и обнялъ бы его за столь откровенную, удачную и символическую фамилію!

«Мусенька, письмо мое сумбурно, я знаю: я выпилъ больше денатурата, чѣмъ нужно бы (сколько-то, разумѣется, нужно), и мысли у меня скачутъ, скачутъ... Вотъ и сейчасъ не знаю о чемъ писать, хоть столько нужно Вамъ сказать, столько нужно сказать...

«Начать бы надо такъ: «Дѣйствіе происходитъ въ гостиной, въ стилѣ Ампиръ... На фонѣ дверь въ старый помѣщичій садъ» и т. д. Итакъ, дѣйствіе происходитъ въ комнатѣ — Вы догадываетесь, что въ комнатѣ? — вѣрно: въ довольно большой комнатѣ. Двери? Да, есть и двери, но не въ старый помѣщичій садъ, а въ какой-то коридоръ, гдѣ пахнетъ кошками и карболкой. Столы, стулья, табуреты, ужъ тамъ Ампиръ или не Ампиръ, не знаю. На стѣнахъ картинки: убитый Либкнехт,ъ почему-то голый до пояса, и какой-то плакатъ: здоровенный верзила съ длинными волосами, въ фартукѣ, сдѣлавъ идіотски-звѣрское лицо, выпучивъ глаза, бьетъ по цѣпямъ, сковывающимъ земной шаръ. Вдали что-то свѣтлое: заря? восходъ пролетарскаго солнца? Цѣнная аллегорія плаката Вамъ, надѣюсь, понятна. Говорятъ, это будетъ обложка ихъ журнала. Другія картины въ томъ же родѣ. Передъ ними останавливаются, съ необыкновенно умнымъ видомъ, проходящіе по комнатѣ люди. Смотрятъ на верзилу, — на лицахъ бодрая вѣра въ пролетарскую зарю. Смотрятъ на Либкнехта, — тихая грусть и грозная жажда мести... Вотъ въ эту самую минуту

передъ Либкнехтомъ лохматый субъектъ въ сапогахъ, — ему звѣрское выраженіе создать себѣ не трудно: судя по его виду, за нимъ не одно мокрое дѣло.

«Только что прозвенѣлъ звонокъ, въ комнатѣ оживленіе: всѣ куда-то уходятъ, пойду за другими и я, не оставаться же одному въ этой комнатѣ. Допишу письмо, вѣрно, дома».

«Звонокъ означалъ историческое событіе, милая Мусенька: Третій Интернаціоналъ открылся рѣчью «самого». Мнѣ его увидѣть не пришлось, слышалъ только громъ рукоплесканій. Тутъ же какой-то каинъ раздавалъ эту самую рѣчь, но ея Вамъ не посылаю: получилъ всего одинъ экземпляръ и естественно сохраню на память. Вернулся на свое мѣсто, прочелъ рѣчь Ильича съ искренней радостью и продолжаю это письмо.

«Вы спросите: почему же «съ искренней радостью». Онъ говорилъ, что совѣтская система побѣдила во всемъ мірѣ: въ Германіи соціальная революція, Италія наканунѣ соціальной революціи, Соединенные Штаты тоже наканунѣ, а у васъ, въ Англіи «широкій, неудержимый, кипучій и могучій ростъ совѣтовъ и новыхъ формъ массовой пролетарской борьбы». Ваше «англійское правительство приняло Бирмингемскій совѣтъ рабочихъ депутатовъ», «совѣтская система побѣдила не только въ отсталой Россіи, но и въ наиболѣе культурной странѣ Европы — въ Германіи, а также и въ самой старой капиталистической странѣ — въ Англіи». 2) Мусенька, мы здѣсь ничего, ничего не знаемъ, и я смутно боюсь, что великій человѣкъ вретъ? Или, по крайней мѣрѣ, привираетъ, а? Но вѣдь все таки не на сто же процентовъ онъ вретъ, и если хотя бы одна только десятая доля правды!..

«Почему же я радъ? Это я скажу позднѣе: опять

гремятъ рукоплесканья, но теперь совсѣмъ подъ бокомъ, надо посмотрѣть, что такое»...

«Видѣлъ, Мусенька, видѣлъ. Видѣлъ и «самого», и главныхъ его сотрудниковъ, и всю шайку. Не слышалъ, но видѣлъ: они снимались для потомства, — ужъ какъ такой сценѣ обойтись безъ фотографическихъ снимковъ! Было это по близости отъ Митрофаньевскаго зала, въ какой-то не очень большой комнатѣ съ тремя ступеньками. Комната выстлана коврами, на стѣнѣ надписи: «Да здравствуетъ III Интернаціоналъ», «Пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь» на всѣхъ языкахъ... Вотъ только не замѣтилъ, есть ли надпись по корейски. Насъ въ комнату не пустили, но я съ порога все видѣлъ, все, своими глазами, отсохни у меня руки и ноги! На верхней ступенькѣ стулъ, а на стулѣ онъ, Мусенька, онъ самый, нашъ голубчикъ, нашъ кормилецъ, — Ильичъ!

«Человѣкъ какъ человѣкъ: небольшой, сутуловатый, лысый, рыжеватый, со злыми, умными и хитрыми глазами. Ловкій человѣкъ, хитрый человѣкъ, что и говорить! Всѣ диктаторы выдающіеся люди, да это и не можетъ быть иначе. Стать диктаторомъ, это дѣло историческаго счастья; но умѣнье въ томъ, чтобы стать кандидатомъ въ диктаторы: подумайте, какую конкуренцію надо преодолѣть въ средѣ собственной своей партіи, — вѣдь хитренькихъ и ловкихъ людей тамъ, какъ вездѣ, достаточно, и всѣмъ имъ хочется изъ каиновъ-просто попасть въ оберъ-каины. Эти люди его «боготворятъ», — мнѣ и смотрѣть было любо на выраженіе ихъ товарищески-вѣрноподданническихъ чувствъ. За его стуломъ стояли Троцкій въ френчѣ и Зиновьевъ въ какой-то блузѣ или толстовкѣ. Мусенька, понимаете ли вы, какія люциферовы чувства они должны испытывать къ нѣжнолюбимому Ильичу: «сѣлъ, сѣлъ-таки на стулъ! а

мы тутъ стой за стуломъ, и сейчасъ, и въ завтрашнемъ журнальчикѣ съ верзилой на обложкѣ, и до конца временъ, до послѣдняго Иловайскаго исторіи! А вѣдь, еслибъ въ такомъ-то году, на такомъ-то съѣздѣ, голосовать не такъ, а иначе, да на такую-то брошюру отвѣтить вотъ такъ, то вѣдь не онъ, а я, пожалуй, сидѣлъ бы «Давыдычемъ» на стулѣ, а онъ стоялъ бы у меня за спиной съ доброй, товарищески-вѣрноподданической улыбкой»!..

«У ногъ Ильича на ступенькахъ расположились рядовые каины. Эти, можетъ быть, обожаютъ его искренно: ни одинъ изъ нихъ оберъ-каиномъ стать не могъ и не можетъ. Мусенька, ангелъ, что за лица! Какое воронье слетѣлось въ Москву! Что они здѣсь дѣлаютъ? Какъ сюда попали? За какіе грѣхи наши очутились въ Кремлѣ? Не подумайте, что я сталъ монархистомъ или что ужъ такъ на меня дѣйствуетъ память о бояринѣ Андреѣ Клешнинѣ! Я и не знаю, кто онъ такой былъ, бояринъ, — можетъ, былъ гусь не лучше этихъ! Я и не то хочу сказать, что Клешнинъ, какъ ни какъ, былъ здѣсь у себя дома, нѣтъ, не то! Но чудовищная нелѣпость этой маскарадной сцены, — нелѣпость политическая, историческая, эстетическая, какая хотите, — Васъ, конечно, поразила бы совершенно такъ же, какъ меня. Въ Кремль перенесены арестантскія роты. Господи, что за лица! Чего стоитъ одинъ Зиновьевъ! Мнѣ запомнился Каинъ въ высокихъ сапогахъ, который сидѣлъ у самыхъ ногъ Ленина на нижней ступенькѣ, обнявъ руками колѣни, съ видомъ необыкновенно-горделивымъ. Они-то знаютъ, что сцена историческая (вѣдь и въ самомъ дѣлѣ она историческая, какъ бы я ни потѣшался), и выраженія придали себѣ соотвѣтственныя, самыя что ни есть историческія. Мусенька, можетъ быть, ихъ идеи и хороши, можетъ быть, ихъ идеямъ принадлежитъ будущее, можетъ быть, онѣ спасутъ

грѣшный міръ. Но, Господи, какіе прохвосты спасаютъ отъ грѣховъ человѣчество!

«Все же нашъ національный Ильичъ понравился мнѣ больше другихъ. Всѣ остальные играли. Для потомства? Можетъ быть, и для потомства. Троцкій, навѣрное, думалъ о потомствѣ, какъ получше объяснить, что онъ отлично могъ сѣсть на стулъ но самъ по такой-то причинѣ не хотѣлъ. А другіе, больше, я думаю, для насъ, для галерки, для товарища Степаниды (или Минхенъ или Су-Цу-Сянъ), которая увидитъ фотографію въ этомъ самомъ журнальчикѣ съ верзилой. Этотъ же не игралъ. Онъ даже не смотрѣлъ ни на фотографа, ни на каиновъ, ни на галерку. Онъ видимо обдумывалъ какую-то очередную дѣловую пакость и только жаждалъ, чтобы его скорѣе отпустили.

«И еще: Можетъ быть, я ошибаюсь, но у громаднаго большинства другихъ въ душѣ, кромѣ изумленія — гдѣ очутились! — былъ и страхъ, самый обыкновенный, но смертельный страхъ: дѣлато наши, кажется, не очень хороши, Деникинъ понемногу продвигается. Я увѣренъ, еслибы вонъ тамъ, за окномъ, на Сенатской площади, солдатъ нечаянно разрядилъ винтовку, три четверти каиновъ забыли бы объ исторіи и мгновенно бѣжали бы безъ оглядки, куда угодно, поскорѣй, подальше. А этотъ — нѣтъ. Ему тоже будетъ крайне обидно, если Деникинъ явится въ Москву, но обидно не столько отъ того, что висѣть ему тогда на веревкѣ, — нѣтъ, сорвался опытъ, такой интересный опытъ: еслибъ на двадцать шестомъ ходу пойти коммунистическимъ конемъ на другое буржуазное поле, опытъ могъ бы продолжаться и дальше.

«Каровой я среди снимавшихся не видѣлъ. Спросилъ у кого-то изъ тѣхъ, кто въ Кремлѣ кое-какъ говоритъ по русски, мнѣ сказали, что она въ ко-

миссіи по выработкѣ резолюціи о привлеченіи работницъ къ борьбѣ за соціализмъ. Не теряю надежды, что она меня приметъ. Можетъ быть, я предложу ей руку и сердце, а? Не удивляйтесь, если услышите. Вообще, разъ навсегда ничему не удивляйтесь, что бы Вы ни услышали о насъ, грѣшныхъ!

«Но писать больше не могу: замучился и Васъ замучилъ, эфирное существо. Не перечитываю, ничего не вычеркиваю, хоть знаю: Вы усмотрите въ моихъ словахъ «націоналистскій душокъ», которымъ вы меня попрекали еще до революціи. И Вы будете правы, эфирное творенье! Ненавижу всѣхъ иностранцевъ лютой ненавистью, той ненавистью, которую, быть можетъ, на операціонномъ столѣ вшивый щенокъ испытываетъ къ публикѣ, явившейся на вивисекцію. Онъ ненавидитъ экспериментаторовъ, но публику, вѣроятно, ненавидитъ еще острѣе. До послѣдней капли русской крови воевали, до послѣдняго русскаго вшиваго щенка будутъ изучать великій опытъ! Будь всѣ они прокляты, пропади они всѣ пропадомъ, и единственное мое искреннее, послѣднее желанье, чтобы и они, еще при моей жизни, подпали подъ власть товарища Каина. Объ этомъ, только объ этомъ я и буду мечтать, когда придетъ моя очередь и тифозная вошь обратитъ на меня благосклонное вниманіе: въ горячкѣ отъ сыпняка пошлю товарищу Каину свое предсмертное благословеніе: Каины всѣхъ странъ, соединяйтесь! Пришло, пришло ваше времечко!»

Здѣсь письмо на листкахъ съ резолюціей кончалось. Далѣе на обыкновенномъ клѣтчатомъ, неровно вырванномъ изъ школьной тетрадки листкѣ было добавлено:

«Не сердитесь, милая Муся. Считаю нужнымъ добавить, что вчера, отправляясь въ Кремль, я для храбрости хватилъ денатурата. Кажется, это отрази-

лось на моемъ поведеніи и особенно на письмѣ. Все же отправляю его не перечитавъ: полюби насъ черненькими, красненькими насъ всякій полюбитъ. Карова приняла меня вчера вечеромъ, долженъ сказать, очень любезно и обѣщала все сдѣлать. Сдѣлаетъ ли, не знаю. Какъ нибудь брошу съ гибнущаго корабля второе письмо въ бутылкѣ, пошлю новую вѣсть изъ потусторонняго міра. Эту же отправляю съ гордымъ имперіалистомъ. Онъ занимаетъ такое положеніе, что обыска у него на границѣ быть не можетъ, — не волнуйтесь же ни за него, ни за меня. Ну, а если невзначай обыщутъ, то однимъ вшивымъ щенкомъ и однимъ гордымъ имперіалистомъ будетъ на землѣ меньше: не такъ жалко. Надеждъ ни на что не имѣю: въ нашемъ положеніи всякая надежда — прямой вызовъ чорту.

«Сердечный привѣтъ всѣмъ, всѣмъ, всѣмъ.

Г. Н...

VII.

Господинъ въ смокингѣ и легкомъ черномъ пальто шелъ по террасѣ къ столику Клервилля съ необыкновенно радостнымъ видомъ, еще издали протянувъ обѣ руки. Клервилль, тоже очень радостно, поднялся навстрѣчу господину. Онъ совершенно не зналъ, кто это такой. «Лицо знакомое... Конечно, одинъ изъ гостей»... Весь поглощенный поло, Клервилль не зналъ толкомъ, кого именно пригласила Муся на матчъ бокса. Однако, онъ привыкъ къ подобнымъ положеніямъ и говорилъ съ гостемъ такъ увѣренно-любезно, что Альфреду Исаевичу въ голову не могло прійти подозрѣніе; оно очень его обидѣло бы.

— О нѣтъ, нѣтъ совсѣмъ... Не поздно, — говорилъ Клервилль, одновременно заботясь о томъ, чтобы не сказать чего-либо неподходящаго, и стараясь припомнить свой скудный запасъ русскихъ словъ. Неизвѣстный гость заговорилъ съ нимъ по русски. — Рано, очень рано... Не поздно совсѣмъ... Имѣйте папиросу... — Онъ протянулъ гостю стальной портсигаръ.

— Покорнѣйше благодарю, дорогой мистеръ Клервилль.

— Стаканъ портъ? Они здѣсь получили въ самомъ дѣлѣ славный портъ.

— Нѣтъ, благодарю васъ, мы и то цѣлый день пьемъ. Искренно радъ васъ видѣть, дорогой мистеръ Клервилль.

— Я такъ радъ...

— Марья Семеновна?

— Марья Семеновна будетъ скоро, — отвѣтилъ Клервилль съ нѣкоторой гордостью: онъ зналъ, что Марьей Семеновной зовутъ его жену. — Будетъ

сейчасъ. Она сейчасъ одѣта... Славный вечеръ, не правда ли?

— Дивный вечеръ! Это насъ вполнѣ вознаграждаетъ послѣ такихъ жаркихъ дней...

Съ появленіемъ Муси трудное положеніе Клервилля кончилось. По первымъ ея словамъ выяснилось, что новый гость тотъ журналистъ, который сталъ кинематографическимъ дѣятелемъ и который долженъ оказать протекцію безтолковому русскому мальчику, другу Муси. Товарищъ журналиста не пріѣхалъ: его экстренно вызвали въ Парижъ. Отсутствіе Нещеретова собственно не могло быть непріятно Мусѣ, — она его терпѣть не могла. Тѣмъ не менѣе Муся обидѣлась.

— Онъ очень проситъ у васъ извиненія, Марья Семеновна. Его утромъ вызвали по телефону. Онъ такъ сожалѣлъ!

— Мнѣ тоже очень досадно... Жаль все-таки, что мосье Нещеретовъ не предупредилъ насъ утромъ, тоже по телефону. Тогда можно было бы отдать билетъ.

Клервилль холодно взглянулъ на жену: ея замѣчаніе показалось ему еще болѣе некорректнымъ, чѣмъ поздній отказъ гостя, для котораго былъ взятъ дорогой билетъ на матчъ бокса.

— Ахъ, онъ будетъ въ отчаяньи!

— Для отчаянья нѣтъ основаній... Мы можемъ идти. Молодежь уже тамъ, а мистеръ Блэквудъ, долженъ пріѣхать прямо туда.

— Мой автомобиль ждетъ у воротъ.

— Отлично. Мы пріѣдемъ какъ разъ къ десяти, какъ было условлено.

Дорогой донъ-Педро, сознавая, что часть вины ложится на него, разсыпался въ комплиментахъ туалету Муси. Она скоро смягчилась; вдобавокъ, ссориться съ Альфредомъ Исаевичемъ теперь не слѣдовало. Донъ-Педро вспоминалъ свои петер-

бургскія встрѣчи съ Клервиллемъ. Тотъ поддакивалъ, хоть и этихъ встрѣчъ совершенно не помнилъ.

Зданіе, въ которомъ происходилъ матчъ бокса, было ярко освѣщено. У входа, на крыльцѣ, въ вестибюлѣ, толпились мужчины во фракахъ. «Какъ разъ во время: антрактъ передъ главнымъ матчемъ», — сказалъ Клервилль удовлетворенно. Автомобиль Альфреда Исаевича отъѣхалъ, за нимъ къ подъѣзду подкатила великолѣпная машина. «Дюйзенбергъ, послѣдняя модель», — мгновенно, съ завистью, опредѣлилъ Клервилль. — «Да, очень хороша, а все-таки наши Роллъсъ-Ройсы лучше, что бы тамъ ни говорили». — «Кажется, это о н ъ», — сказалъ донъ-Педро. Шофферъ соскочилъ и, снявъ фуражку, отворилъ дверцы кареты. Изъ нея съ трудомъ вышелъ, сильно сгорбившись, мистеръ Блэквудъ. На него тотчасъ обратили вниманіе въ толпѣ. Кто-то рядомъ съ Мусей почтительно назвалъ фамилію милліардера. Онъ издали увидѣлъ Клервиллей, поднялъ руку съ легкимъ подобіемъ улыбки и, сказавъ что-то шофферу, съ трудомъ поднялся по лѣстницѣ. «Однако, онъ очень сдалъ». — замѣтила по русски Муся Альфреду Исаевичу, который почтительно снялъ шляпу. Они поздоровались и поговорили въ вестибюлѣ.

— ...Надѣюсь, я не заставилъ васъ ждать?

— Нѣтъ, мы сами только что пріѣхали. Зато наша молодежь уже тутъ съ половины девятаго, они ни за что не пропустили бы и первыхъ матчей.

— Развѣ ихъ нѣсколько?

— Всегда нѣсколько, — отвѣтилъ Клервилль, улыбаясь неопытности гостя. — Вы незнакомы?

— Я имѣлъ честь однажды встрѣтиться съ вами въ Парижѣ, мистеръ Блэквудъ, — сказалъ съ достоинствомъ донъ-Педро. Раздраженіе его тотчасъ

прошло: онъ не могъ долго сердиться на такого богача. Мистеръ Блэквудъ что-то промычалъ и протянулъ Альфреду Исаевичу холодную, слабую руку.

— Какое странное зданіе, неправда ли?

— Его нарочно приспособили подъ матчъ бокса.

— Но какъ нарядно: фраки и фраки! Я просто стыжусь за свой скромный смокингъ, — съ улыбкой вставилъ Альфредъ Исаевичъ, смущенный тѣмъ, что и хозяинъ, и американскій гость были во фракахъ. Капельдинеръ взялъ у Клервилля билетъ. Въ коридорѣ имъ попались Мишель и Витя. Мистеръ Блэквудъ опять что-то промычалъ. Онъ былъ не въ духѣ, — не любилъ приглашеній: ему и забавно было, и странно, и не совсѣмъ пріятно, что кто-то за него платитъ: всегда, вездѣ, за всѣхъ и за все платилъ онъ.

— Вотъ вашъ будущій адъютантъ, Альфредъ Исаевичъ.

— Очень пріятно. Радъ съ вами познакомиться, молодой человѣкъ. Я хорошо зналъ вашего отца...

— Ну что, интересно?... Но гдѣ же, наконецъ, наша ложа?

— Вотъ эта.

Суетливая старуха открыла дверь, ярко сверкнулъ бѣлый свѣтовой конусъ посрединѣ огромнаго зала. Муся только скользнула по залу первымъ черновымъ взглядомъ.

— Наконецъ-то! Мы боялись, что вы опоздаете, — сказала баронесса. Серизье всталъ навстрѣчу вошедшимъ.

— Ради Бога, извините, но мы не опоздали. Я вамъ такъ и сказала: въ десять.

— Я пришелъ ровно двѣ минуты тому назадъ.

— Наша вторая ложа эта? Отлично. Какъ бы намъ размѣститься поудобнѣе? Я мгновенно все устрою, — шутливо говорила Муся. Она устроила

такъ, что Серизье былъ переведенъ въ сосѣднюю ложу, гдѣ съ Мусей заняли мѣсто еще Блэквудъ и донъ-Педро. «Быть можетъ, Серизье не очень удобно публично se commetre avec un milliardaire? Нѣтъ, здѣсь никакихъ соціалистовъ нѣтъ», — подумала она. Клервилль сѣлъ се баронесой, Жюльеттъ, Мишелемъ и Витей. Елена Федоровна настойчиво шептала, что очень рада: «Я дрожала, что меня посадятъ съ этимъ надутымъ американцемъ! Вѣдь это со скуки умереть, съ нимъ и съ вашимъ Серизье!..» Въ дѣйствительности она была уязвлена, оказавшись въ менѣе почетной ложѣ. Клервилль подалъ ей программу, пошутилъ съ молодежью и вышелъ покурить.

Когда онъ вернулся, въ главной ложѣ шелъ горячій политическій споръ. Клервилль занялъ свое мѣсто, у барьера, и сталъ слушать безъ большого интереса. «Однако этотъ американецъ чрезвычайно полѣвѣлъ... Кажется, онъ немного лѣвѣе Ленина!..» Мистеръ Блэквудъ желчнымъ тономъ доказывалъ, что капиталистическій строй прогнилъ насквозь и даже не желаетъ ничего сдѣлать для своего очищенія. Прогнила и вся капиталистическая культура. Серизье озадаченно кивалъ головой, тоже, повидимому удивленный лѣвизной милліардера. Донъ-Педро мягко защищалъ капиталистическій строй и культуру; онъ по французски теперь говорилъ много увѣреннѣе и бойчѣе, чѣмъ прежде. Но мистеръ Блэквудъ не слушалъ возраженій и упрямо повторялъ свое. «Это женщины думаютъ, что, если нѣсколько разъ съ жаромъ сказать одно и то же, будетъ убѣдительно», — весело подумалъ Клервилль.

— Какой оселъ! Все дѣло въ томъ, что никто не желаетъ слышать объ его идіотскомъ банкѣ, — шепнулъ на ухо Витѣ сидѣвшій рядомъ съ нимъ Мишель.

— Однако нѣкоторая доля правды есть въ его критикѣ, — слабо поспорилъ Витя.

— Вы думаете? И я не очень люблю капиталистическій міръ, но онъ переживаетъ правнуковъ этого дурака.

Муся, успѣвъ разсмотрѣть залъ начисто, думала, что надо еще перетасовать гостей: въ диспозиціи были сдѣланы ошибки. «Что та злится, это отлично! Но Жюльеттъ не надо бы разлучать съ ея ненаглядным сокровищемъ. Она подумаетъ, что я это сдѣлала нарочно. Положительно, съ ней происходитъ что-то непонятное! У нея лицо Шарлотты Кордэ, идущей убивать Марата... Воплощеніе здраваго смысла сочетается съ бабьимъ упрямствомъ. Лучше бы ее посадить въ эту ложу... Кромѣ того нужно, чтобы Витя могъ поговорить съ донъ-Педро... Почетъ Альфреду Исаевичу уже оказанъ»...

— Жюльеттъ, я хочу дѣлиться съ вами впечатлѣніями. Мужчины меня понять не могутъ! Что, если-бъ вы перешли къ намъ?

— У васъ въ ложѣ только четыре стула.

Донъ-Педро любезно предложилъ Жюльеттъ свое мѣсто.

— Вамъ все равно, правда?

— Я увѣренъ, что меня и у васъ не обидятъ. Въ обѣихъ ложахъ такія очаровательныя сосѣдки.

— Вотъ именно! И притомъ надо же вамъ поговорить съ вашимъ адъютантомъ, — сказала Муся, настойчиво закрѣпляя данное Альфредомъ Исаевичемъ обѣщаніе. — Жюльеттъ, пожалуйте сюда. «Смотри, покажи товаръ лицомъ», — шепнула она Витѣ, у котораго тотчасъ прилипъ языкъ къ горлу. Охраняя въ разговорѣ съ будущимъ начальствомъ достоинство будущаго подчиненнаго, онъ кратко отвѣчалъ на вопросы Альфреда Исаевича. Тотъ впрочемъ скоро оставилъ его въ покоѣ. «Кажется,

не орелъ мальчикъ», — подумалъ онъ, — «ну, пусть переписываетъ бумаги»... Устроивъ хозяйскія дѣла, Муся вздохнула свободно.

— Вамъ такъ будетъ видно, Жюльеттъ?

— Отлично... Пожалуйста, не безпокойтесь, мистеръ Блэквудъ.

— Правда, какъ странно, что сцена посрединѣ зала? — ласково сказала Еленѣ Федоровнѣ Муся, наклоняясь къ барьеру ложи.

— Это не сцена, а рингъ, — поправилъ Клервилль.

— Рингъ такъ рингъ. Но, право, я не думала, что здѣсь будетъ такъ элегантно. Смотрите, та въ третьей ложѣ...

— Да. Я все вижу, — холодно отвѣтила баронесса.

VIII.

Публика дѣйствительно была парадная. Въ туалетахъ, въ драгоцѣнностяхъ многихъ дамъ Муся видѣла ту степень роскоши, которая ей казалась излишней и нѣсколько ее раздражала (Клервилль совершенно не испытывалъ этого чувства). Въ залѣ было очень много иностранцевъ, вездѣ слышалась англійская и испанская рѣчь. Англичане сидѣли и въ сосѣдней ложѣ; Клервилль только скользнулъ по нимъ взглядомъ и сразу призналъ въ нихъ людей своего круга. Ему на мгновенье стало неловко, что самъ онъ оказался, хоть и не въ дурномъ, но не въ своемъ обществѣ. Онъ тотчасъ съ досадой подавилъ въ себѣ это чувство. «Одна семья: отецъ, сынъ, внукъ. Дама — жена сына», — опредѣлилъ онъ. Говорили въ этой ложѣ о боксѣ и говорили съ явнымъ знаніемъ дѣла. Старый англичанинъ разсказывалъ о какомъ-то историческомъ матчѣ; сынъ и внукъ слушали взволнованно, хотя, повидимому, давно и хорошо знали эту исторію. «...И Джорджи Рукъ повалился какъ подкошенный! Мы долго не могли понять, въ чемъ дѣло», — тихо улыбаясь, говорилъ старикъ. «Вѣрно, какой-нибудь посолъ въ отставкѣ. Сынъ тоже дипломатъ, и внукъ будетъ дипломатомъ», — подумалъ Клервиль. Ему прежде былъ немного скученъ этотъ кругъ людей, въ которомъ онъ родился и выросъ. Но было въ его кругѣ спокойное, нехитрое, увѣренное очарованіе, теперь особенно милое Клервиллю: онъ нѣсколько отвыкъ отъ этого въ послѣдніе годы. «Да, старая Англія», — съ легкимъ вздохомъ подумалъ онъ, приспособляя къ глазамъ бинокль. Ему пришло въ голову, что не худо бы вернуться въ эту старую Англію и въ прямомъ, и въ символическомъ смыслѣ слова. «Это былъ пер-

вый knock-out въ исторіи бокса. Я счастливъ, что видѣлъ это», — разсказывалъ старикъ. Сынъ и внукъ сожалѣли, что не видѣли перваго knock-out'а въ исторіи бокса.

Донъ-Педро тоже поглядывалъ искоса на сосѣдей. Онъ понималъ въ ихъ разговорѣ не все, но главное. Ему особено нравилось то, что всѣ три англичанина были ладные какъ на подборъ, что они чрезвычайно походили одинъ на другого и что фраки на нихъ сидѣли совершенно безукоризненно. «А бѣлые жилеты у всѣхъ разные. Я себѣ закажу такой, какъ у средняго. Это и солидно, и не слишкомъ старо... Замѣчательный народъ! Но глупый! О чемъ они говорятъ!..» Средній англичанинъ убѣждалъ младшаго, что upper cut въ Адамово яблоко дѣйствительнѣе uppercut'а въ подбородокъ. «Какая гадость!» — съ искреннимъ отвращеніемъ подумалъ донъ-Педро, смутно себѣ представляя оба эти uppercut'а. «Очевидно, какой-то родъ мордобоя. Ну, хорошо, два идіота бьютъ другъ друга по мордѣ, но они хоть деньги получаютъ. А эти что?..» Альфреду Исаевичу было скучно. Онъ никогда не видѣлъ бокса и нисколько не желалъ его видѣть. Ему хотѣлось спать. Если-бъ не приглашеніе Муси, онъ уже сидѣлъ бы у себя, въ своей прекрасной комнатѣ съ видомъ на море, безъ тугой крахмальной рубашки, безъ высокаго рѣзавшаго шею воротника, пилъ бы чай съ лимономъ, а, можетъ быть, уже лежалъ бы въ постели съ газетой, — постель въ его номерѣ была изумительная. «Дай Богъ, чтобы кончилось въ двѣнадцать, а потомъ сколько еще ѣхать»... Онъ сладостно зѣвнулъ и оглянулся съ испугомъ на сосѣдей. Никто ничего не замѣтилъ.

На небольшомъ квадратномъ обнесенномъ веревками рингѣ, въ яркомъ конусѣ бѣлаго свѣта, уже ходили какіе-то люди. Служители въ бѣлыхъ

курткахъ сыпали порошокъ по угламъ. Галерка выражала нетерпѣніе, мѣрно стуча о полъ. Маленькій толстый господинъ въ смокингѣ поднялся по ступенькамъ на бортъ ринга, оттянулъ вверхъ упругую веревку и не безъ труда, изогнувшись, пролѣзъ въ отгороженный четыреугольникъ. Нѣсколько человѣкъ въ залѣ зааплодировали. Но публика не поддержала рукоплесканій. Толстенькій человѣкъ смущенно улыбнулся и, наклонившись надъ барьеромъ, заговорилъ съ кѣмъ-то въ первомъ ряду. Мишель разъяснилъ Витѣ, что это арбитръ, извѣстный человѣкъ, знатокъ своего дѣла.

Витя не очень внимательно слушалъ объясненіе. Матчъ интересовалъ его, но его вниманіе отвлекали голыя плечи, спина Муси, которая сидѣла прямо передъ нимъ въ первой ложѣ. Витя запрещалъ себѣ смотрѣть на это, старался думать о другомъ, но плечи Муси, съ нитью жемчуга, неровно повисшей у корней волосъ, возвращали къ себѣ отводимый имъ взглядъ. — «Ахъ, арбитръ!» — повторилъ онъ. — «Я думалъ, арбитры тоже изъ боксеровъ?..» «Неужели же никогда? никогда?» — вдругъ прорвалась въ его умѣ мысль. Онъ ужаснулся и прикрикнулъ на себя. Клервилль, улыбаясь, повернулся къ барьеру и чуть прикоснулся къ рукѣ Муси пониже плеча. — «Вотъ онъ, тотъ магараджа. Въ первомъ ряду, слѣва отъ судьи». — «Гдѣ? Тотъ, который позавчера проигралъ въ баккара два милліона франковъ?» — «Да, тотъ самый. Для него два милліона франковъ то же самое, что для насъ два фунта». — «C'est monstrueux!» — сказалъ, пожимая плечами, Серизье. Клервилль поправилъ бриллiантовый фермуаръ ожерелья на шеѣ Муси. Витя съ ненавистью глядѣлъ на его руку. «Да, это хозяинъ!..» Ему пришло въ голову, что если-бъ онъ могъ невѣдомо для всѣхъ, безнаказанно убить Клервилля, то непремѣнно сдѣлалъ бы это. «Былъ

бы такой ядъ, не оставляющій слѣдовъ... Да, отравилъ бы! Нѣтъ, нѣтъ моральныхъ преградъ, которыя могли бы меня остановить! Я, какъ Иванъ Карамазовъ, убійца въ мысляхъ. Я, конечно, не убью его, но если-бъ онъ умеръ просто, отъ болѣзни или на войнѣ... Говорятъ, его пошлютъ въ Индію», — думалъ, блѣднѣя, Витя.

Вдругъ гдѣ-то въ углу зааплодировали, и сразу во всемъ залѣ загремѣли рукоплесканья. Изъ боковой двери въ залу вошелъ великанъ-негръ въ ярко-красномъ купальномъ халатѣ. Обмѣниваясь на ходу кое-съ-кѣмъ рукопожатіями, придерживая рукой поднятый воротникъ халата, сіяя ослѣпительной улыбкой, онъ прошелъ почти у самой ложи Муси. Она только ахнула, — такъ неестественно громаденъ былъ вблизи этотъ страшный человѣкъ. Такое же чувство, почти облегченіе, было у всѣхъ остальныхъ, — точно мимо ложи, никого не тронувъ, прошелъ носорогъ. Донъ-Педро, испуганно очнувшійся отъ рукоплесканій, — онъ было задремалъ, — открывъ ротъ, смотрѣлъ вслѣдъ негру. «Ноги! Ноги! Посмотрите на ступню!» — восторженно говорилъ Витѣ Мишель. У мистера Блэквуда на лицѣ появилось очень хмурое выраженіе, — для него было непріятной неожиданностью, что одинъ изъ боксеровъ негръ.

Рукоплесканія гремѣли все сильнѣе, галерка орала. Негръ поднялъ руку и весело помахалъ ею въ воздухѣ; ревъ наверху еще усилился. Онъ подошелъ къ рингу, не пользуясь лѣсенкой шагнулъ на бортъ и, легко опершись о столбъ, который однако покачнулся, перескочилъ черезъ веревки. Одновременно служитель въ бѣломъ халатѣ подалъ сквозь веревки на рингъ небольшой табуретъ; по лѣсенкѣ взбѣжали два человѣка безъ пиджаковъ: «Мэнэджеръ и суаньеръ», — пояснилъ Витѣ Мишель. «Странное слово «суаньеръ», какъ перевести?» —

думалъ разсѣянно Витя. Толстенькій человѣкъ въ смокингѣ радостно подошелъ къ негру, — голова его не доходила до уровня груди боксера. Галерка гоготала. Негръ осторожно пріоткрылъ воротникъ халата и сталъ медленно разматывать шарфъ, закутывавшій его шею. Весь залъ захохоталъ: такъ забавенъ былъ у этого колосса бережный жестъ неврастеника, боящагося лѣтомъ схватить насморкъ. «Какое чудовище!» — сказалъ донъ-Педро, когда негръ, наконецъ, снялъ халатъ и голый, въ красныхъ трусикахъ, предсталъ передъ восторженно оравшимъ заломъ. — «Да, именно чудовище! Посмотрите на его спину!..» — блестя глазами, отвѣтила Елена Федоровна.

Въ эту минуту въ партерѣ, въ ложахъ снова раздались апплодисменты. Въ противоположномъ проходѣ появился бѣлый боксеръ, тоже въ халатѣ, но гораздо менѣе яркомъ. «И этотъ ничего себѣ ребеночекъ! Тоже не меньше трехъ аршинъ», — сказалъ Альфредъ Исаевичъ. — «Вѣсъ у нихъ почти одинаковый: 98,6 и 99,2», — сообщилъ Мишель. Галерка апплодировала, но слабѣе. Ясно почувствовалось, что въ залѣ два лагеря: аристократія партера и ложъ въ большинствѣ желала побѣды англичанину, галерка — негру.

Боксеры въ противоположныхъ концахъ ринга развалились на табуретахъ, опершись шеей на веревки, вытянувъ ноги. Мэнэджеръ негра показалъ арбитру огромныя перчатки, затѣмъ сталъ ихъ натягивать на руки боксера, забинтованныя въ бѣлое, точно послѣ порѣза. Негръ слушалъ наставленія мэнэджера, сіяя все той же радостной улыбкой. Арбитръ вышелъ на средину ринга и поднялъ руку. Вдругъ наступила совершенная тишина. Противники подошли къ арбитру. Онъ представилъ ихъ публикѣ, указавъ вѣсъ каждаго, и монотонно прочелъ что-то длинное, скучное. Когда онъ кончилъ, бок-

серы прикоснулись обѣими перчатками каждый къ перчаткамъ противника, — это означало рукопожатіе, — мгновеннымъ взглядомъ, съ ногъ до головы, осмотрѣли другъ друга, — негръ больше не улыбался, — затѣмъ разошлись по угламъ. Арбитръ озабоченно обмѣнялся замѣчаніями, черезъ барьеръ, съ однимъ изъ судей, который съ листкомъ бумаги въ рукѣ сидѣлъ въ срединѣ перваго ряда. Мэнэджеры, суаньеры, служители покинули рингъ. Тишина становилась все страшнѣе. Дамы настраивались на пренебреженіе, но сердца у нихъ колотились. Елена Федоровна поправилась на стулѣ, нервно обмахиваясь вѣеромъ. Вдругъ прогремѣлъ гонгъ, арбитръ произнесъ какое-то англійское слово, боксеры выбѣжали на средину ринга. Табуреты исчезли.

Клервилль, въ свое время интересовавшійся боксомъ, за годы войны отсталъ отъ этого дѣла. Однако ему сразу стало ясно, что черный боксеръ принадлежитъ къ новой американской школѣ, о которой онъ читалъ и слышалъ. Негръ сталъ меньше ростомъ, точно горилла, опустившаяся на четвереньки. Правая нога его, согнутая въ колѣнѣ, была отставлена назадъ гораздо дальше, чѣмъ полагалось. Онъ подпрыгивалъ, какъ длинный хищный звѣрь. Обѣ руки его въ почти одинаковомъ положеніи были на уровнѣ головы. Маленькіе злые глазки снизу вверхъ впились въ глаза англичанина, который началъ бой въ классической позѣ, чуть вдавивъ голову въ плечи, вытянувъ впередъ лѣвую руку и ногу. Клервилль расцѣнивалъ нѣкоторыя преимущества новой системы. «Защищенъ положеніемъ тѣла, парировать можно меньше, обѣ руки освобождаются для нападенія»... Но эта школа ему не нравилась, казалась не изящной, не рыцарской, не англійской. Клервилль вдругъ почувствовалъ, что былъ бы очень огорченъ побѣдой негра. Прежде подобная мысль непріятно его удивила бы, — онъ счи-

талъ себя выше этого. Теперь было не такъ. Въ бѣломъ великанѣ, въ его старой классической манерѣ боя, тоже было нѣчто свое, чѣмъ дорожить не мѣшало, — та самая старая Англія, что и въ сосѣдяхъ по ложѣ.

Боксеры, непрерывно мѣняя положеніе на рингѣ, обмѣнивались ударами Однако чувствовалось, что удары еще не настоящіе. Противники только изучали другъ друга. «Знакомятся», — страстнымъ шопотомъ пояснилъ Мишель, изучавшій съ напряженнымъ вниманіемъ каждое движеніе знаменитыхъ боксеровъ. «Конечно, знакомиться можно и такъ», — думалъ донъ-Педро, — «но у меня вотъ, напримѣръ, отъ этого знакомства по животу немедленно сдѣлался бы перитонитъ... Господи, какіе идіоты!..»

Опять прогремѣлъ гонгъ. Противники разошлись по мѣстамъ, повидимому, не причинивъ другъ другу ни малѣйшаго ущерба. На рингъ бросились снова мэнэджеры, суаньеры, служители, съ табуретами, съ губками, съ полотенцами. Негръ растянулся на табуретѣ въ той же позѣ падающей въ обморокъ, больной дамы. Служитель обмахивалъ его квадратной салфеткой, суаньеръ смочилъ ему губы, лобъ, грудь. Но оба, и служитель, и суаньеръ, чувствовали, что дѣлаютъ дѣло, еще вполнѣ безполезное: нѣсколько ударовъ, полученныхъ негромъ, не произвели на него рѣшительно никакого дѣйствія. Галерка разочарованно роптала. Знатоки обмѣнивались впечатлѣніями. «Десять раундовъ впустую, ничья. Въ лучшемъ случаѣ побѣда англичанина по пунктамъ», — предсказывалъ Витѣ Мишель. Елена Федоровна, обмахиваясь вѣеромъ, ласково на нихъ смотрѣла, въ десятый разъ сравнивая молодыхъ людей: у каждаго были свои преимущества. Она не прочь была бы возобновить романъ съ Витей, — въ Довиллѣ они встрѣтились просто какъ старые знакомые. Витю это смущало и тяготило, но

жизнь на морѣ сложилась такъ, что ничего нельзя было сдѣлать. «...А все-таки боксъ прекрасная школа для молодежи. Какъ хотите, въ этомъ зрѣлищѣ есть подлинная красота», — говорилъ Серизье. — «И въ боѣ быковъ красота?» — хмуро спросилъ мистеръ Блэквудъ. — «Разумѣется, вспомните Гойю, Теофиля Готье». Но мистеръ Блэквудъ ни Гойю, ни Теофиля Готье не вспоминалъ. Ему все было противно въ этомъ грѣшномъ языческомъ зрѣлищѣ, оно тоже свидѣтельствовало о культурномъ упадкѣ человѣчества. «Всѣ эти люди въ партерѣ, въ ложахъ только что пили шампанское, ликеры, они полупьяны, имъ теперь нужно любоваться кровью. А эти женщины! Ихъ просто возбуждаетъ боксъ. Да, всѣхъ, даже эту молоденькую барышню. И у нея гадкое лицо, какъ она ни хочетъ скрыть свое возбужденіе. Это чистый развратъ!» То, что онъ называлъ развратомъ, съ нѣкоторыхъ поръ вызывало въ мистерѣ Блэквудѣ неопредѣленную злобу, — онъ самъ не зналъ, противъ кого ее направить. «Но ужъ если дерутся, то пусть бѣлые дрались бы между собой. Зачѣмъ еще привлекать цвѣтныхъ людей!..» Несмотря на свой радикализмъ, мистеръ Блэквудъ терпѣть не могъ негровъ.

Серизье спорилъ больше по профессіональной привычкѣ. Его пріятно забавляла каша въ головѣ американца. По сравненію съ ней особенно выигрывалъ его собственный ясный, научный строй мыслей. Но боксъ и въ самомъ дѣлѣ нравился депутату, — не красотой, къ которой онъ вообще былъ не очень воспріимчивъ, а зрѣлищемъ напряженной человѣческой энергіи. Кое-что въ дѣйствіяхъ боксеровъ напоминало ему его собственную тактику при столкновеніяхъ съ противникомъ въ парламентѣ, на конгрессахъ. «Да, то же стремленіе проникнуть въ намѣренія врага, парализовать его волю. Я такъ же магнетизирую противника взглядомъ, такъ же слѣ-

жу за каждымъ его шагомъ...» Эта мысль позабавила Серизье. Ему было пріятно, что онъ въ чемъ-то походилъ на этихъ колоссовъ. «Да, вся жизнь — борьба, здѣсь только она въ совершенно чистомъ, неприкрашенномъ видѣ. Но этотъ видъ хорошъ для нихъ, все-таки они вѣдь животныя». На мгновенье онъ себя вообразилъ въ костюмѣ боксера, — со своимъ выпученнымъ животомъ, съ руками, повисшими какъ плети. Серизье поморщился. «Жаль, что съ дѣтскихъ лѣтъ не занимался спортомъ. Теперь, разумѣется, поздно. Хотя люди гораздо старше меня ходятъ въ гимнастическія залы. Не начать ли и мнѣ?..» Матчъ заражалъ его бодростью, ему захотѣлось какихъ-то смѣлыхъ, энергичныхъ, рѣшительныхъ дѣйствій. Взглядъ его остановился на Мусѣ. Откинувшись на спинку стула, она смотрѣла на рингъ. «Все-таки это очень глупо, что я здѣсь не подвинулъ дѣла. Этотъ болванъ мужъ, кажется, къ ней довольно равнодушенъ и лошадей предпочитаетъ женщинамъ... Въ случаѣ чего дуэль? Ну, что жъ, дуэль такъ дуэль»... Серизье не былъ трусомъ; онъ зналъ вдобавокъ, что эффектный поединокъ могъ бы только способствовать его свѣтскимъ и даже его политическимъ успѣхамъ. «Правда, въ партіи относятся къ дуэлямъ отрицательно, онѣ даже, кажется, запрещены. Но это такъ. У Жореса было нѣсколько дуэлей... Впрочемъ, и дуэли не будетъ. У англичанъ это не принято, да и у насъ какіе мужья теперь дерутся на дуэли изъ-за женъ?..»

Гулко прозвучалъ гонгъ. Боксеры вышли на средину арены и снова стали танцовать, обмѣниваясь ударами. Напряженіе въ залѣ нѣсколько ослабѣло. Старикъ въ сосѣдней ложѣ вполголоса говорилъ, что бой ведется безъ темперамента; въ его время дрались иначе. — «Тогда дѣйствовали грубой силой, а теперь все дѣло въ умѣ», — заступился сынъ

за современный боксъ. «Вотъ какъ, въ умѣ?» — иронически подумалъ донъ-Педро. — «Интересно все-таки, при чемъ тутъ умъ? Хорошъ бы я, напримѣръ, былъ, если-бъ вышелъ противъ какого-нибудь изъ этихъ кретиновъ. И бѣлый кретинъ, и черный кретинъ, конечно, убили бы меня на смерть первымъ же ударомъ!..» — Самая мысль эта показалась непріятной Альфреду Исаевичу. Чтобы успокоиться, онъ сталъ подсчитывать, сколько денегъ скопится на его трехъ текущихъ счетахъ къ концу контракта съ фирмой. Выходило очень много, даже если еще увеличить ежемѣсячную посылку денегъ семьѣ въ Висбаденъ. — «Въ сущности, это самая обыкновенная драка: я тутъ никакой красоты не вижу», — говорила Муся. — «Да, но все-таки это волнуетъ», — отвѣчала баронесса, слабо смѣясь, — «а вы какъ находите, молодые люди?» Мишель не удостоилъ ее отвѣтомъ. — «По моему, интересно», — сказалъ Витя. — «Интересно? Это самое прекрасное зрѣлище, какое я знаю», — возразилъ Мишель; съ мужчиной, хотя бы и совершеннымъ новичкомъ, онъ все-таки могъ говорить о боксѣ.

Третій раундъ начался въ еще болѣе медленномъ темпѣ, чѣмъ первые два. Однако, галерка вдругъ перестала роптать. Въ залѣ вновь наступила тишина. На рингѣ происходило что-то тревожное. Боксеры странно поплясывали, не спуская глазъ другъ съ друга. «Кажется, они просто смертельно другъ друга боятся», — сказала неувѣренно Муся. — «Въ этомъ я ихъ отлично понимаю», — вставилъ донъ-Педро. — «А вы знаете, я ошибся», — прошепталъ Мишель, — «это игра не на ничью, а на knock-out!..» — «Но чего же они ждутъ?» — «Ждутъ случая, изъ-за пустяковъ не хотятъ рисковать». — «То-есть, какъ изъ-за пустяковъ?» — «Изъ-за обыкновенныхъ ударовъ. Вѣдь каждый понимаетъ, что ими другого не возьмешь, сколько его ни молоти».

Елена Федоровна ахнула и схватила Мишеля за руку: бѣлый боксеръ вдругъ бросилъ взглядъ на ноги противника, прыгнулъ въ сторону и необычайно быстрымъ движеніемъ лѣвой руки нанесъ негру страшный ударъ. Черная крѣпость нырнула, но недостаточно низко: ударъ, предназначавшійся въ челюсть, пришелся въ правый глазъ негра. Гулъ отъ этого удара пронесся по всему зданію, отозвавшись подавленнымъ ревомъ на галеркѣ. Въ паркетѣ раздались бурныя рукоплесканья. Елена Федоровна трепетала, прижимаясь къ Мишелю. Онъ сердито отодвинулся, не отрывая глазъ отъ ринга. Клервилль съ облегченіемъ опустилъ бинокль: все-таки этотъ прославленный негръ былъ ужъ не такой безошибочный тактикъ. «Groggy!» — восторженно проговорилъ вполголоса молодой англичанинъ въ сосѣдней ложѣ. Но ихъ надежда не оправдалась. На лицѣ чернаго боксера выступила радостная улыбка, онъ оскалилъ зубы, запрокинувъ назадъ голову. Галерка разразилась хохотомъ. «Il encaisse!..» «Ça ne lui fait rien!...» «Il s'en fiche!» — орали наверху. Улыбка негра, въ самомъ дѣлѣ, свидѣтельствовала, что и этотъ ударъ, который, казалось, могъ свалить лошадь, на него подѣйствовалъ мало. Однако лицо его быстро заливалось кровью. Англичанинъ ринулся на противника. Негръ ловко перешелъ въ corps-à-corps. Упершись лбомъ въ плечо одинъ другому, оба великана съ минуту короткими ударами колотили другъ друга въ бока, въ грудь, въ животъ. Арбитръ бросился къ нимъ. Витѣ показалось смѣшно, что этотъ кругленькій человѣчекъ пытается разнять людей, каждый изъ которыхъ могъ его раздавить однимъ движеніемъ. Однако боксеры тотчасъ подчинились волѣ кругленькаго человѣка. Одного изъ нихъ онъ даже сердито хлопнулъ по рукѣ.

Прогремѣлъ гонгъ. Противники разошлись по уг-

ламъ, совершенно измазанные кровью. Муся, искривившись, закрыла глаза, она вида крови не выносила. Суаньеры взбѣжали на рингъ. Вода въ ихъ чашкахъ стала грязно-красной. Въ театрѣ стоялъ стонъ волненія и восторга. «Теперь я за него держалъ бы три противъ одного», — воскликнулъ Клервилль. — «Еще ничего нельзя сказать», — возразилъ взволнованно Мишель, — «но, конечно, онъ допустилъ серьезную ошибку». Мистеръ Блэквудъ имѣлъ видъ нѣсколько менѣе мрачный, чѣмъ прежде. «Какая мерзость! Какая мерзость!» — повторялъ донъ-Педро съ истиннымъ отвращеніемъ. Ему физически гадко было смотрѣть на эти тѣла, покрытыя кровью и потомъ.

Негръ полулежалъ на табуретѣ, неторопливо растирая башмаками порошокъ на полу. Надъ нимъ работали сразу три человѣка. Служитель отчаянно, изо всѣхъ силъ, обмахивалъ его полотенцемъ; суаньеръ нѣжно, какъ ребенка, гладилъ его губкой по груди, по лицу, по рукамъ, подносилъ къ его губамъ стаканъ съ полосканьемъ; мэнэджеръ прижигалъ рану палочкой и давалъ наставленья, которыя боксеръ слушалъ совершенно безучастно. Когда ударилъ гонгъ, негръ, къ нѣкоторому разочарованію партера, поднялся и выбѣжалъ на середину арены такъ же легко, какъ послѣ первыхъ раундовъ. Не измѣнилъ онъ и стиля боя: на рингѣ снова запрыгало скорчившееся длинное чудовище. Только маленькіе глазки негра стали еще злѣе, чѣмъ были. Англичанинъ видимо хотѣлъ кончить въ этомъ раундѣ и сыпалъ тяжелыми ударами. Въ партерѣ, въ ложахъ гремѣли рукоплесканья. Галерка пасмурно затихла. «Кажется, сейчасъ кончится», — сказалъ вполголоса Клервилль.

«Но если сейчасъ кончится, то куда же мы дѣнемся?» — озабоченно спросила себя Муся, — «вѣдь еще и одиннадцати нѣтъ. Тогда надо ихъ всѣхъ

пригласить въ казино. Но не ужинать, это дорого»... Она вдругъ съ изумленіемъ почувствовала, что ее сбоку, между кресломъ и барьеромъ, взяли за лѣвую руку, немного повыше кисти. Муся чуть было не вскрикнула. Выждавъ мгновенье, она неторопливо, почти естественно, повернулась. Серизье, какъ ни въ чемъ не бывало, поверхъ ея плеча, смотрѣлъ на рингъ. Только въ углу рта у него играла пріятная улыбка. «Господи! Какъ онъ смѣетъ?» — неувѣренно подумала Муся, чувствуя, что въ ней ужасъ борется съ радостью. «Вѣдь это неслыханная наглость! Подъ самымъ носомъ Вивіана!..» Она осторожно, не поднимая плеча, пыталась высвободить руку. Серизье держалъ ее крѣпко. «Господи! Что же дѣлать? Нельзя же рисковать скандаломъ!.. Потомъ я ему покажу, но сейчасъ!.. Вивіанъ не видитъ,—барьеръ, — но Жюльеттъ! Правда, здѣсь полутемно и она отъ меня справа... Господи, какъ это глупо! Какъ въ фарсѣ... Что дѣлать? Этого со мной никогда не было! Въ фарсѣ заранѣе знаешь, что мужъ появится именно тогда, когда жена цѣлуется съ любовникомъ. Что, если Вивіанъ замѣтитъ? Кончится ли это?...»

— Кажется, сейчасъ кончится, — сказалъ негромко за барьеромъ Клервилль. — «Если по пунктамъ, то негръ уже разбитъ на голову», — отвѣтилъ Витя. Онъ понемногу входилъ во вкусъ бокса. Его также заражала чужая энергія. Подъ градомъ ударовъ англичанина негръ корчился и пригибался къ землѣ все ниже, то ныряя, то откидываясь въ сторону. «Сейчасъ будетъ конецъ!» — повторилъ, торжествуя, Клервилль. Въ заднихъ рядахъ партера многіе повставали съ мѣстъ. «Assis! Assis!» — кричали возмущенно изъ ложъ. Мишель вскочилъ; вслѣдъ за нимъ вскочилъ и Витя. Онъ сверху скользнулъ глазами по плечамъ Муси, платье отставало немного отъ спины. У него закружилась голова. Вдругъ

онъ увидѣлъ, что Мусю у самаго барьера ложи держитъ за руку Серизье. Витя не успѣлъ понять, что случилось. Наверху вдругъ поднялся дикій ревъ.

Англичанинъ, потерявшій самообладаніе отъ успѣха, неосторожно открылся. Въ ту же секунду расправилась черная пружина. Негръ оторвался отъ земли, стремительно бросился впередъ и лѣвой рукой нанесъ противнику чудовищный ударъ въ животъ. Одновременно правая рука его сбоку молотомъ обрушилась на подбородокъ бѣлаго боксера. Адскій ревъ галерки потрясъ залъ. Англичанинъ пошатнулся, поднялъ руки и упалъ на лѣвое колѣно. Арбитръ маленькими шажками побѣжалъ къ нему. Бѣлый боксеръ свалился съ колѣна, судорожно перевернулся на полу и растянулся навзничь, раскинувъ руки. Кровь потокомъ заливала полъ. Арбитръ съ отчаяннымъ лицомъ, грозно протянувъ лѣвую руку къ негру, отсчитывалъ секунды, опуская и поднимая правую руку. Счета не было слышно изъ-за рева. Впрочемъ всѣмъ было ясно, что считать незачѣмъ: бѣлый боксеръ не встанетъ.

Арбитръ махнулъ рукой. На рингъ бросились служители, мэнэджеры, врачъ. Клервилль и Мишель съ перекошенными лицами что-то кричали, не слушая другъ друга. Въ сосѣдней ложѣ такъ же остервенѣло орала британская семья. — «Двойной ударъ! Ударъ Фитцсиммонса! Это былъ ударъ Фитцсиммонса!..» — кричалъ, задыхаясь, Мишель. — «Хоть двадцать разъ Фитцсиммонса, будь онъ проклятъ, но это чортъ знаетъ, что такое!» — вопилъ по русски донъ-Педро. Елена Федоровна визжала. Служители выносили англичанина, взявъ его за руки и за ноги. Мэнэджеръ негра повисъ на его шеѣ. Въ залѣ стоялъ оглушительный звѣрскій ревъ.

IX.

Жюльеттъ, Мишель и Витя вернулись въ Парижъ изъ Довилля въ жаркое пыльное утро. По пути съ вокзала, въ автомобилѣ, Мишель, со снисходительнымъ вниманіемъ парижанина къ провинціалу, называлъ Витѣ улицы и зданія. Витя послушно восхищался, поглядывая на счетчикъ. «Насъ трое, но заплатить надо будетъ половину: барышни не платятъ», — соображалъ онъ; денегъ Муся, все по педагогическимъ соображеніямъ, дала ему немного, ссылаясь на то, что скоро сама вернется въ Парижъ.

Жюльеттъ молчала. Она и въ поѣздѣ за всю дорогу едва вымолвила нѣсколько словъ: такъ и просидѣла три часа въ углу купэ, уткнувшись въ книгу, въ которой иногда, спохватившись, перевертывала страницы.

По приглашенію хозяевъ и по настоянію Муси, Витя долженъ былъ остановиться на квартирѣ Георгеску. Домъ встрѣтилъ ихъ непривѣтливо. Шофферъ отказывался носить вещи на четвертый этажъ, молодымъ людямъ пришлось ему помогать, Витя оцарапалъ руку до крови о зазубренную скобку чемодана. Неуютно было и въ квартирѣ со сдвинутой мебелью, съ задернутыми занавѣсками: ее только что отремонтировали, было душно, сильно пахло краской и нафталиномъ. Жюльеттъ надолго заняла ванную комнату. Перевязать палецъ было нечѣмъ, Витя запачкалъ кровью костюмъ, полотенце, наволоку подушки и самъ былъ себѣ гадокъ, какъ убійца. Чемоданъ его былъ слишкомъ полонъ, вещи уложены плохо, все смялось. «А вѣдь, кажется, въ Довиллѣ ничего не покупалъ». Онъ надѣлъ свой лучшій костюмъ, — у него всегда было именно однимъ костюмомъ меньше, чѣмъ нужно. «Есть

же люди, у которыхъ все въ полномъ порядкѣ, отъ совѣсти до чемодановъ». Одѣваясь, Витя угрюмо думалъ, что на немъ все поддѣльное: часы томпаковые подъ золото, костюмъ полушерстяной подъ шевіотъ, галстухъ искусственнаго шелка. Только подаренныя Мусей запонки были настоящія, но ихъ онъ далеко запряталъ на дно чемодана.

Жюльеттъ пріодѣлась и ушла, ни о чемъ не условившись съ молодыми людьми и даже не простившись съ ними. Когда дверь за ней захлопнулась, Мишель только пожалъ плечами съ дѣланно-веселымъ видомъ: онъ привыкъ къ независимому характеру сестры, ко всякимъ ея выходкамъ, но все же недоумѣвалъ и злился. У него у самого, по его словамъ, была въ Парижѣ «тысяча дѣлъ» (Витя немного въ этомъ сомнѣвался). Они уговорились встрѣтиться дома въ семь часовъ вечера.

— Вотъ вамъ ключъ отъ входной двери... Вы, конечно, пойдете осматривать Парижъ, — сказалъ Мишель; онъ далъ нѣсколько полезныхъ указаній и попросилъ Витю купить на обратномъ пути кое-что по хозяйству. — Пожалуйста, извините, что утруждаю васъ, у меня сегодня до вечера ни единой свободной минуты...

Витя погулялъ по городу, стараясь не отходить очень далеко отъ дома. На извозчика тратиться не приходилось, — надо было беречь деньги на предстоявшій ночной кутежъ. Въ автобусахъ и трамваяхъ онъ не разбирался, несмотря на пріобрѣтенный еще въ Берлинѣ старый русскій путеводитель по Парижу съ картами и планами; указанія Мишеля тотчасъ позабылъ. Ѣсть ему не хотѣлось, однако онъ зашелъ во второмъ часу въ маленькій ресторанъ, прочитавъ на дверяхъ, на бумажкѣ, списокъ блюдъ, выписанный расплывшимися фіолетовыми чернилами: цѣны были пріемлемыя. Витя позавтра-

калъ, стараясь восхищаться парижской кухней. Долго изучалъ карту винъ, стараясь запомнить названія бѣлыхъ и названія красныхъ, какія бордосскія, какія бургундскія. Послѣ завтрака еще побродилъ по улицѣ, наблюдая «разлитое въ воздухѣ неуловимое изящество Парижа», о которомъ говорилъ путеводитель. Въ дѣйствительности все казалось ему грязноватымъ, потрескавшимся, недокрашеннымъ. Мысль о томъ, что у нихъ было условлено съ Мишелемъ, все время волновала Витю. Память подсказывала ему мелодію грота Венеры. Сходство съ Тангейзеромъ было очень пріятно. Но поэзія была и въ пѣніи хора пилигримовъ. Онъ колебался: каковъ его удѣлъ, — пилигримы или гротъ? Все это мѣшало ему изучать Парижъ. Витя то и дѣло поглядывалъ на часы. Гулялъ онъ довольно долго, — стыдно было возвращаться домой: столько интереснаго! Онъ смотрѣлъ на настоящихъ парижанъ, останавливался у витринъ разныхъ магазиновъ, — бѣлья, шляпъ, книгъ, произведеній искусства. Слѣдовало бы купить многое, но денегъ на это не было.

Въ одной антикварной лавкѣ его вниманіе привлекла картина, изображавшая Парижскій Соборъ Богоматери. Витя мелькомъ видѣлъ этотъ соборъ: по пути изъ Берлина въ Довилль, часа три пробылъ въ Парижѣ и успѣлъ на послѣднія деньги покататься по городу. Онъ долго стоялъ передъ витриной, не могъ свести глазъ съ картины. Соборъ на ней былъ другой, но, быть можетъ, еще лучше настоящаго. «Странная картина... Въ чемъ же дѣло? Ни объ одномъ искусствѣ собственно нельзя судить, если не знаешь его техники...» Въ нижнемъ углу полотна четкимъ аккуратненькимъ почеркомъ была выведена фамилія художника, иностранная и незнакомая Витѣ. Его удивило сочетаніе съ иностранной фамиліей французскаго имени «Морисъ» и то, что

послѣ «Морисъ» была запятая. Въ дверяхъ показался приказчикъ.

— Сколько стоитъ эта картина? — робко спросилъ Витя.

— Сто франковъ, — отвѣтилъ приказчикъ, оглядѣвъ его.

Витя вздохнулъ и отошелъ. Цѣна картины показывала, что онъ ошибся: художникъ незначительный. Но и сто франковъ были Витѣ не по карману. Онъ зашелъ въ лавку съѣстныхъ припасовъ, купилъ заказанное Мишелемъ и вернулся домой.

Дома онъ съ жадностью съѣлъ апельсинъ, запилъ тепловатой водой изъ-подъ крана, осмотрѣлся получше въ квартирѣ, — при хозяевахъ было неловко. Мебель тоже была вродѣ его вещей: дешевая подъ дорогую. Особенно не понравилась ему неестественная, какъ бы театральная, гостиная. «Сюда бы еще стѣну съ нарисованными переплетами книгъ... Да, не только Кременецкіе, но и мы въ Петербургѣ жили побогаче», — подумалъ Витя почему-то съ нѣкоторымъ удовольствіемъ. Онъ заглянулъ въ комнату Жюльеттъ и вздохнулъ. Квартира была непріятная, все же у молодыхъ Георгеску былъ свой уголъ. Такъ одинокій холостякъ съ завистью смотритъ на жизнь чужой семьи, догадываясь, что и въ ней, должно быть, не все мило и уютно. Дѣлать Витѣ было нечего. Ему самому было странно, что онъ скучаетъ въ первый день своего пребыванія въ Парижѣ, — такъ хотѣлось сюда попасть. «Развѣ въ Лувръ поѣхать? Для музеевъ времени еще будетъ достаточно. Ужъ очень жарко... Къ Брауну раньше пяти никакъ нельзя». Онъ непремѣнно хотѣлъ повидать Брауна, и Муся сказала, что онъ долженъ зайти къ Брауну съ визитомъ, — но именно это слово напугало Витю; съ визитомъ, по его мнѣнію, можно было отправиться только въ пять часовъ. Сидѣть было негдѣ: на ди-

ванахъ, на креслахъ былъ разсыпанъ нафталинъ. Витя легъ на постель, опять съ непріятнымъ чувствомъ замѣтивъ пятно отъ крови на наволочкѣ, пробѣжалъ газету, всталъ и неожиданно для самого себя позвонилъ по телефону Тамарѣ Матвѣевнѣ.

Онъ не успѣлъ ее повидать по пути въ Довилль и чувствовалъ, что Муся была этимъ не совсѣмъ довольна. «Собственно, за три часа ты отлично могъ заѣхать къ мамѣ», — сказала она какъ-то вскользь на пляжѣ. «З а ѣ х а т ь», — мысленно отмѣтилъ Витя. — «У меня послѣ той прогулки оставалось въ карманѣ семь франковъ»...

Тамара Матвѣевна чрезвычайно обрадовалась телефонному звонку Вити. Онъ хотѣлъ было выразить ей соболѣзнованіе по случаю кончины Семена Исидоровича, но раздумалъ. Витя далъ по телефону первый отчетъ о Мусѣ, объ ея здоровьѣ, о томъ, какъ она проводитъ время. Тамара Матвѣевна не отпускала его отъ аппарата.

...— Да, конечно, Витенька, пріѣзжайте ко мнѣ сегодня же, я такъ хочу васъ видѣть. Да хоть сейчасъ... Нѣтъ, я не отдыхаю, я очень рада! Такъ вы будете помнить: метро Буассьеръ, отттуда очень близко. Я васъ жду, голубчикъ!

Витя съ облегченіемъ повѣсилъ трубку; въ этомъ огромномъ городѣ нашелся близкій, хоть старый и скучный, человѣкъ: Мишель, Жюльеттъ были все-таки чужіе, да въ сущности и не очень пріятные люди. «Кажется, надо было сказать хоть нѣсколько словъ объ ея несчастьѣ. Но по телефону неловко. Я вѣдь написалъ имъ изъ Германіи въ Люцернъ длинное письмо»... Онъ былъ тогда очень пораженъ кончиной Семена Исидоровича, котораго искренне любилъ.

Въ подземной дорогѣ все сошло благополучно. Витя не ошибся при пересадкѣ, попасть на станцію Буассьеръ оказалось не такъ трудно, какъ можно

было думать. Легко разыскалъ онъ пансіонъ, показавшійся ему крошечнымъ и бѣднымъ послѣ Довилльской гостиницы Клервиллей.

Тамара Матвѣевна прослезилась, увидѣвъ Витю. Онъ едва ее узналъ, — такъ она измѣнилась. Въ небольшой, тѣсно заставленной комнатѣ, вездѣ, на каминѣ, на столѣ, на ночномъ столикѣ, стояли фотографіи Семена Исидоровича. Одна изъ нихъ, гдѣ Кременецкій былъ изображенъ во фракѣ, особенно взволновала Витю и необыкновеннымъ сходствомъ, и тѣмъ, что на картонѣ были выдавлены буквы имени петербургскаго фотографа. Витя вспомнилъ Невскій, отца, свое первое появленіе въ домѣ Кременецких, въ тотъ вечеръ, когда у нихъ пѣлъ Шаляпинъ, — и также прослезился, цѣлуя руки Тамары Матвѣевны.

Тамара Матвѣевна все не могла привыкнуть къ тому, что жизнь въ мірѣ не измѣнилась послѣ кончины Семена Исидоровича. Газеты писали о какихъ-то событіяхъ, о которыхъ Семенъ Исидоровичъ не зналъ, въ пансіонѣ за столомъ разговаривали и смѣялись люди, въ городѣ дѣйствовали театры, ходили трамваи, автобусы. Тамара Матвѣевна понимала, что это не можетъ быть иначе, что удивляться этому совершенно нелѣпо. Но внутренне она не могла примириться съ полнымъ равнодушіемъ міра къ катастрофѣ, навсегда разбившей ея жизнь. Ей было не съ кѣмъ и поговорить. Муся въ послѣдніе дни неохотно шла на разговоры объ отцѣ. Тамара Матвѣевна давала этому какое-то сложное психологическое объясненіе. Она не допускала мысли, что Муся просто объ отцѣ забываетъ, что ей некогда о немъ думать; когда это подозрѣніе все же закрадывалось въ душу Тамары Матвѣевны, она гнала его со стыдомъ и ужасомъ.

Послѣ отъѣзда Муси на море, не оставалось и вообще никого. Немногочисленные парижскіе знакомые не показывались. Близкихъ среди нихъ у Кременецкихъ не было, но были люди, которые захаживали бы, если-бъ былъ живъ Семенъ Исидоровичъ. Тамара Матвѣевна сама по себѣ, безъ мужа, точно и не существовала. Всѣ отдавали должное ея чувствамъ и, послѣ первой недѣли визитовъ соболѣзнованія, всѣ говорили, что ее лучше оставить одну.

Съ Витей она отвела душу. Тамара Матвѣевна долго, подробно, безсвязно разсказывала о Семенѣ Исидоровичѣ, объ его болѣзни, объ его послѣднихъ дняхъ, плакала и просила извинить ее. Витя сначала слушалъ съ волненіемъ, потомъ сталъ немного скучать. Онъ спросилъ о Мусѣ, — какъ она узнала о смерти отца, какъ перенесла горе (въ Довиллѣ Муся ему объ этомъ сказала очень кратко). — «Ахъ, она такъ убивалась. Я думала, она съ ума сойдетъ!» — съ жаромъ отвѣтила Тамара Матвѣевна.

Потомъ разговоръ перешелъ на Довилльское времяпрепровожденіе Муси. Витя чувствовалъ, что говорить надо грустно, и изобразилъ ихъ пребываніе на морѣ въ траурномъ тонѣ: Муся дѣлала только то, что было строго необходимо для поддержанія здоровья, купалась по требованію врача, поддерживала силы морскимъ воздухомъ и весь день говорила съ нимъ о Семенѣ Исидоровичѣ. Витѣ было стыдно, что онъ такъ лжетъ; но Тамару Матвѣевну его слова, видимо, утѣшили чрезвычайно. «Бѣдная моя Мусенька, несчастная дѣвочка!» — умиленно говорила она. — «Но она, должно быть, ужасно выглядитъ!» — «Нѣтъ, видъ у нея недурной», — отвѣчалъ Витя, — «морской воздухъ беретъ свое». Поговорили они о Клервиллѣ. Въ словахъ Тамары Матвѣевны Витя съ нѣкоторой ра-

достью почувствовалъ недоброжелательство, хоть она осыпала Клервилля похвалами.

— Онъ такой джентльмэнъ, Вивіанъ... И потомъ такой красавецъ! — говорила Тамара Матвѣевна; на лицѣ ея выступило однако не шедшее къ словамъ отвращеніе.

— Онъ очень красивый человѣкъ, — нехотя соглашался Витя.

— Мусенька такъ съ нимъ счастлива. — Тамара Матвѣевна вопросительно смотрѣла на Витю. — Это рѣдкій джентльмэнъ!

— Да...

— Да... Мое единственное утѣшеніе, что они такъ счастливы... Ну, а этотъ ихъ другъ? Этотъ Серизье... Онъ все еще съ ними? — вдругъ испуганно спросила Тамара Матвѣевна. Витя измѣнился въ лицѣ.

— Нѣтъ, онъ вчера вернулся въ Парижъ. «Не можетъ быть! Конечно, я тогда ошибся: онъ просто прикоснулся случайно къ ея рукѣ», — твердо объявилъ себѣ Витя. — Вчера вернулся, у него дѣла, — сказалъ онъ и, встрѣтившись взглядомъ съ Тамарой Матвѣевной, опустилъ глаза.

— Мнѣ онъ почему-то не особенно нравится, — тоже смущенно замѣтила Тамара Матвѣевна. — Хотя, конечно, онъ очень замѣчательный человѣкъ... Онъ со временемъ будетъ, говорятъ, главой французскаго правительства. Я очень рада, что Вивіанъ такъ съ нимъ сошелся, — добавила она, снова взглянувъ на Витю.

— Этого я не думаю. До соціалистическаго кабинета во Франціи еще очень далеко, — сказалъ Витя, какъ бы отвѣчая на вопросъ о будущемъ Серизье. Они вяло поговорили о политическихъ событіяхъ. Тамара Матвѣевна по утрамъ читала газеты, больше потому, что такъ дѣлала при жизни Семена Исидоровича. Витѣ, къ его удивленію, по-

казалось, что Тамара Матвѣевна говоритъ теперь о политикѣ тверже, свободнѣе, даже по формѣ опредѣленнѣе, чѣмъ въ прежнія времена (прежде она, напримѣръ, не употребила бы выраженія «глава правительства»). Онъ объяснилъ себѣ это именно исчезновеніемъ Семена Исидоровича, авторитетъ котораго разъ навсегда подавилъ его жену. Это замѣчаніе показалось Витѣ тонкимъ. «Что, если-бъ я сталъ писателемъ?» — вдругъ поразила его мысль. Онъ взглянулъ на часы и сталъ прощаться. Тамара Матвѣевна просила посидѣть еще немного. Они опять заговорили о Семенѣ Исидоровичѣ.

— Онъ и васъ, Витенька, очень, очень любилъ... И вашу бѣдную маму, и вашего отца... Вы не имѣете о немъ извѣстій?.. Я думаю, съ нимъ все благополучно, — говорила со слезами Тамара Матвѣевна. — Послушайте, Витенька, останьтесь у меня обѣдать.

— Благодарю васъ... Къ сожалѣнію, не могу. Я хочу еще заѣхать съ визитомъ къ професору Брауну, а потомъ условился встрѣтиться съ Мишелемъ.

— Съ кѣмъ? Ахъ, да, тотъ молодой человѣкъ. — Тамара Матвѣевна видѣла одинъ разъ румынскихъ друзей Муси; они сдѣлали ей визитъ. Ей было странно, что она знаетъ людей, которыхъ не зналъ Семенъ Исидоровичъ. — Ну, хорошо, тогда завтра приходите ко мнѣ завтракать. Чѣмъ вы меня стѣсните? Мнѣ съ вами было такъ пріятно... Я просто скажу хозяйкѣ пансіона поставить лишній приборъ. Здѣсь кормятъ сносно, а въ ресторанахъ въ такую жару васъ еще отравятъ, голубчикъ, — говорила, вытирая слезы, Тамара Матвѣевна.

X.

За дверью играла музыка. Витя съ тревожнымъ удивленіемъ прислушался: звуки показались ему знакомыми, это играла въ Петербургѣ Муся. «Ахъ, да, вторая соната Шопена... Далась же имъ эта соната, съ надоѣвшимъ маршемъ! А звукъ какой-то не живой, вѣрно механическое піанино?..» Онъ нерѣшительно постоялъ у двери, потомъ позвонилъ. Ему и хотѣлось повидать Брауна, и было немного не по себѣ. Звонокъ прозвучалъ рѣзко. Музыка тотчасъ оборвалась.

Дверь отворила нарядная горничная. Она ласково оглядѣла Витю и не безъ недоумѣнія взяла у него визитную карточку. Карточка, — безъ адреса, не гравированная, а печатная — конфузила Витю. Но безъ нея фамилію перепутали бы, — еще не приметъ. Горничная попросила его войти въ библіотеку. Это была большая, довольно мрачная, комната, сплошь заставленная по стѣнамъ книжными шкапами чернаго дерева. Окна выходили въ запущенный садъ; Браунъ жилъ въ небольшомъ павильонѣ, стоявшемъ въ глубинѣ двора. Никакихъ картинъ, бездѣлушекъ, украшеній въ библіотекѣ не было. Посрединѣ комнаты у круглаго стола стояли кожаный диванъ и два покойныхъ кожаныхъ кресла.

Витя подумалъ, сѣсть ли? — и рѣшилъ не садиться. Остановился у шкапа, посмотрѣлъ на книги. Съ края стояли большіе толстые томы Декарта, плотно прижатые одинъ къ другому; ихъ ровный раззолоченный строй ласкалъ глазъ. Много было книгъ философскихъ и историческихъ, особенно по исторіи 17-го вѣка. Витя со вздохомъ подумалъ, что у него, вѣрно, никогда не будетъ такой библіотеки. Ему показалось, что въ одинокой, печальной

жизни Брауна, всецѣло отданной умственному труду должно быть большое очарованіе. «Но женщины?.. Странно, что у него молодая, хорошенькая горничная. Глаза у нея очень красивые, такіе были у Сонечки, но свѣтлѣе... Неужели она его любовница? Конечно, нѣтъ!..» Витя отошелъ къ другому краю шкапа. На лѣвомъ концѣ полки были философскія книги. «Платонъ... Плотинъ... Какъ странно, что такія похожія имена... Что такое еще было въ этомъ родѣ?.. Ахъ, да, тѣ Левіенъ и Левине... Все-таки хорошо, что я попалъ во Францію... Діогенъ Лаэртскій... Кажется, былъ такой, а кто онъ былъ, хоть убей, не знаю!..»

Витя отворилъ боковую дверь и, остановившись на порогѣ, съ умиленіемъ увидѣлъ, что въ сосѣдней комнатѣ лабораторія. «Да, это и есть настоящая, достойная жизнь. . . Но я, если-бъ и хотѣлъ, если-бъ и могъ ею жить, то бѣдность всеравно не позволила бы...» Въ лабораторіи стоялъ легкій эфирный запахъ. Витѣ бросился въ глаза огромный мрачный вытяжной шкапъ. Передъ нимъ стоялъ высокій табуретъ, тоже какой-то неуютный. Что-то кипятилось на Бунзеновской горѣлкѣ. Огонь подъ укрѣпленной въ штативѣ колбой на песочной банѣ особенно взволновалъ Витю. Въ огнѣ этомъ было что-то сумрачное, безнадежное и вмѣстѣ успокоительное. «Ахъ, какъ хорошо! Какъ на гравюрахъ объ алхимикахъ. Вотъ бы взялъ онъ меня на службу!.. Опять работать подъ его руководствомъ»... Витя вспомнилъ ихъ мастерскую нитроглицерина. «Все-таки очень пріятно, что то было, но кончилось. Я не показывалъ этого, но ужъ очень было страшно. Странно: въ Петербургѣ папа... Если онъ еще живъ?..» — сердце рѣзнула боль, — Витя былъ почти увѣренъ, что отецъ его погибъ, однако, никогда этого не говорилъ и старался объ этомъ не думать, — «въ Петербургѣ папа, въ Пе-

тербургѣ прошла вся моя жизнь, но я радъ и счастливъ, что бѣжалъ оттуда»... Онъ услышалъ шаги въ коридорѣ и затворилъ за собой дверь лабораторіи. Въ библіотеку вошелъ Браунъ. Витя замеръ. «Господи, какъ онъ измѣнился... Какъ посѣдѣлъ!..» Браунъ съ улыбкой протянулъ ему руку.

— Очень, очень радъ васъ видѣть. Давно ли вы въ Парижѣ? Я не зналъ, что вы здѣсь.

Онъ говорилъ любезно, даже ласково, но такъ, точно они разстались недѣли три тому назадъ, въ самой обыкновенной обстановкѣ. Витя отвѣчалъ на его разспросы смущенно: онъ ждалъ другого пріема.

...— Да, конечно, я зналъ, что вы выбрались изъ Россіи благополучно. Мнѣ говорила объ этомъ Марья Семеновна. Но я думалъ, что вы поселились въ Берлинѣ. Садитесь, пожалуйста... Такъ вы гостили у Клервиллей на морѣ?

— Да, гостилъ у нихъ на морѣ, а теперь я здѣсь, — отвѣтилъ Витя, садясь въ кресло и неловко кладя руки на колѣни. Огорченіе и разочарованіе его все росли. Конецъ фразы показался ему глупымъ. «Но не все ли равно?.. Нѣтъ все-таки онъ не долженъ былъ такъ меня принимать. Ровно пять минутъ посижу и уйду»...

— ...Что-жъ, вы здѣсь поступите въ университетъ?

— Да, можетъ быть.

— До начала занятій еще далеко.

— Да, конечно... Впрочемъ, едва ли я поступлю въ университетъ.

— Почему же нѣтъ?

— Я, можетъ быть, отправлюсь въ армію.

— Вотъ какъ? — Браунъ, повидимому, одинаково безучастно принялъ оба сообщенія: и то, что Витя отправляется въ армію, и то, что онъ поступаетъ въ университетъ. — Въ армію? Вотъ какъ?

— Да... — Витя почувствовалъ, что ему съ досады хочется сказать: «Да, вотъ какъ»... — Вы мнѣ это когда-то совѣтовали.

— Я?

— Вы, Александръ Михайловичъ. Вы говорили въ Петербургѣ Мусѣ... Марьѣ Семеновнѣ. Она это отъ меня скрывала, но какъ-то проговорилась.

— Съ тѣхъ поръ многое измѣнилось.

— Въ какомъ отношеніи?

— Во всѣхъ.

— Я не вижу. — Витя замолчалъ безнадежно. «Такъ можно разговаривать до вечера: «вотъ какъ... да... нѣтъ... во всѣхъ»... Господи, какъ онъ измѣнился! Эти не живые глаза... Ну, теперь пусть онъ самъ меня спрашиваетъ, если находитъ нужнымъ поддерживать разговоръ»... Однако молчать было неудобно. — Вы думаете, Александръ Михайловичъ, что не слѣдуетъ участвовать въ гражданской войнѣ?

— Кому слѣдуетъ, кому не слѣдуетъ... За васъ думать я не могу. — Голосъ его вдругъ прозвучалъ рѣзко. Витя встрепенулся: этотъ рѣзкій тонъ, прежній петербургскій тонъ Брауна, былъ ему пріятнѣе усталаго безразличія. — Если поѣдете туда, то, по всей вѣроятности, погибнете. А вамъ рано. Не совѣтую вамъ заниматься политикой, но ужъ если непремѣнно хотите, то занимайтесь ею такъ, какъ люди занимаются шахматами или гольфомъ.

— Изъ за гольфа люди на смерть не идутъ!

— И слава Богу. Жизнь стоитъ недорого, но, повѣрьте, нѣтъ и ничего такого, изъ за чего стоило бы ее отдать въ молодости... Да и испортитесь вы тамъ; въ пору революцій и гражданскихъ войнъ даже порядочные люди обычно ведутъ себя какъ разбойники... Не хотите ли чаю?

— Если позволите, выпью охотно.

— Я сейчасъ велю подать. А впрочемъ, теперь для чая не время, да и жарко. Я лучше угощу васъ Перно со льдомъ. Вамъ все равно?

— Выпью съ удовольствіемъ и Перно... Хоть собственно я не знаю, что это такое.

Браунъ чуть улыбнулся, Витѣ стало немного легче. «Растаялъ, кажется, ледъ... Впрочемъ, и льда никакого не было. Просто я ему совершенно не интересенъ, какъ я не интересенъ никому и какъ ему не интересенъ никто... Однако, у него въ этомъ шкапчикѣ цѣлый баръ! Тоже хорошо бы имѣть. Странно, какъ это уживается съ Платонами и съ лабораторіей?»

— ...Долго вы гостили у Клервиллей?.. Добавьте льду и пейте, но не сразу... Какъ они?

— У нихъ все благополучно. — Витя послушно отхлебнулъ большой глотокъ помутнѣвшей ото льда желто-зеленой жидкости. Она показалась ему отвратительной. — Очень вкусно. Это анисовый apéritif?

— Да... Хорошая погода была въ Довиллѣ?

— Прекрасная.

— Вы купались?

— По два раза въ день... — Витя отхлебнулъ второй глотокъ, еще больше. — Александръ Михайловичъ, а какъ же?..

— Что какъ же?

— Какъ же наша тогдашняя работа въ Петербургѣ? Не вышло?

— Значитъ, не вышло. Вы только теперь это замѣтили?

— Нѣтъ, конечно... Не шутите, Александръ Михайловичъ, вѣдь я васъ съ той поры не видалъ!

— Благодарите Бога, что ноги оттуда унесли!

— Я отчасти долженъ благодарить за это и васъ. Вѣдь вы меня тогда спасли этимъ паспортомъ, на-

ставленіями, деньгами... — Витя чувствовалъ, что у него вдругъ сталъ развязываться языкъ.

— Это какъ сказать. Вѣдь я же васъ и ввелъ тогда въ организацію. Можетъ быть, и не долженъ былъ этого дѣлать.

— Вы сожалѣете? Я — нѣтъ! Нѣтъ, я не сожалѣю!

— И я не очень жалѣю. Не пейте такъ быстро, это крѣпкій напитокъ... Отчего же вы уѣхали изъ Довилля такъ рано? Въ Парижѣ жарко. Марья Семеновна еще тамъ? Она тоже купается?

— Да, мы купались вмѣстѣ...

— И долго они еще тамъ пробудутъ?

— Еще недѣли двѣ, если погода будетъ хорошая...

— А потомъ въ Парижъ?

— Да...

— Что подѣлываетъ мой пріятель Клервилль? Говорятъ, онъ на пути къ блестящей карьерѣ?

— Не знаю... Я его видѣть не могу! — сказалъ неожиданно Витя, тотчасъ ужаснувшись собственнымъ словамъ. Браунъ посмотрѣлъ на него и снова улыбнулся. — Нѣтъ, Александръ Михайловичъ, я не сожалѣю о нашихъ петербургскихъ дѣлахъ. Пусть намъ не повезло, но вѣдь идея была большая!

— Всѣ идеи большія для тѣхъ, кто имъ служитъ... И пока служитъ. Нѣтъ такой идіотской идеи, которая не годилась бы для соблазна людей Вѣдь у большевиковъ тоже «большая идея». Правда, обезьянья, да обезьяньи-то для этого, пожалуй, самыя лучшія... Попробуйте печенья, оно очень хорошее.

— Почему обезьяньи лучшія?

— Я говорю такъ, не каждое слово записывайте... Значитъ, Клервилли возвращаются въ Парижъ еще не скоро?

— Нѣтъ, не обезьяньи, Александръ Михайловичъ. Есть и настоящія идеи, тѣ, которымъ служили лучшіе люди, люди, бывшіе совѣстью человѣчества...

— Охъ, ужъ эти люди, бывшіе совѣстью человѣчества... Отъ нихъ все зло... Вотъ эту штуку съ орѣхомъ совѣтую взять.

— Спасибо, — сказалъ Витя съ досадой и все-таки взялъ штуку съ орѣхомъ, хоть она мѣшала ему высказаться. — Вы, Александръ Михайловичъ, ни во что не вѣрите! Вѣдь это нигилизмъ? — Несмотря на круженіе въ головѣ, онъ не безъ робости выговорилъ это слово. «Не дерзко ли? Нѣтъ, дерзкаго ничего нѣтъ... Но мнѣ непривычно такъ съ нимъ говорить...» — Вы меня, ради Бога, простите, Александръ Михайловичъ!

— Ничего, ничего... Нѣтъ, это не нигилизмъ. Я не нигилистъ, да если-бъ и былъ нигилистомъ, то васъ, мальчика, не сталъ бы этимъ портить. Я васъ только предупреждаю. Не очень вообще вѣрьте въ человѣческій энтузіазмъ: ни въ «чудо-богатырей», ни въ «божественную лихорадку 1793 года». Это вранье.

— Все вранье?

— Три четверти. Вранье или условная безобидная нелѣпость: такъ абиссинскій императоръ называется царемъ царей... А то, что не вранье и не нелѣпость, то просто выдохлось и никому больше не интересно.

— Что-жъ, на смѣну прежнимъ богамъ приходятъ новые, — сказалъ Витя, самъ себѣ удивляясь: такъ легко произносились имъ теперь самыя страшныя слова, которыхъ онъ до Pernod никогда себѣ не позволилъ бы. — Старое рождается, новое... Старое умираетъ, новое рождается...

— Рождается, да дрянное. Человѣчество въ самомъ дѣлѣ собирается перемѣнить игрушки. Но иг-

ры нашего поколѣнія были все-же не такія глупыя и грязныя... На моихъ глазахъ человѣчество шло не впередъ, а назадъ. Можетъ быть, это случайность, но это такъ. Да, назадъ и все назадъ! Значитъ, неудачно родился... Неудачно родился, — повторилъ онъ. — Ну, да довольно объ этомъ.

Онъ замолчалъ. Его лицо потемнѣло, еще усилилось на немъ то выраженіе, которое Витя мысленно назвалъ отрѣшенностью.

— Вы давно здѣсь живете, Александръ Михайловичъ? Какая у васъ прекрасная квартира!

— Давно. Здѣсь и умру.

— Этого вѣдь никто сказать не можетъ. Особенно теперь.

— Особенно теперь, — повторилъ Браунъ, видимо не слушая.

— Простите, что я обо мнѣ, но чего бы я не далъ, чтобы узнать, что со мной будетъ лѣтъ черезъ десять.

— Да.

— И съ Россіей, съ міромъ... Развѣ вамъ, Александръ Михайловичъ, не интересно?

— Съ міромъ? Міръ теперь le cadet de mes soucis. Пусть онъ идетъ къ чорту.

— Ну, такъ хоть съ вами? — озадаченно спросилъ Витя. «Пусть онъ идетъ къ чорту!..» А говоритъ, что не нигилистъ...»

Браунъ молча на него смотрѣлъ безжизненнымъ взглядомъ. «Все-таки, это странная манера! Хоть бы сказалъ, наконецъ, еще что-нибудь», — подумалъ Витя съ тревогой. — Я думаю...

— Свое будущее предвидѣть иногда можно, — перебилъ его Браунъ. — Разумѣется, не каждому. Кто много жилъ, тотъ можетъ себя довести до предвидѣнья... Вотъ сны, напримѣръ. Вѣдь отъ сна до безумія только волосокъ... Что это такое?

— Это вамъ, ученымъ, лучше знать, — отвѣтилъ Витя и развязно, и нѣсколько сконфуженно: ему обычно снилась всякая ерунда.

— Наукѣ объ этомъ ничего не извѣстно. Она не знаетъ даже, какъ къ этому подступиться. Сны внѣ законовъ природы, или же законы ихъ непостижимы. А мнѣ въ снахъ открывалось многое.

— Но какъ же вы можете знать, что...

— Случалось и безъ сна. Иногда случалось, — разумѣется, только ночью и въ очень тяжелыя ночи... Кофе, музыка очень этому способствуютъ. Это и есть вдохновенье, а не то, о чемъ врутъ поэты, чего они ждутъ, корпя надъ своимъ рукодѣльемъ. Радости отъ этого мало. Да и ясности немного. Вѣдь и зная, ничего не поймешь. Зачѣмъ было все это? «Into this wilderness, and why not knowing», — медленно проговорилъ онъ. — А въ будущемъ что? Вотъ какъ знаменитая артистка Жоржъ окончила свои дни содержательницей общественной уборной, — сказалъ Браунъ и точно опомнился. — Да, да, Бога благодарите, что ноги унесли изъ того петербургскаго пекла.

— Я знаю, но и здѣсь плохо.

— А что? Влюблены и несчастны?

— Что вы!

— Въ чемъ же дѣло?

— Въ томъ дѣло, что нѣтъ дѣла... Извините дурной каламбуръ. Мнѣ дѣлать рѣшительно нечего, Александръ Михайловичъ.

— Средствъ у васъ, конечно, никакихъ нѣтъ?

— Никакихъ, я живу на средства Марьи Семеновны, — произнесъ, побагровѣвъ, Витя.

— Вы говорите такъ, точно вы у нея на содержаніи. Что-жъ тутъ дурного, если ваши друзья вамъ помогаютъ?

— Это не такъ просто... Можно мнѣ выпить еще?

— Нѣтъ, нельзя.

— Я хочу сказать... Александръ Михайловичъ, сдѣлайте милость, помогите мнѣ найти работу.

— Какую?

— Все равно. Мнѣ предлагаютъ стать статистомъ въ кинематографѣ, но мнѣ стыдно...

— Стыднаго въ этомъ ничего нѣтъ.

— Да и объ этомъ приходится просить, кланяться! А этого я не выношу! («Говорю, что не выношу, а его прошу! Но его можно»...).

— Я подумаю. Вѣдь вамъ однако надо учиться. Если Марья Семеновна готова вамъ помогать три-четыре года, то, быть можетъ, лучше принять ея помощь, чтобы кончить университетъ, а? Этотъ долгъ вы ей потомъ отдадите. Вы не хотите, чтобы я поговорилъ съ Клервиллями?

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Ни въ какомъ случаѣ! Это не такъ просто... Я очень, очень васъ прошу, Александръ Михайловичъ.

— Я подумаю. Вполнѣ одобряю, что вы стараетесь оберечь свою независимость. Дороже нѣтъ ничего въ жизни, помните это. И чѣмъ талантливѣе человѣкъ, тѣмъ ему труднѣе независимость достается: тѣмъ больше людей, посягающихъ на нее. Немногіе устояли противъ соблазна до конца... Расинъ, говорятъ, умеръ отъ немилостиваго взгляда Людовика XIV.

— Я не зналъ...

— Вѣроятно, это выдумка, но вѣдь интересно и то, какъ лгутъ о большихъ людяхъ... Я подумаю о работѣ для васъ. Говорю это не для того, чтобы отвязаться: «буду васъ имѣть въ виду, если что представится». Я въ самомъ дѣлѣ о васъ подумаю. Надо найти для васъ такую работу, которая давала бы вамъ возможность учиться, ходить на лекціи или, по крайней мѣрѣ, сдавать экзамены.

— Дипломъ мнѣ не нуженъ.

— Нуженъ, — сказалъ Браунъ. — Такую работу

найти довольно трудно. Но я постараюсь это сдѣлать. Вотъ что, навѣдайтесь ко мнѣ черезъ недѣлю... У васъ есть телефонъ? Пожалуйста, оставьте мнѣ вашъ телефонъ и адресъ.

— Я буду несказанно обязанъ вамъ, Александръ Михайловичъ, — сказалъ, вставая, Витя. «Несказанно обязанъ» было отъ Pernod, но онъ и въ самомъ дѣлѣ былъ въ восторгѣ. — Не хочу больше вамъ мѣшать...

— Запишите же телефонъ и адресъ, — повторилъ, не удерживая его, Браунъ.

XI.

Въ Регенсбургѣ, въ 1630 году, былъ назначенъ имперскій сеймъ для разрѣшенія многочисленныхъ важныхъ дѣлъ. Война шла двѣнадцать лѣтъ, и конца ей не было видно. Грабежи, налоги, поборы разорили Германію. Между тѣмъ, дѣло все запутывалось, и никто уже не могъ бы толкомъ объяснить, изъ-за чего собственно воюютъ князья: были лютеране на сторонѣ императора Фердинанда, были католики въ лагерѣ сторонниковъ реформы. Говорили, что курфюрстъ баварскій, ревностный католикъ, вступилъ въ тайныя сношенія съ французскимъ дворомъ; между тѣмъ Франція оказывала поддержку князьямъ лютеровой вѣры. Мира хотѣли почти всѣ князья, но большая часть ихъ находила, что для умиротворенія страны прежде всего необходимо имѣть мощную армію.

Всѣмъ, впрочемъ, было извѣстно, что главное, первое, самое важное дѣло сейма: какъ угодно, но во что бы то ни стало, избавиться отъ Валленштейна. Онъ стоялъ во главѣ императорской арміи, и кормилъ ее будто бы на свои средства, т. е. не требовалъ на это денегъ изъ вѣнской казны. Въ дѣйствительности же, все бралъ у князей и у населенія тѣхъ земель, по которымъ проходили его войска: говорилъ, что такъ и быть должно, ибо кормитъ войну война, — и всѣхъ извелъ поборами, а еще больше своей гордостью, пышностью своего двора, подобнаго которому не было у самыхъ богатыхъ курфюрстовъ. Одни князья хотѣли назначить главнокомандующимъ венгерскаго короля, другіе — курфюрста баварскаго, но на одномъ всѣ стояли твердо и единодушно: императоръ долженъ уволить герцога Фридландскаго въ отставку. При этомъ, у всѣхъ было сомнѣніе: подписать при-

казъ объ уволненіи легко, но уйдетъ ли въ отставку Валленштейнъ, если приказъ и будетъ подписанъ? Армія же его стояла совсѣмъ близко: въ Меммингенѣ.

Курфюрсты и князья, прелаты и графы, благородные люди и городскіе совѣтники начали съѣзжаться въ Регенсбургъ въ іюнѣ. И такъ было всѣмъ грустно и безпокойно, что немного времени заняли сложные вопросы этикета: кому гдѣ сидѣть? Вѣдавшіе этимъ старики, помнившіе не одинъ сеймъ, съ двухъ-трехъ засѣданій порѣшили, что рядомъ съ майнцскимъ курфюрстомъ въ первый день сидѣть курфюрсту трирскому, а во второй — курфюрсту кельнскому. Остальное пошло совсѣмъ гладко.

Въ среду 29 іюня съ часу дня стали проѣзжать, по пути ко дворцу архіепископа, разныя повозки и коляски. Населеніе города дивилось обилію и роскоши поѣзда, числу императорскихъ слугъ, — ихъ было до трехъ тысячъ. Къ общему горю, сталъ накрапывать дождь. Совѣтники въ черныхъ шелковыхъ костюмахъ, съ золочеными цѣпями, заволновались, — какъ теперь сойдетъ пріемъ, вѣдь они ни въ чемъ не виноваты!

Стрѣлка городскихъ часовъ уже подходила къ тремъ, когда показался отрядъ венгерскихъ тѣлохранителей императора, — у ихъ сѣрыхъ коней хвостъ, грива и копыта выкрашены были въ красный цвѣтъ. За ними слѣдовали коляски, одна лучше другой, и, наконецъ, квадратная, раззолоченная, запряженная шестерикомъ карета. Въ ней на почетномъ мѣстѣ сидѣлъ императоръ Фердинандъ, а противъ него императрица Элеонора, оба въ шелковыхъ одѣяніяхъ итальянской моды, одного серебрянаго цвѣта.

Поѣздъ остановился у кордегардіи. Пажи, въ чер-

ныхъ бархатныхъ костюмахъ, отворили дверцы. Бургомистръ, съ должнымъ числомъ поклоновъ въ поясъ и до земли, приблизился къ каретѣ и, по обычаю, поднесъ императору ключи города и подарки: кусокъ сукна, вино, сѣно и рыбу. Жена бургомистра произнесла выученное на зубокъ привѣтствіе императрицѣ и не сбилась даже въ концѣ его, хоть очень замысловатый конецъ выдумалъ старый совѣтникъ, знавшій придворные обычаи: «...И если не могу я, недостойная, поцѣловать Вашему Величеству руку, то да будетъ мнѣ дозволено поцѣловать ногу Вашего Величества». Оказалось, однако, что старый совѣтникъ не такъ ужъ зналъ обычаи вѣнскаго двора и только осрамилъ Регенсбургъ, ибо полагалось женѣ бургомистра прикоснуться губами не къ рукѣ и не къ ногѣ, а къ подолу платья императрицы. Встрѣча не очень удалась. Императоръ былъ въ дурномъ настроеніи — изъ-за дождя, изъ-за утомительной дороги, изъ-за того, что у заставы его не встрѣтили курфюрсты. Улыбался совѣтникамъ въ обрѣзъ, — видомъ своимъ показалъ, что доволенъ Регенсбургомъ, но не слишкомъ доволенъ. Пажи захлопнули дверцы кареты, поѣздъ двинулся дальше.

Сеймъ же открылся не скоро. Послѣ молебствія въ соборѣ св. Петра, императоръ, въ тяжелой отороченной мѣхомъ мантіи и въ коронѣ, держа у плеча, какъ ружье, скипетръ, оглядываясь по сторонамъ, вытирая бархатнымъ платкомъ лобъ, щеки, короткую сѣдоватую бороду, прошелъ въ залъ, сѣлъ на крытый краснымъ бархатомъ тронъ и, чуть наклонивъ голову направо и налѣво, открылъ первое засѣданіе: имѣлъ къ своему дѣлу большую привычку. Камерарій сдѣлалъ перекличку лицамъ духовнымъ и свѣтскимъ.

Императорское посланіе было туманное, ибо сочинившій его канцлеръ Верденбергъ зналъ толкъ

въ политикѣ: ничего въ посланіи не сказалъ. Говорилось въ немъ, что императоръ всей душой жаждетъ мира, но это его желаніе не у всѣхъ находитъ откликъ. А потому о сокращеніи арміи, къ несчастью, не можетъ быть и рѣчи, какъ ни искренно миролюбіе его величества. Первый съ отвѣтомъ выступилъ курфюрстъ майнцскій Ансельмъ-Казиміръ, и такъ какъ онъ тоже былъ опытный политикъ, то ничего не сказалъ и курфюрстъ, зная, что не на засѣданіи въ большомъ залѣ, передъ сотнями людей, рѣшаются важныя дѣла: засѣданія же и посланія, да и весь сеймъ, нужны больше потому, что это очень пріятно благороднымъ людямъ и городскимъ совѣтникамъ. О герцогѣ Фридландскомъ не было сказано ни слова, точно его и не существовало на свѣтѣ. И только позднѣе, въ покояхъ архіепископа, гдѣ остановился императоръ, началось настоящее политическое дѣло: переговоры, торгъ, вѣжливый шантажъ и контръ-шантажъ пяти-шести человѣкъ, отъ которыхъ все зависѣло на сеймѣ.

Потомъ городъ далъ обѣдъ въ честь императора Фердинанда. Сошелъ обѣдъ невесело. Императоръ, человѣкъ нездоровый и печальнаго нрава, почти ни къ чему не прикоснулся изъ поданныхъ тридцати блюдъ, даже къ уткѣ, утопленной въ старомъ венгерскомъ винѣ, зажаренной съ гвоздикой и съ ароматами, начиненной трюфелями и посыпанной золотой пылью. Многіе гости, особенно дамы, замѣтили, что послѣ утки и рыбныхъ блюдъ императоръ, и императрица, и венгерскій король, и эрцгерцогини не облизывали пальцевъ, а вытирали ихъ о скатерть; тѣ изъ гостей, что побойчѣе, тутъ же переняли эту новую французскую моду. Государственные же люди обратили вниманіе на то, что послѣ десерта былъ къ его величеству подозванъ и долго съ нимъ бесѣдовалъ непобѣдимый баварскій полководецъ графъ Тзеркласъ Тилли — маленькій,

сухенькій, остроносый старичокъ, который за обѣдомъ ѣлъ только хлѣбъ и овощи, къ вину не притрагивался и на обѣдавшихъ поглядывалъ исподлобья съ злобнымъ презрѣніемъ. Государственные люди тотчасъ сдѣлали выводъ, оказавшійся вполнѣ правильнымъ: такъ какъ императоръ не хочетъ назначать главнокомандующимъ баварскаго курфюрста, а курфюрсты не желаютъ императорскаго сына, то, вѣрно, всѣ сошлись на графѣ Тилли: именно онъ и будетъ назначенъ преемникомъ герцога Фридландскаго.

Императоръ же былъ грустенъ и послѣ разговора. Ему и нужно, и страшно было разстаться съ Валленштейномъ. Не хотѣлось и уступать желанію сейма. И видъ его показывалъ, что онъ недоволенъ Регенсбургомъ, но не слишкомъ недоволенъ. Грусть же императора передалась курфюрстамъ и князьямъ, прелатамъ и графамъ, благороднымъ людямъ и городскимъ совѣтникамъ.

Отрядъ католиковъ, направлявшійся въ Регенсбургъ для вступленія въ армію графа Тилли, послѣднюю остановку сдѣлалъ недалеко отъ Меммингена. Гостиницы въ городкѣ были, навѣрное, переполнены, хозяева вездѣ драли немилосердно, погода стояла жаркая, и рѣшено было въ Меммингенъ не заѣзжать, а весь остатокъ дня и ночь провести въ лѣсу вблизи большой дороги. Съѣстные припасы были на исходѣ. Драгунъ Деверу — родомъ ирландецъ, много поѣздившій по Европѣ и знавшій разные языки (понималъ даже и по-латыни), — взялся съѣздить въ городокъ и привезти все нужное. Отрядъ составился въ пути, изъ случайно встрѣтившихся людей; въ большинствѣ, они не знали другъ друга, однако Деверу повѣрили: деньги не очень большія, а подсыпать отраву въ вино

ему расчета нѣтъ. Ѣхать же въ одиночку, или даже вдвоемъ, да еще лѣсомъ, никому не хотѣлось.

По дорогѣ въ Меммингенъ, Деверу подкрѣплялъ себя водкой; но съ нимъ ничего не случилось. Только на опушкѣ лѣса увидѣлъ онъ дерево, увѣшанное людьми. Казненныхъ было человѣкъ пятнадцать, — очевидно, все провинившіеся солдаты, такъ какъ разбойниковъ и дезертировъ никогда на зеленомъ деревѣ не вѣшали, а не иначе, какъ на сухомъ или на висѣлицѣ. Не то, чтобъ Деверу испугался, но смотрѣть было непріятно, — провиниться могъ каждый, — онъ выпилъ еще водки и хлестнулъ лошадь.

Свое порученіе выполнилъ онъ въ Меммингенѣ вполнѣ честно: ни однимъ грошемъ товарищей не попользовался, съ лавочниками торговался долго и жестоко, а мяснику велѣлъ поклясться памятью матери, что колбаса не изъ человѣчьяго мяса, — его теперь подсовывали всюду, — и въ дополненіе къ клятвѣ ясно намекнулъ, что въ случаѣ какого обмана зарѣжетъ. Угроза была непозволительная и не очень страшная: герцогъ Фридландскій поддерживалъ порядокъ въ городкѣ, не церемонясь съ преступниками. Но лицо у драгуна было такое, что связываться съ нимъ никому не хотѣлось. Мясникъ, впрочемъ, человѣчьимъ мясомъ не торговалъ, велъ дѣло честно и сдачу заплатилъ правильно. Деверу долго ее провѣрялъ. Одна монета вызвала въ немъ сомнѣніе: былъ на ней изображенъ самъ герцогъ, а на оборотѣ вокругъ гербоваго орла вилась надпись крупными буквами: «Dominus protector meus». Деверу не зналъ, что Валленштейнъ чеканитъ свою монету. «Вотъ куда зашелъ человѣкъ!» — съ завистью подумалъ онъ, — «а вѣдь былъ простой солдатъ, какъ я!..» Вина онъ купилъ разныя, и каждое пробовалъ въ интересахъ товарищей. Подъ конецъ онъ сталъ очень веселъ и булочнику сообщилъ, что

въ Регенсбургѣ ждутъ его очень важныя особы, и что, по всей вѣроятности, онъ скоро пріобрѣтетъ капитанскій патентъ въ арміи графа Тилли. На что булочникъ недовѣрчиво, но почтительно отвѣтилъ: «Дай Богъ! дай Богъ!»

Выѣхалъ Деверу изъ Меммингена уже часу въ восьмомъ вечера, стараясь не думать о непріятномъ возвращеніи черезъ лѣсъ. На окраинѣ городка онъ еще остановился въ кабачкѣ, — какъ разъ оставалось одно свободное мѣсто у вынесеннаго за ворота стола. Но только онъ сѣлъ и заказалъ пива, какъ раздались трубные звуки, всѣ повставали съ мѣстъ. Въ Меммингенъ въѣзжалъ пышный поѣздъ: были тутъ и драгуны, и кирасиры, и мушкетеры, за ними трубачи, лакеи, пажи, дальше коляски одна за другой и, въ концѣ поѣзда, хорваты съ кривыми саблями наголо. Легко было догадаться, кто такъ ѣздитъ въ Меммингенѣ. И дѣйствительно, въ первой раззолоченной коляскѣ, съ видомъ величественнымъ и хмурымъ, сидѣлъ, подтянутый и строгій, тотъ самый человѣкъ, который былъ изображенъ на монетѣ. Деверу никогда до того не видалъ герцога Фридландскаго и такъ и впился въ него глазами: коляска проѣхала медленно, совсѣмъ близко. Лицо у Валленштейна было надменное, какъ ему и полагалось. Изъ-подъ шляпы на бѣлый кружевной воротникъ падали длинные, вьющіеся свѣтло-рыжеватые волосы. Увидѣвъ вытянувшихся солдатъ, герцогъ прошелся по нимъ непріятно-внимательнымъ взглядомъ и встрѣтился глазами съ Деверу...

«Вотъ кому служить бы!» — подумалъ драгунъ и пожалѣлъ, что уже подписалъ договоръ съ вербовщикомъ графа Тилли. — «Принялъ бы этотъ меня на службу, не было бы у него человѣка вѣрнѣе, чѣмъ я»... Онъ грустно расплатился и сѣлъ на коня. Не встрѣтилъ Деверу разбойниковъ и на обрат-

номъ пути. Мимо того дерева онъ проскакалъ галопомъ, стараясь на него не смотрѣть, но не удержался взглянулъ и опять подумалъ, что все можетъ случиться съ воиномъ и ни отъ чего отказываться напередъ нельзя. На привалѣ всѣ заждались.

Тотчасъ начался шлафтрункъ. Какъ человѣкъ деликатный и воспитанный, Деверу первый пробовалъ все имъ привезенное: понималъ, что у другихъ могутъ быть нехорошія мысли. Онъ и самъ зналъ, что такіе случаи бывали: грабители переодѣвались солдатами. Однако, подозрѣніе было ему обидно: грѣховъ на совѣсти было у него немало, но товарищей или даже случайныхъ попутчиковъ не убивалъ и не грабилъ. Скрывая обиду, онъ прикасался къ ѣдѣ акульимъ зубомъ, который, по обычаю, при себѣ носилъ: такимъ образомъ уничтожалась сила заговора, — хоть только дуракъ или совершенный разбойникъ могъ предположить, что онъ заклялъ колбасу! Отъ обиды Деверу и разговаривалъ за шлафтрункомъ мало. Говорили о предстоящей войнѣ, разсказывали о походахъ; онъ угрюмо молчалъ. Разъ только горячо вмѣшался въ бесѣду, — одобрилъ, что драгунамъ платятъ больше, чѣмъ мушкетерамъ.

Потомъ, впрочемъ, Деверу смягчился, и когда сѣли играть въ карты, ясно всѣмъ показалъ, что онъ человѣкъ образованный, знающій обычаи хорошаго общества: при каждой сдачѣ привставалъ, — хоть прямо съ земли было неудобно, — и, по французской модѣ, съ легкимъ поклономъ, дѣлалъ жестъ рукою.

Въ 12-мъ часу легли спать. Раздѣвшись, Деверу вытеръ тѣло сухимъ полотенцемъ: воды не употреблялъ, зная, что отъ нея портятся глаза и появляется зубная болѣзнь. Провѣривъ заряженные пистолеты, онъ положилъ ихъ рядомъ съ собой. За-

тѣмъ, оглянувшись на товарищей и убѣдившись, что никто не видитъ, снялъ и спряталъ въ пороховницу странный предметъ: маленькую золотую розу, висѣвшую у него на груди на синей лентѣ.

Одновременно съ имперскимъ сеймомъ, но въ глубокой тайнѣ, была созвана въ Регенсбургѣ большая ложа розенкрейцеровъ. Называли ихъ невидимыми, и много о нихъ говорили, особенно съ той поры, какъ разоблачила ихъ и опозорила книга, неизвѣстно кѣмъ выданная во Франціи: «Effroyables pactions faites entre le Diable et les prétendus Invisibles avec leurs damnables instructions, perte de leurs Escoliers et leur misérable fin.» Страшно было непонятное слово «розенкрейцеры», страшно опредѣленіе «невидимые», но гораздо страшнѣе было то, что въ городѣ Ліонѣ, въ ночь на 23 іюня 1623 года, состоялся капитулъ 36 главныхъ розенкрейцеровъ и закончился онъ великимъ колдовскимъ шабашемъ. Разсудительные люди допускали, что не всякому слову надо вѣрить, даже если оно и печатное. Но все же о невидимыхъ говорили больше по вечерамъ, когда за окнами былъ мракъ и холодъ, говорили, понижая голосъ и расширяя глаза, такъ, какъ разсказывали о гнусныхъ продѣлкахъ Каспара Чернаго или о вѣдьмѣ Клодинѣ Удо, сожженной на кострѣ въ Везулѣ за устройство грозы. Собирались невидимые, по слухамъ, изрѣдка, въ большихъ городахъ, всегда на восточной окраинѣ и передъ самымъ разсвѣтомъ, узнавали же другъ друга по особымъ словамъ, значкамъ и примѣтамъ. Созывалъ ихъ тайнымъ образомъ ихъ невидимый императоръ, и будто бы хвастали они, что первымъ розенкрейцерскимъ императоромъ былъ Адамъ, а за нимъ слѣдовали Ной, Авраамъ, Моисей, Соломонъ и другія всѣми почитаемыя лица.

Однако почти никто не зналъ (развѣ жена его, ибо какъ отъ жены утаишь?), почти никто не зналъ, что въ пору регенсбургскаго сейма императоромъ невидимыхъ розенкрейцеровъ состоялъ Іоганнъ-Карлъ фонъ-Фризау, человѣкъ весьма почтенный: если бы знали это въ его городѣ, то усомнились бы въ мрачныхъ слухахъ о невидимыхъ, ибо кто же могъ допустить, что Іоганнъ-Карлъ фонъ-Фризау поддерживаетъ сношенія съ дьяволомъ? И еще больше было бы общее удивленіе, когда бы стало извѣстно, что въ розенкрейцерскомъ капитулѣ состоятъ или состояли очень знатные люди и даже владѣтельные князья, какъ Морицъ, ландграфъ Гессенъ-Кассельскій, или Христіанъ, князь Ангальтскій. Вмѣстѣ съ владѣтельными князьями, былъ въ капитулѣ ученый, голландскій профессоръ Іонгманъ, нисколько не знатный и не родовитый. А какъ разъ передъ сеймомъ, къ великому своему счастью, попалъ въ капитулъ и совсѣмъ простой человѣкъ, старый магдебургскій печатникъ Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслейнъ.

Выбрали его потому, что это былъ человѣкъ праведной жизни и свѣтлой души, вдобавокъ, большой мастеръ своего дѣла: онъ работалъ и у Джунти, и у Жанъ Мэра, и у Эльзевировъ, потомъ открылъ мастерскую въ своемъ родномъ городѣ, въ протестантскомъ Магдебургѣ (хоть самъ былъ вѣрующій католикъ), и по ночамъ, скрываясь отъ подмастерьевъ, печаталъ бумаги, дипломы, грамоты невидимыхъ, несмотря на свою бѣдность, совершенно безплатно, рискуя, быть можетъ, костромъ. Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслейнъ тоже ни за что не согласился бы вступить въ сношенія съ дьяволомъ и даже вѣрилъ въ дьявола плохо, ибо трудно ему было допустить, что существуетъ въ мірѣ столь злобное и вредное существо. Да вѣрно (такъ позднѣе казалось многимъ) и другіе члены капи-

тула, за самыми рѣдкими, быть можетъ, исключеніями, никогда съ дьяволомъ дѣла не имѣли и только грустно удивлялись, слыша, съ какой ненавистью и съ какимъ страхомъ говорятъ люди объ ихъ орденѣ. Настоящая же цѣль розенкрейцеровъ была совершенно иная: они хотѣли положить конецъ войнамъ, казнямъ, пыткамъ и прочимъ страшнымъ и безполезнымъ для человѣка вещамъ, найти способъ лѣченія всѣхъ болѣзней, установить равенство и дружбу между гражданами, а равно миръ и любовь между всѣми народами, кромѣ развѣ какихъ-нибудь турокъ. И, навѣрное, они этой цѣли достигли бы, если бъ не мѣшали имъ разныя случайныя обстоятельства, а всего больше козни враговъ.

Въ Регенсбургѣ же должны были невидимые обсудить главные вопросы, интересовавшіе образованныхъ людей. Нужно было поговорить о томъ, правъ ли престарѣлый Галилей, занимавшій должность перваго философа при дворѣ великаго герцога Тосканскаго: вслѣдъ за давно умершимъ польскимъ каноникомъ, этотъ знаменитый и почтенный старецъ утверждалъ, что не солнце вращается вокругъ земли, а земля вокругъ солнца. Второй же вопросъ былъ политическій, связанный отчасти съ регенсбургскимъ сеймомъ: необходимо было выяснить, какъ относятся невидимые къ Валленштейну, и должно ли ему сочувствовать въ его таинственныхъ и великихъ замыслахъ. Были также и другіе вопросы: о странномъ братѣ Андреэ, о несерьезной и непристойной книгѣ «Химическая свадьба Христіана Розенкрейца» и о томъ, что должно предшествовать при изготовленіи философскаго камня: нигредо, альбедо или рубедо? Однако, эти давніе, хоть волнующіе, вопросы могли подождать и до слѣдующей ложи.

Торжественное засѣданіе было назначено на по-

слѣдній вечеръ іюня. Но часть невидимыхъ уже съѣхалась въ Регенсбургъ, ибо всѣмъ было интересно посмотрѣть и на имперскій сеймъ. Вновь пріѣхавшіе должны были являться къ мѣстному розенкрейцеру, почтенному врачу Майеру, который имѣлъ свой домъ, и, по достатку своему, могъ принимать друзей безъ стѣсненія для себя, не возбуждая ни въ комъ подозрѣній.

Въ первый день сейма собралось въ домѣ Майера семь или восемь невидимыхъ, и они, безъ малѣйшаго церемоніала, за пивомъ бесѣдовали и о важныхъ, и о суетныхъ предметахъ. И всѣмъ было очень пріятно: иноземельнымъ, что благополучно пройдена ими опасная дорога, мѣстнымъ, что пришли вѣсти изъ разныхъ земель, а всѣмъ вообще, что встрѣтились они въ гостепріимномъ домѣ въ своей дружеской средѣ. Особенно же радовался чистой душою своею членъ капитула, печатникъ Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслейнъ: были въ столовой почтеннаго врача Майера и католики, и сторонники Лютера, и ученые люди, и только любившіе просвѣщеніе, и знатные дворяне, и простые ремесленники, какъ онъ самъ. Нужно ли было лучшее доказательство того, что всѣ люди братья, и что не по грѣховности ихъ природы, а по невѣжеству, творится зло, которымъ полонъ міръ?

Больше всѣхъ говорилъ, сіяя радостной улыбкой, голландскій профессоръ Іонгманъ, ибо профессоръ любилъ поговорить, былъ ученѣе всѣхъ другихъ и видѣлъ очень много: постоянно ѣздилъ по разнымъ странамъ, — какъ только хранилъ его жизнь Господь? — и всячески служилъ дѣлу розенкрейцеровъ, поддерживая между ними связь. Кромѣ науки и этого дѣла (да и были они одно), ничто въ жизни не интересовало профессора: не имѣлъ ни жены, ни дѣтей, средства же были у него доста-

точныя. Какъ весьма ученаго человѣка, невидимые его разспрашивали о взглядахъ Галилея и просили прочесть на торжественномъ собраніи докладъ, дабы имъ, наконецъ, стало ясно, что именно обо всемъ этомъ думать. Однако, отъ доклада о землѣ и солнцѣ профессоръ отказался (хоть очень доклады любилъ), а на вопросы отвѣчалъ уклончиво. Понять можно было такъ, что во вращеніе земли онъ не вѣритъ, но лучше пока не высказываться, ибо Галилей весьма мудрый старикъ и не сталъ бы говорить на вѣтеръ. А, главное, передъ самымъ отъѣздомъ изъ Амстердама, профессоръ встрѣтился тамъ съ Декартомъ, — «да, съ тѣмъ самымъ», — многозначительно добавилъ онъ, намекая на давнія, хоть запутанныя, сношенія Декарта съ невидимыми: не то онъ самъ былъ невидимый какого-то иного толка, не то надъ ними надъ всѣми потѣшался, — нелегко разобрать душу этого человѣка. И при встрѣчѣ, зная, что Декартъ Галилея недолюбливаетъ, профессоръ, хоть нерѣшительно, но съ неодобреніемъ отозвался о новой теоріи мірозданія. Однако, собесѣдникъ его, помолчавъ и не вступая въ споръ, сказалъ только, что если Галилей ошибается и солнце вращается вокругъ земли, то, значитъ, и онъ, Декартъ, ничего въ устройствѣ вселенной не смыслитъ, и лучше ему бросить научныя занятія. И этимъ отвѣтомъ смутилъ профессора, который, какъ всѣ, знавшіе Декарта, имѣлъ чрезвычайное довѣріе къ силѣ его ума.

Потомъ заговорили о политическихъ дѣлахъ, о томъ, что, вмѣсто Валленштейна, главнокомандующимъ назначается Тилли. Объ этомъ пожалѣли, ибо всегда обидна замѣна умнаго человѣка тупымъ, — такъ сказалъ почтенный профессоръ Іонгманъ, и всѣ съ нимъ согласились: графъ Тзеркласъ Тилли былъ, по общему мнѣнію, и тупой, и невѣжественный, и жестокій человѣкъ. Только Тобіасъ-Виль-

гельмъ Газенфусслейнъ, не любившій дурныхъ отзывовъ о людяхъ, напомнилъ, что и Тилли имѣетъ добрыя свойства: очень храбръ, не пьяница, не развратникъ и никогда солдатскими деньгами не пользовался. За Валленштейномъ же всѣ невидимые признавали и великій умъ, и дарованія, и сильную волю, — очень много дано ему, вплоть до звучнаго красиваго имени. Лишь въ томъ, они думали, вопросъ: къ чему направлена воля герцога Фридландскаго? Ибо вѣрно сказалъ профессоръ: важно не то, что человѣкъ ищетъ власти, а то, для чего онъ ее ищетъ. И если иные и Валленштейна считаютъ розенкрейцеромъ, то никакихъ основаній для этого вѣдь нѣтъ: ибо желающій найти путь къ розенкрейцерамъ рано или поздно найдетъ его. Но человѣкъ онъ большой, объ этомъ и спорить невозможно. Идетъ молва, будто онъ хочетъ стать богемскимъ королемъ, а потомъ, пожалуй, выставитъ свою кандидатуру на императорскій престолъ. Да и правду сказать, если бъ, по розенкрейцерскому ученію, полагалось одному человѣку управлять полновластно милліонами другихъ, то нельзя было бы, конечно, подыскать достойнѣйшаго цезаря, чѣмъ герцогъ Фридландскій. И много еще разумныхъ и справедливыхъ словъ сказалъ, сіяя радостной улыбкой, всѣми уважаемый професоръ Іонгманъ.

А затѣмъ сообщилъ онъ невидимымъ, что докладъ свой на торжественномъ собраніи сдѣлаетъ о важномъ предметѣ, грозящемъ многими бѣдами и наукѣ, и розенкрейцерамъ, и всѣмъ честнымъ людямъ. Въ Парижѣ не такъ давно образовалось тайное общество. Оно называетъ себя просто «La Compagnie»; люди же, о немъ прослышавшіе, именуютъ его «La Cabale». Стремится это общество къ счастью человѣчества, но для этого хочетъ установить въ мірѣ единую вѣру и мысль, такъ чтобы всѣ обо

всемъ думали совершенно одинаково и такъ же одинаково жили, ни въ чемъ никуда не уклоняясь. Страшна цѣль этихъ людей, но еще много страшнѣе ихъ способы работы. Общество имѣетъ агентовъ во всѣхъ классахъ и сословіяхъ, обзавелось ячейками въ разныхъ странахъ міра, даже на далекомъ востокѣ. Средства у него большія, дѣйствуетъ оно беззастѣнчиво и безсовѣстно: каждому члену общества прямо вмѣняется въ обязанность идти на любое преступленіе, если только оно можетъ быть обществу полезно. И чѣмъ больше кто преступленій совершитъ, тѣмъ больше этимъ гордится, ибо служитъ счастью человѣчества. Основалъ компанію Вентадуръ, человѣкъ мрачный, жестокій, фанатическій, — попросту другой, французскій Тилли. Окружаютъ же его всевозможные мошенники и злодѣи. И если вначалѣ еще можно было подавить это общество въ зародышѣ, то теперь чрезвычайно трудно, и очень этимъ во Франціи напуганы и розенкрейцеры, и всѣ вообще просвѣщенные люди. «Однако», — добавилъ профессоръ Іонгманъ, — «для потери надеждъ никакихъ основаній нѣтъ: свѣтъ науки и благородная работа розенкрейцеровъ преодолѣютъ, конечно, и эту новую бѣду»...

Не успѣли невидимые обсудить это странное и печальное извѣстіе, какъ раздался стукъ въ дверь. Кое-кто изъ невидимыхъ вздрогнулъ, но хозяинъ пошелъ отворять почти безъ робости, ибо ничего противнаго законамъ ни онъ, ни его гости не дѣлали. На порогѣ стоялъ незнакомый драгунъ. Спросивъ вѣжливо хозяина о фамиліи и оглянувшись въ сѣняхъ, драгунъ раздвинулъ камзолъ и показалъ подъ нимъ золотую розу на синей лентѣ. — «Ave Frater», — прошепталъ хозяинъ недовѣрчиво (ибо не понравилось ему лицо гостя). — «Roseae et Aureae», — шепнулъ драгунъ. И такъ какъ слово было въ совершенномъ порядкѣ, то хозяинъ про-

изнесъ: «Benedictus Dominus qui nobis dedit signum» и пригласилъ вошедшаго въ свой кабинетъ. Тамъ драгунъ, сообщивъ, что зовутъ его Деверу, показалъ, кромѣ розы, пергаментъ за подписью Роберта Флудда, главы англійскихъ невидимыхъ. Сомнѣній больше не оставалось, хозяинъ обнялъ брата, повелъ его въ столовую, познакомилъ съ другими розенкрейцерами и налилъ ему кружку пива. И хоть другимъ тоже не очень понравился новый гость, откровенная бесѣда продолжалась. Драгунъ же больше молчалъ, слушалъ и оглядывался по сторонамъ.

Графъ Тзеркласъ Тилли говорилъ своимъ друзьямъ, что никогда въ жизни не проигрывалъ сраженія, не пробовалъ вина и не прикасался къ женщинѣ. Повторялъ онъ это часто и этимъ немного друзьямъ надоѣлъ. Знали, что говоритъ онъ чистую правду, но инымъ казалось, что не всѣмъ тутъ слѣдовало бы ему похваляться: вѣдь не такъ ужъ много радостей дано въ земной жизни человѣку. У графа Тилли была только одна страсть: славолюбіе, — и понималъ онъ славу по-своему, а вѣрно ли, объ этомъ судить потомству. Думалъ же онъ, что потомство окружаетъ почетомъ и восхищеніемъ лишь тѣхъ людей, которые умѣютъ проявлять непреклонную и суровую власть. Поэтому впослѣдствіи и вырѣзалъ, для своей славы, все населеніе города Магдебурга.

Былъ ли онъ уменъ или глупъ, — и о томъ нелегко было судить людямъ, близко его знавшимъ. Тѣ, что посмѣлѣе, думали иногда, что Господь не щедро одарилъ разумомъ графа Тзеркласа Тилли. Но увѣренности у нихъ въ этомъ не было, ибо шелъ онъ отъ успѣха къ успѣху и считался непобѣдимымъ до тѣхъ поръ, пока его не побѣдили. Лишь

послѣ того, какъ въ борьбѣ съ Густавомъ-Адольфомъ, на Брейтенфельдскихъ поляхъ и на берегахъ Леха, оставилъ онъ свою военную славу, стали говорить люди, что на бѣду Германіи, за ея грѣхи, посланъ былъ ей этотъ человѣкъ, и что много лучше было бы для всѣхъ, если бъ графъ Тзеркласъ Тилли пилъ вино и любилъ женщинъ, но не занимался ни войной, ни государственными дѣлами.

Самъ же онъ и въ молодости, и до послѣдняго дня думалъ совершено иначе, и счастливѣйшимъ днемъ его жизни былъ тотъ день, когда императоръ ему сообщилъ, что назначаетъ его главнокомандующимъ всѣми вооруженными силами имперіи, вмѣсто герцога Фридландскаго. Въ этотъ день, ложась на свою жесткую постель, графъ Тзеркласъ Тилли долго и радостно смѣялся, думая, что, быть можетъ, въ эту самую минуту посланецъ императора, канцлеръ Верденбергъ, сообщаетъ Валленштейну о немилости и отставкѣ.

Въ этотъ же вечеръ, рожденный въ пещерѣ Меркурій, благосклонный къ ворамъ и поэтамъ, зловѣще показался въ седьмомъ небесномъ домѣ, заградивъ путь Марсу. День былъ не Меркуріевъ: не среда, а четвергъ. Но и сердце говорило то же, что звѣзды: быть бѣдѣ. Тоска и бѣшенство томили душу Валленштейна. Склониться передъ рѣшеніемъ сейма, передъ мелкими завистливыми князьками, передъ маленькимъ человѣкомъ, который правилъ Германіей, ибо родился Габсбургомъ! Чувствовалъ въ себѣ нерастраченныя большими дѣлами, еще почти безграничныя силы, — кто другой могъ отразить Густава-Адольфа, кто могъ прекратить нелѣпую междоусобную войну, кто могъ спасти германскую землю? Неправъ лукавый Сократъ, гово-

рившій радостно: «какъ много въ мірѣ вещей, которыя мнѣ не нужны!» — Все нужно человѣку съ ненасытной душою.

Не открытая герцогская корона, когда-то волновавшая воображеніе, такъ давно надоѣвшая, — закрытая корона императора, съ золотымъ полукругомъ, съ изображеніемъ міра, съ крестомъ, корона Карла Великаго, все тревожила сердце. Объ этомъ нельзя было говорить даже съ астрологомъ. Объ этомъ нельзя было говорить ни съ кѣмъ. Но кто могъ бы читать, какъ въ книгѣ, въ сердцахъ людей, тотъ, при видѣ Альбрехта Валленштейна въ пору его занятій звѣздами, навѣрное, сказалъ бы, что одна сокровенная, неотступная мысль гложетъ, томитъ, и наконецъ, разорветъ душу этого человѣка.

Двинуть же армію на Регенсбургъ было трудно, очень трудно, ибо велика надъ людьми власть породы, еще крѣпче власть привычки, и много ли офицеровъ пойдетъ за простымъ дворяниномъ противъ потомка Рудольфа Габсбургскаго? Итальянецъ-астрологъ робко спорилъ: Меркурій непостояненъ, въ четвергъ онъ ничего означать не можетъ. Заглянули въ пророческій календарь. На его обложкѣ значилось, что составленъ онъ Іоганномъ Кеплеромъ, честнымъ математикомъ герцогства Штирійскаго. На 1630 годъ предсказаній, какъ на бѣду, не было, — были на другіе годы. Можно, правда, заказать: старичекъ всегда принималъ заказы, — только этимъ и жилъ.

Сени молчалъ съ видомъ достойнымъ и обиженнымъ: ужъ если ему предпочитаютъ шарлатана! Достали другіе инструменты, принялись составлять гороскопъ. Непостоянный Меркурій стоялъ на своемъ: быть бѣдѣ. Сени согласился съ герцогомъ, — его свѣтлость всегда правъ, большихъ дѣлъ теперь начинать не должно; но дальше звѣзды связываются превосходно: только переждать, и счастье вер-

нется. Валленштейнъ тщательно провѣрилъ. Въ самомъ дѣлѣ, было такъ. И въ это самое время ему доложили о пріѣздѣ изъ Регенсбурга посланца императора, канцлера Верденберга.

Отъ столь отчаяннаго человѣка можно ждать всего. Канцлеръ очень безпокоился: вдругъ прикажетъ арестовать и двинетъ свои войска на Регенсбургъ! Нѣтъ въ Германіи ни такой арміи, ни такого полководца. Узнавъ же отъ мажордома, что у его свѣтлости сидитъ итальянскій плутъ, Верденбергъ и совсѣмъ испугался: не любилъ, чтобы звѣзды вмѣшивались въ государственныя дѣла, плутовъ предпочиталъ обыкновенныхъ, — не звѣздныхъ, — а сумасшедшихъ боялся, какъ огня. Канцлеръ давно привыкъ прятать чувства подъ спокойную улыбку, но на этотъ разъ они изъ подъ улыбки выскользнули, и въ глазахъ мелькнулъ ужасъ при видѣ герцога Фридландскаго у стола съ приборами. Валленштейнъ понялъ и усмѣхнулся. Александръ, Помпей, Цезарь вѣрили звѣздамъ, — старый хитренькій чиновникъ не вѣритъ! Нѣтъ людей, недовѣрчивѣе глупцовъ, нѣтъ никого глупѣе скептиковъ.

Цвѣтистая же рѣчь канцлеру не понадобилась. Герцогъ прервалъ его съ первыхъ словъ и чуть было не обнялъ отъ радости. Неужели правда? Неужели его величество надъ нимъ сжалился и всемилостивѣйше освободилъ отъ дѣлъ, во вниманіе къ разстроенному здоровью. Верденбергъ тотчасъ успокоился: слава Господу Богу! Значитъ, звѣзды на этотъ разъ пригодились.

Узнавъ же, что преемникомъ его будетъ графъ Тилли, Валленштейнъ почти утѣшился и вправду: гдѣ старому дураку справиться съ Густавомъ-Адольфомъ! Герцогъ Фридландскій весело сказалъ,

что его величество не могъ сдѣлать лучшаго выбора.

Къ ужину пригласили генераловъ. Ужинъ былъ такой, какого канцлеръ не помнилъ и въ императорскомъ дворцѣ, — оцѣнилъ, хоть страдалъ катарромъ желудка. Потомъ сѣли играть въ эсперансъ, въ три жетона. Партія затянулась, никто не выходилъ въ мертвецы. Канцлеру везло: у другихъ оставалось по одному жетону, а у него два. И вдругъ выбросилъ онъ изъ рожка сразу и туза, и шестерку. Всѣ захохотали.

— Вы безславно умерли, господинъ канцлеръ! — сказалъ, смѣясь, герцогъ.

— Il me reste l'espérance, — отвѣтилъ Верденбергъ, отдавая свои жетоны. Онъ любилъ говорить по-французски.

Послѣ игры канцлеръ простился съ хозяиномъ такъ цвѣтисто, что всѣ гости заслушались, и вышелъ на крыльцо. Передъ крыльцомъ стояла великолѣпная карета, запряженная кровными лошадьми рыжей масти. Пышно одѣтый человѣкъ, снявъ шляпу съ перьями и низко поклонившись гостю, сказалъ торжественно и важно, что его свѣтлость Альбрехтъ, Божьей милостью герцогъ Мекленбургскій, Фридландскій и Саганскій, князь Венденскій, графъ Шверинскій, Ростокскій, Штаргардскій и другихъ земель, главнокомандующій всѣми арміями и флотомъ его императорскаго величества, проситъ его превосходительство господина канцлера принять на память, въ дружескій даръ, коней, карету и все то, что его превосходительство найдетъ въ каретѣ.

И долго еще на обратномъ пути, радуясь подарку, канцлеръ думалъ, что же такое онъ получилъ бы, если бъ привезъ не злую, а добрую вѣсть этому загадочному человѣку.

XII.

Серизье не удалось выѣхать изъ Довилля въ первомъ поѣздѣ; вернулся онъ въ Парижъ поздно вечеромъ. Подъѣзжая къ своему дому, онъ, какъ всегда послѣ отлучки, испытывалъ безпокойное чувство: какія еще будутъ непріятности? Такое ожиданіе, онъ зналъ, отъ непріятностей страхуетъ: онѣ приходятъ неожиданно. Серизье не любилъ возвращаться въ Парижъ до начала большого сезона: по его наблюденіемъ, главныя огорченія, да и общественныя несчастья, какъ міровая война, чаще всего случались именно въ мертвый сезонъ.

Сухо щелкнулъ автоматическій замокъ. Консьержка выглянула изъ завѣшенной стеклянной двери. Узнавъ Серизье, она что-то на себя накинула, вышла на площадку, и стыдливо, таинственнымъ шепотомъ, съ радостной улыбкой, освѣдомилась, хорошо ли онъ отдохнулъ. Серизье поздоровался съ ней за руку, спросилъ, здоровъ ли ея ребенокъ, и все ли благополучно въ домѣ. Оказалось, что ребенокъ здоровъ и что въ домѣ все благополучно. Жюстинъ должна вернуться только послѣзавтра, — мосье это вѣдь ей разрѣшилъ? Мадмуазель Лансель приходила днемъ; она такъ и думала, что мосье пріѣдетъ вечеромъ. Квартира въ полномъ порядкѣ, письма и газеты сложены на письменномъ столѣ въ кабинетѣ мосье. Серизье, нѣсколько успокоенный (хоть консьержка о непріятностяхъ не могла знать), пожелалъ, тоже полушепотомъ, покойной ночи и поднялся наверхъ. Электрическая лампочка, какъ всегда, погасла, когда онъ вступилъ на лѣстницу третьяго этажа; это тоже произвело на него успокоительное дѣйствіе, — такъ было давно знакомо и привычно. Онъ не успѣлъ нажать кнопку, какъ лампочка зажглась: консьержка, изъ

вниманія къ лучшему жильцу дома, оставалась внизу, пока онъ не повернулъ ключа въ дверяхъ своей квартиры.

На письменномъ столѣ лежала груда конвертовъ. Серизье пробѣжалъ письма. Никакихъ непріятностей не оказалось. Напротивъ въ одномъ письмѣ было очень пріятное извѣстіе: большое дѣло, которое онъ велъ въ судѣ и которое могло затянуться, заканчивалось примиреніемъ сторонъ, на предложенной имъ основѣ. Оставалось только составить документъ. Это для Серизье означало заработокъ тысячъ въ двадцать пять. Письменнаго условія, правда, съ кліентомъ не было, — запрещала традиція парижской адвокатуры, казавшаяся ему нелѣпой. Однако былъ твердый словесный уговоръ.

Подъ пресспапье лежали вырѣзки изъ газетъ, — «грязевая ванна». Но Серизье былъ въ такомъ радостномъ настроеніи духа, что даже не заглянулъ въ вырѣзки. Онъ съ усмѣшкой посмотрѣлъ на прессъ-папье, словно говоря невидимымъ противникамъ: «Сдѣлайте одолженіе, друзья мои, мнѣ совершенно все равно!» Снявъ воротникъ, онъ прошелъ въ ванную, зажегъ синенькое пламя надъ трубкой газоваго аппарата, повернулъ кранъ, пламя вспыхнуло по рожкамъ, — все это тоже было такъ привычно, уютно, пріятно. Онъ подумалъ, что на курортѣ хорошо, но дома лучше: ужъ очень благоустроена его парижская квартира. Серизье раздѣлся, вернулся въ кабинетъ за несессеромъ и опять, выдержавъ характеръ, съ торжествующей усмѣшкой поглядѣлъ на коварное прессъ-папье. «Пожалуйста, не стѣсняйтесь, друзья мои»... Принявъ ванну, онъ легъ и мгновенно заснулъ.

Серизье проснулся на слѣдующее утро много позже обычнаго, въ самомъ лучшемъ настроеніи духа: въ переходную минуту отъ сна къ сознанію,

радостно смѣшалось что-то довилльское съ чѣмъ-то парижскимъ. Потомъ сознаніе уточнило: Муся Клервилль, выигранное дѣло. Онъ сладостно потянулся. «Да, дѣло кончено, двадцать пять тысячъ. Надо только написать бумагу»... Серизье не всталъ, а вскочилъ какъ юноша, — несмотря на брюшко, — надѣлъ халатъ и вышелъ въ столовую. На столѣ лежали свѣжій хлѣбъ, масло, газета; все это безшумно приготовила консьержка, заботившаяся о немъ, какъ о родномъ.

Напившись кофе, наскоро пробѣжавъ газету, онъ сѣлъ за письменный столъ. На столѣ все было на мѣстѣ: бумага съ верблюдомъ на розовой обложкѣ блокнота, суживающаяся кверху ручка съ резиновой обкладкой внизу, англійская коробка съ золочеными тупыми перьями. Настольные часы показывали четверть десятаго. Серизье вызвалъ по телефону контору кліента-промышленника. Онъ ждалъ «pas libre», номеръ дали немедленно; все удавалось, — и большое, и малое.

Разговоръ былъ любезный и твердый. Быть можетъ, кліентъ былъ бы и не прочь заплатить Серизье часть гонорара комплиментами; но ему сразу стало ясно, что придется заплатить деньгами, и не двадцать тысячъ, а именно двадцать пять, хоть дѣло до суда не дошло. Кліентъ не торговался и даже предложилъ продать на эту сумму, по номинальной цѣнѣ, паевъ только что основаннаго имъ предпріятія. Серизье вѣжливо отклонилъ предложеніе. Онъ никакъ не думалъ, что его хотятъ обмануть: слишкомъ это было бы мелко для птицы большого полета. Напротивъ, кліентъ, навѣрное, предлагалъ очень выгодное дѣло, искренне желая упрочить добрыя отношенія съ вліятельнымъ человѣкомъ противнаго лагеря, — мало ли что можетъ случиться? Буржуазія становилась все менѣе самоувѣрен-

ной и смѣлой. Но Серизье, человѣкъ безукоризненно щепетильный, не считалъ возможнымъ имѣть съ промышленникомъ какія-бы то ни было дѣла, кромѣ адвокатскихъ. Его политическое положеніе требовало большой осторожности. «Если завтра тамъ вспыхнетъ забастовка, то ихъ газеты поднимутъ вой, я окажусь главнымъ собственникомъ завода, эксплуататоромъ рабочихъ! Нѣтъ, мы это знаемъ»... Все состояніе Серизье было вложено въ государственныя бумаги. Государства были разныя — для уменьшенія риска, — но это были демократическія государства.

Онъ досталъ свою счетную книгу и съ удовольствіемъ вписалъ въ графу доходовъ пятизначную сумму. Между вертикальными столбцами графы было мѣсто только для четырехъ цифръ; первая пріятно выдавалась за черту. Серизье подвелъ итогъ: за двѣ трети года онъ не только не прикоснулся къ доходамъ съ унаслѣдованнаго капитала, но отъ одного заработка, послѣ покрытія всѣхъ расходовъ, отложилъ до сорока тысячъ.

Затѣмъ онъ вынулъ изъ-подъ прессъ-папье вырѣзки, — онѣ стали почти безобидными, такъ было доказано полное къ нимъ презрѣніе. Все же Серизье съ удовлетвореніемъ убѣдился, что и въ вырѣзкахъ ничего непріятнаго не было. По тону статей онъ съ радостью почувствовалъ, какъ выросло, послѣ Люцернской конференціи, его положеніе въ политическомъ мірѣ. Враждебныя газеты теперь то и дѣло называли его вождемъ соціалистовъ. Въ одной статьѣ соціалистическая партія была даже названа «партіей господина Серизье». Это было неточно: партійнымъ вождемъ оставался Шазаль, котораго такая неточность должна была привести въ ярость. Однако, въ ореолѣ Люцернской славы, Серизье себя теперь чувствовалъ какъ писатель, ста-

новящійся при жизни классикомъ, какъ художникъ, картины котораго были бы перевезены изъ Люксембурга въ Лувръ.

Раздался звонокъ, онъ открылъ дверь, появилась секретарша. Они дружески поздоровались. Серизье извинился, что выходитъ къ ней въ халатѣ, и на первую минуту прикрылъ ладонью шею: давно былъ увѣренъ, что секретарша тайно въ него влюблена, и не ошибался. Такъ и теперь онъ прочелъ это на ея лицѣ, при встрѣчѣ послѣ трехнедѣльной разлуки. Мадмуазель Лансель, какъ женщина, для него не существовала, хоть ее нельзя было назвать безобразной. Было ей лѣтъ тридцать, замужъ она не выходила, не имѣла, повидимому, и друга. Въ тѣ рѣдкія минуты, когда у Серизье было время и желаніе заниматься чужой душой, онъ себя спрашивалъ, чѣмъ можетъ внутренно жить мадмуазель Лансель. Партійная работа какъ будто ее увлекала, — однако на сколько-нибудь значительное повышеніе въ партіи секретарша разсчитывать не могла. Она была militante и должна была, очевидно, оставаться въ этомъ званіи до самой смерти. Серизье иногда приходило въ голову, что хорошо было бы выдать замужъ мадмуазель Лансель за какого-нибудь militant. Но подходящаго человѣка у него на примѣтѣ не было; онъ, вдобавокъ, боялся лишиться секретарши, которой очень дорожилъ. «Каждый долженъ самъ находить свою дорогу въ жизни!» — со вздохомъ говорилъ себѣ въ такихъ случаяхъ Серизье. Мадмуазель Лансель никогда на судьбу не жаловалась, была неизмѣнно въ добромъ настроеніи, ничего ни отъ кого не требовала, жила изо дня въ день, какъ живутъ всѣ. Ея стиль былъ: le frais sourire d'une petite Parisienne toujours gaie et toujours courageuse, — такой же стиль, какъ у тысячъ другихъ бѣдныхъ барышень, работающихъ, правда, не въ партіи, а въ ма-

газинахъ, въ банкахъ, въ конторахъ, и тоже понемногу теряющихъ надежду выйти замужъ.

—... Mais c'est vrai, patron! Il y a beau temps que je ne vous ai pas vu comme ça! — весело говорила секретарша.

Фамиліарности между ними не было. При самыхъ добрыхъ отношеніяхъ, мадмуазель Лансель отлично знала и свое мѣсто, и разницу въ ихъ общественномъ положеніи. Она шутливо-оффиціально называла его патрономъ (хоть это было не принято): вначалѣ ея интонація показывала, что слово это употребляется ею въ кавычкахъ; потомъ кавычки отпали, осталось удобное обращеніе: «Monsieur» было непріятно, «maître» не очень годилось, — она была по преимуществу политическая секретарша, — «camarade» и «citoyen» предназначались, разумѣется, лишь для митинговъ.. Серизье обычно никакъ не называлъ секретаршу, но въ особенно добрыя минуты говорилъ «ma petite» или «mon petit», что доставляло мадмуазель Лансель необыкновенное наслажденіе.

Они поговорили о морѣ, затѣмъ перешли къ дѣламъ. Выяснилось, что Серизье такъ и не отвѣтилъ на два письма, которыя мадмуазель Лансель переслала ему въ Довилль и которыя требовали личнаго отвѣта, не на машинкѣ, а отъ руки. — «Какъ же такъ, патронъ? Развѣ вы не умѣете писать письма?» — спросила весело секретарша такимъ тономъ, какимъ на маленькомъ балу въ частномъ домѣ шутливо настроенный хозяинъ могъ бы спросить Анну Павлову: «Развѣ вы не умѣете танцовать вальсъ?» Серизье смущенно улыбался. — «Да, я разлѣнился на морѣ»... — «Надѣюсь, хоть Шазалю вы отвѣтили?» Лицо мадмуазель Лансель стало озабоченнымъ. Она сообщила о послѣднихъ событіяхъ въ партіи. Тонъ секретарши ясно показыалъ, что и она понимаетъ, какъ выросъ престижъ патрона по-

слѣ Люцернской конференціи. Мадмуазель Лансель теперь говорила о Шазалѣ какъ бы даже съ соболѣзнованіемъ.

— Вы пробѣжали мои вырѣзки, патронъ? — вскользь спросила она. — Я принесла вамъ утреннія газеты... Кстати, появилась одна гнусная статья... О Шазалѣ, — поспѣшно добавила мадмуазель Лансель, увидѣвъ, что Серизье слегка измѣнился въ лицѣ. Она протянула ему газету. Въ ней вождя соціалистической партіи ругали не просто (что не составляло бы почти никакой непріятности), а съ пренебреженіемъ и, главное, со ссылкой на давно якобы установившееся о немъ общее мнѣніе, раздѣляемое и его собственными сторонниками. Ссылка на сторонниковъ была неопредѣленная, но должна была поселить подозрѣніе у Шазаля: можетъ быть, и правда? Въ статьѣ говорилось о томъ, что Шазаль давно выжилъ изъ ума, да собственно никогда умомъ и не отличался. На смѣну этому признанному ничтожеству, —писала правая газета, — идутъ новые честолюбцы, впереди всѣхъ, разумѣется, Серизье, имѣвшій въ Люцернѣ такой шумный успѣхъ. «Sous la direction autrement ferme de ce jeune ambitieux, qui est déjà, paraît-il, une des plus pures lumières de l'Internationale rouge, le parti du désordre et de la guerre civile ne manquera pas de donner un vigoureux assaut à tout ce qui fait l'honneur, la grandeur, la force morale de la société française.»

— Какая гадость! — сказалъ Серизье, борясь съ охватившей его радостью. — Какая гадость!

— Они потеряли послѣдніе слѣды совѣсти, — подтвердила секретарша. — Нашъ старикъ будетъ однако разстроенъ этой гнусностью.

— Не думаю. Вы знаете, мы люди обстрѣлянные, бранью насъ не удивишь. Травля — нашъ профессіональный рискъ.

— Есть брань и брань... Боюсь, какъ бы старикъ немного не разсердился и на васъ.

— При чемъ же тутъ я?

— Вы, конечно, ни при чемъ, патронъ, но мы всѣ люди, — сказала, улыбаясь, секретарша.

Серизье не понравилась ея улыбка. Онъ иногда подводилъ мины подъ Шазаля, — вродѣ какъ Расинъ писалъ «Андромаху» на зло Корнелю. Но въ глазахъ рядовыхъ членовъ партіи оба они должны были стоять на недосягаемой высотѣ: Корнель и Расинъ. Лицо у него приняло сосредоточенное выраженіе (Муся въ такихъ случаяхъ говорила, что онъ похожъ на министра-президента se recueillant devant la tombe d'une victime du devoir). Онъ въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ отозвался о Шазалѣ: у этого человѣка огромныя заслуги передъ партіей, передъ рабочимъ классомъ, передъ международнымъ соціализмомъ. «А что до клеветы», — закончилъ Серизье, — «то я всегда думалъ: лучшій урокъ смиренія, — узнать, что за одинъ день говорятъ о тебѣ и враги, и друзья»...

Улыбка на лицѣ у мадмуазель Лансель стерлась. Она почувствовала легкій выговоръ, но оцѣнила благородство патрона и смотрѣла на него съ искреннимъ восторгомъ. Серизье зналъ, что секретарша видитъ въ немъ высшее духовное явленіе; это сознаніе отчасти имъ руководило въ его бесѣдахъ съ ней: держался на должной духовной высотѣ (съ многими товарищами по партіи онъ разговаривалъ совершенно иначе). Давъ косвенный урокъ секретаршѣ, которая заподозрила въ немъ земныя чувства, Серизье перемѣнилъ разговоръ и напомнилъ мадмуазель Лансель, что, кромѣ двухъ недѣль отпуска, полученнаго ею въ іюнѣ, ей теперь полагается еще недѣля.

— Не полагается, но вы, по вашей добротѣ, дѣйствительно мнѣ предложили третью недѣлю, — жи-

во перебила его секретарша. Лицо ея просвѣтлѣло. Она надѣялась, что онъ вспомнитъ о своемъ обѣщаніи; однако ни за что не напомнила бы ему, еслибъ онъ не вспомнилъ.

— Двухъ недѣль отдыха недостаточно послѣ года такой работы! Предстоящій годъ будетъ еще труднѣе. Мнѣ и то жаль, что я не даю вамъ болѣе продолжительнаго отпуска, но вы сами знаете, какъ мнѣ безъ васъ трудно.

— Въ такомъ случаѣ я останусь съ вами, патронъ!

— Объ этомъ не можетъ быть рѣчи! — сказалъ Серизье. Онъ говорилъ теперь съ секретаршей, какъ Наполеонъ могъ говорить съ беззавѣтно преданнымъ сержантомъ старой гвардіи: притворно-строго, но по существу отечески-любовно. — Куда вы поѣдете? На море?

Секретарша потупила глаза. Она тотчасъ безсознательно усвоила тонъ преданнаго сержанта.

— Патронъ, я, можетъ быть, не поѣду никуда. Парижъ, что бы тамъ ни говорили, очарователенъ въ это время года. Ужъ если вы такъ любезны, я просто отдохну дома. Буду ѣздить по окрестностямъ...

— Знаю, знаю! Это значитъ, что у васъ нѣтъ денегъ, — сказалъ Серизье съ улыбкой. — Моя милая, я непремѣнно хочу, чтобы хоть эту недѣлю вы прожили въ хорошихъ условіяхъ. — Онъ вынулъ изъ бумажника пятьсотъ франковъ. — Вы поѣдете на мой счетъ.

— Патронъ, я, право, не знаю, какъ васъ благодарить, — дрогнувшимъ голосомъ сказала мадмуазель Лансель. Эти деньги — очевидно, не авансъ, а подарокъ, — были для нея неожиданностью. Она была тронута чрезвычайно. «Никто другой этого не сдѣлалъ бы или сдѣлалъ бы не такъ»...

— Не благодарите меня и уѣзжайте лучше всего сегодня же. На морѣ теперь чудесно, по крайней мѣрѣ, въ Нормандіи. — Серизье чуть не сказалъ: «въ Довиллѣ», но поправился: странно было бы предлагать самый дорогой курортъ Франціи секретаршѣ, получающей шестьсотъ франковъ въ мѣсяцъ жалованья.

— Но этого слишкомъ много, патронъ! Недѣля на морѣ обойдется мнѣ франковъ въ двѣсти, самое большее.

— Пожалуйста, не жалѣйте моихъ денегъ. Остановитесь въ хорошей гостиницѣ. Я хочу, чтобы вы отдохнули, какъ слѣдуетъ.

— Но даже въ хорошемъ пансіонѣ...

— En voilà assez, mon petit! — строго сказалъ Серизье. Секретарша опустила глаза, замирая отъ счастья.

XIII.

Отпустивъ секретаршу, онъ просмотрѣлъ принесенныя ею газеты. Въ нихъ проходила очередная группа людей, занимавшихъ вниманіе міра. Во французской части этой группы онъ зналъ всѣхъ. Онъ самъ принадлежалъ теперь къ той сотнѣ людей, словами которыхъ газеты живутъ. Въ сущности, у жизни было взято все или почти все. Что же дальше? Министерскій портфель, должность главы правительства, волненіе парламентскихъ кризисовъ? «Je ne suis pas de ceux qui s'incrustent dans leurs fonctions»... «J'ai pris mes responsabilités, à vous de prendre les vôtres!» (бурные продолжительныя рукоплесканія). Та атмосфера цинизма, въ которой невольно жилъ Серизье, его утомляла — когда онъ замѣчалъ ее. Въ эти рѣдкія минуту ему казалось, что онъ могъ бы устроить свою жизнь лучше или, по крайней мѣрѣ, спокойнѣе: да, могъ стать писателемъ, могъ добиться избранія во Французскую Академію. Но развѣ тамъ не то же самое? Членъ Французской Академіи, глава революціонной партіи, — пути ко всему этому были не такъ ужъ различны. Серизье просмотрѣлъ около десяти газетъ. Особенно важныхъ событій не было. Какъ будто подготовлялся финансовый скандалъ, — одна газетка зловѣщимъ тономъ обѣщала его разоблачить, грозя всякими ужасами виновнымъ. Дѣло шло о хищеніяхъ. Имена пока не назывались, но Серизье приблизительно догадывался, о комъ идетъ рѣчь, — газетка все сдѣлала, чтобы догадаться было нетрудно. И по суммѣ хищеній, и по значенію газеты, и по вѣсу обличаемыхъ людей, скандалъ былъ не очень большой, — средній рядовой скандалъ, отъ котораго виновные — или невиновные — люди могли, вѣроятно, откупиться

не слишкомъ крупной суммой. «Возможно, что все выдумано, отъ перваго слова до послѣдняго. Но, можетъ быть, и правда», — думалъ Серизье, какъ думало громадное большинство читателей газетки, отлично знавшихъ ей цѣну и неизмѣнно ее покупавшихъ. Редакторъ этого изданія былъ вполнѣ способенъ на шантажъ. Но обличаемый политическій дѣятель былъ не менѣе способенъ на взятки. — «Кажется, все-таки похоже на правду»...

Серизье брезгливо морщился. Какъ почти всѣ революціонеры, и парламентскіе, и настоящіе, онъ не чувствовалъ никакой любви къ тому, что проповѣдывалъ; въ отличіе отъ большинства революціонеровъ, не чувствовалъ и ненависти къ тому, что обличалъ. Въ практической жизни его правила не имѣли ничего общаго съ тѣмъ, что у нихъ называлось «революціонной этикой». Конечно, собственность была кражей, но къ этому виду кражи они относились неизмѣримо мягче, чѣмъ къ другимъ. Серизье всегда искренно удивлялся тому, что люди могутъ идти на грязныя денежныя дѣла. Правда, онъ былъ богатъ отъ рожденія; если-бъ родился бѣднымъ человѣкомъ, то безупречность досталась бы ему труднѣе, — но на подобныхъ гипотетическихъ мысляхъ у Серизье не было ни времени, ни охоты останавливаться. — Да, какъ будто правда»... — Онъ соображалъ, можетъ ли скандалъ имѣть политическое значеніе. Это зависѣло отъ силъ, которымъ будетъ выгодно раздувать дѣло; само по себѣ оно большого значенія не имѣло: «Commovent homines non res sed de rebus opiniones... Однако, на его положеніи скандалъ отразится во всякомъ случаѣ. Если это правда, то его значеніе понизится на 50 процентовъ; а если клевета, то процентовъ на 25», — думалъ Серизье, любившій опредѣленныя формулы со скептическимъ оттѣнкомъ. — «Какъ все-таки онъ могъ пойти на такое

дѣло? Онъ не богатъ, но вѣдь не голодалъ же! Я считалъ его порядочнымъ человѣкомъ. Очевидно, рѣшилъ сдѣлать въ жизни одну большую гадость, чтобы потомъ имѣть возможность больше никогда не дѣлать маленькихъ. А можетъ быть, связь?» — Въ парламентѣ обычно знали, какія у кого любовныя дѣла, но объ этомъ политическомъ дѣятелѣ Серизье ничего не слышалъ. — «Вѣроятно, связь. Такъ это объясняется въ громадномъ большинствѣ случаевъ». — Онъ вспомнилъ объ одномъ преступникѣ, котораго защищалъ по назначенію суда. Этотъ убійца, совершившій звѣрское преступленіе, цѣликомъ потратилъ похищенные 150 франковъ на подарокъ своей возлюбленой. «Да, вотъ онъ, ихъ хваленый капиталистическій строй. Конечно, деньги — послѣднее рабство исторіи!.. Только соціалистическій строй можетъ положить конецъ всей этой грязи, взяткамъ, хищеніямъ, шантажу».

Эта мысль его поддерживала въ трудныя минуты, когда политическая кухня становилась особенно грязной и противной. «Я не дѣлаю того, что дѣлаютъ другіе, — не дѣлаю и десятой доли! — но, быть можетъ, не все можно оправдать и въ моихъ собственныхъ дѣйствіяхъ», — покаянно, съ нѣкоторымъ умиленіемъ, думалъ Серизье. — «Имъ легко говорить: прямой путь», — онъ разумѣлъ сѣрую массу militants. — «Совершенно прямой путь можетъ привести въ монастырь — или въ ночлежку. Въ политикѣ все относительно... Если-бъ я позволялъ наступать себѣ на ноги, то я и въ партіи не занималъ бы никакого положенія», — неожиданно подумалъ онъ, нѣсколько отклонившись отъ хода своихъ мыслей. — «Тѣ прохвосты говорятъ «честолюбецъ»! Я не ищу власти, она сама придетъ ко мнѣ неизбѣжно, безболѣзненно, волей народа, когда все начнетъ тонуть въ капиталистической грязи.

Старый міръ будетъ сопротивляться, въ его рукахъ все, — армія, полиція, государственный, административный аппаратъ. За нами будетъ только принципъ народной воли. Но этого вполнѣ достаточно!» — Онъ въ душѣ не былъ увѣренъ, что этого вполнѣ достаточно. Теперь думать объ этомъ было рано. «Кажется, Наполеонъ сказалъ, что о будущемъ говорятъ безумцы»... Серизье зналъ (выписывалъ въ записную тетрадь изъ книгъ и газетъ) много изреченій знаменитыхъ государственныхъ людей; были подходящія изреченія на всѣ случаи политической жизни и, въ зависимости отъ надобности, онъ могъ цитировать то «о будущемъ говорятъ безумцы», то «управлять это предвидѣть».

Раздался звонокъ, нѣсколько странный: кто-то чуть надавилъ кнопку, затѣмъ тотчасъ надавилъ во второй разъ сильнѣе. Серизье удивленно направился въ переднюю; объ его возвращеніи въ Парижъ еще не могъ знать никто, кромѣ секретарши и кліента. Онъ отворилъ дверь. На площадкѣ стояла Жюльеттъ Георгеску. Серизье вытаращилъ глаза и опять прикрылъ ладонью шею.

— Мадемуазель Жюльеттъ! Простите меня, я не одѣтъ.

— Я...

— Ничего не случилось?

— Нѣтъ... Мнѣ нужно было васъ видѣть.

— Пожалуйте вотъ въ ту дверь, въ гостиную. Я сейчасъ къ вамъ выйду.

— Ради Бога!..

— Три минуты.

Серизье съ досадой удалился въ спальную. Секретаршу онъ могъ принимать въ халатѣ, въ туфляхъ на босу ногу; принять такъ барышню, съ которой онъ на дняхъ пилъ шампанское въ Довиллѣ, было невозможно. «Чего ей нужно?» — спрашивалъ онъ себя съ недоумѣніемъ. Серизье поспѣшно

снялъ халатъ, натянулъ носки на панталоны пижамы. «Вѣрно, опять разговоръ о томъ, чтобы стать моей помощницей. Но почему такая спѣшка? Вѣдь они, кажется, только сегодня должны были пріѣхать»... Подвязка все не застегивалась; онъ раздраженно сорвалъ ее съ носка, надѣлъ брюки, пиджакъ, и оглянулъ себя въ зеркало; такъ на худой конецъ можно было показаться. Серизье вышелъ въ гостиную. Жюльеттъ, опустивъ голову, стояла у стѣны.

— Мадемуазель Жюльеттъ, я чувствую себя опозореннымъ человѣкомъ, — сказалъ онъ шутливо, подвигая ей кресло. — Вы все-таки, надѣюсь, не думаете, что я встаю въ двѣнадцать часовъ? У меня дурная привычка работать по утрамъ въ халатѣ, когда я никого не жду.

Въ томъ, что она ожидала его почему-то стоя у стѣны, во всей ея позѣ, въ опущенной головѣ, въ блѣдномъ лицѣ было что-то странное и безпокойное.

— Садитесь, пожалуйста.

— Благодарю васъ. — Она сѣла, держась въ креслѣ неестественно прямо.

— Когда вы пріѣхали? Неужели вчера вечеромъ? Тогда мы, очевидно, путешествовали въ одномъ поѣздѣ.

— Нѣтъ, я пріѣхала сегодня... Часа два тому назадъ.

— Надѣюсь, ничего не случилось? — освѣдомился уже съ нѣкоторой тревогой Серизье, садясь противъ нея въ кресло.

— Нѣтъ, не случилось ничего, — медленно произнесла Жюльеттъ.

Все выходило не такъ, какъ она хотѣла, какъ она ждала. Его халатъ былъ первой неожиданностью. Какъ было сказать все это человѣку, который первымъ дѣломъ пошелъ надѣвать брюки? Серизье глядѣлъ на нее съ удивленіемъ. Онъ хотѣлъ было

спросить: «чѣмъ могу служить?» — но почувствовалъ, что это неудобно послѣ ихъ болѣе тѣснаго знакомства въ Довиллѣ.

— Вашъ братъ тоже пріѣхалъ съ вами?

— Да.

— Ваша мама здорова?

— Да, здорова.

Серизье замолчалъ. Удивленіе его все росло.

— Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, ничего не случилось? — повторилъ онъ черезъ минуту.

— Я хотѣла вамъ сказать одну вещь.

— Я васъ слушаю. — Серизье вдругъ почувствовалъ, что у него безъ подвязки начинаетъ спускаться лѣвый носокъ на ногѣ, это могло быть видно. Садясь, онъ механически, какъ всегда, одернулъ брюки у колѣнъ. — Я васъ слушаю, мадмуазель Жюльеттъ, — сказалъ онъ, стараясь поставить ногу такъ, чтобы носка не было видно.

— Я вамъ хотѣла сказать одну вещь... Я знаю, что это глупо... Можетъ быть, гадко... Я хочу остаться у васъ!

— Остаться у меня? — повторилъ Серизье. «Что такое: гадко?» — удивленно подумалъ онъ. — Я знаю, мадмуазель Жюльеттъ, вы хотите у меня работать. Я уже говорилъ вашей мамѣ, что съ удовольствіемъ сдѣлаю все отъ меня зависящее. Хотя долженъ предупредить васъ, что...

— Я говорю не объ этомъ. — Жюльеттъ собрала всѣ силы. — Я была бы счастлива служить вамъ и помощницей, но... Я люблю васъ...

И это вышло худо, совсѣмъ худо: она не «выпалила» этихъ словъ и не «выговорила ихъ едва слышно». Привычка къ спокойной разсудительной рѣчи была въ ней слишкомъ сильна: слова сказались просто, безъ интонаціи, какъ самая обыкновенная фраза, въ ужасномъ противорѣчіи со смысломъ.

Серизье вытаращилъ глаза.

— Вы меня любите? — растерянно повторилъ онъ. Носокъ на его ногѣ опустился до туфли, открывъ волосатую ногу.

— Я хочу быть вашей любовницей.

Эти слова Жюльеттъ приготовила заранѣе. Она приготовила заранѣе многое, — теперь все забыла, кромѣ этихъ короткихъ страшныхъ словъ, — но они тоже прозвучали такъ обнаженно, просто, грубо. «Вышелъ фарсъ», — промелькнуло у нея въ головѣ.

— Хочу быть вашей любовницей, — сказала она снова, съ отчаяньемъ.

— Вы хотите быть... Вы шутите, мадмуазель, — наивно произнесъ Серизье.

Въ ту же секунду онъ пришелъ въ себя. «Вотъ оно что: экзальтированная дѣвчонка! Такъ она въ меня влюблена! И она!..» — На него нахлынула радость. Наивность сразу соскочила съ Серизье. Съ нимъ никогда подобныхъ происшествій не было, но экзальтированныхъ дѣвчонокъ онъ видалъ на сценѣ, какъ видалъ и сходныя положенія. Изъ глубины подсознанія Серизье выплылъ первый любовникъ, высокаго роста, съ сильными увѣренными движеніями, съ мощнымъ груднымъ голосомъ. Онъ спокойно, не торопясь, разсматривалъ Жюльеттъ. Носокъ на лѣвой ногѣ пересталъ его безпокоить. «Да, она недурна собой. Какъ это я ея не замѣчалъ? Муся Клервилль гораздо лучше, но»... Серизье давно не испытывалъ такого волненія. «Да, сейчасъ... Здѣсь? Въ спальной не убрана постель».

Онъ взялъ ее за руку. Независимо отъ волненія, жесты его, взглядъ, интонація голоса почти всецѣло опредѣлялись полусознательными воспоминаніями о томъ, что онъ гдѣ-то когда-то видѣлъ на сценѣ. — «Дитя мое», — началъ онъ, и это «дитя мое» было изъ какой-то пьесы или книги. — «А вѣдь ей въ самомъ дѣлѣ нѣтъ двадцати лѣтъ!» — вдругъ

подумалъ онъ. — «Конечно, несовершеннолѣтняя и, должно быть, дѣвушка».

Эта мысль немного его охладила. Онъ хотѣлъ сказать: «Дитя мое, какой лучъ свѣта, какое счастье вы внесли въ мою жизнь!» — и обнять ее. Вмѣсто этого Серизье поцѣловалъ Жюльеттъ руку — выше перчатки — и сказалъ: «Дитя мое, вы безконечно меня тронули!» Жюльеттъ заговорила, объясняя свой поступокъ, свои чувства. Но слова, которыя дома казались безразсудно-красивыми, здѣсь звучали плоско, глупо, безстыдно. Съ ростущимъ отчаяніемъ она чувствовала, что все пропало, что она тонетъ. Жюльеттъ остановилась, съ ужасомъ на него глядя. Серизье представились многочисленныя непріятности, которыя неизбѣжно должно было повлечь то, что онъ впередъ называлъ минутой увлеченья. — «Имѣть дѣло съ Леони! «Вы обезчестили мою дочь! Вы обязаны жениться!» Она не очень хороша собой. Муся Клервилль гораздо лучше, да и Люси не хуже... Нѣтъ, нѣтъ, я не могу связать судьбу ребенка съ бурной жизнью соціалистическаго агитатора!..» Эта отчетливая формула сразу все рѣшила. — «Связаться съ Леони и съ ея салономъ! Черезъ недѣлю объ этомъ напишутъ въ газетахъ: я окажусь содержателемъ салона Леони или на его содержаніи!..» — Серизье совсѣмъ остылъ. Сознаніе перевело: «она мнѣ не нравится». — «Дитя мое», — сказалъ онъ снова, проникновеннымъ голосомъ. Жюльеттъ вздрогнула, опустила глаза, скользнула взглядомъ по его волосатой ногѣ и снова подняла голову. — «Дитя мое, вы не представляете себѣ, какъ меня тронулъ вашъ безразсудный поступокъ!»

Онъ говорилъ минуты три, совершенно овладѣвъ собой: связная гладкая рѣчь успокаивала его въ самыхъ трудныхъ случаяхъ жизни. Серизье и теперь говорилъ какъ первый любовникъ, но такъ, какъ можетъ говорить съ экзальтированной дѣвчонкой

первый любовникъ, страстно влюбленный въ другую женщину. Онъ сказалъ все то, что могъ бы сказать экзальтированной дѣвчонкѣ большой человѣкъ рѣдкой порядочности.

... — Я увѣренъ, вы скоро забудете это трогательное дѣтское чувство. Мой долгъ, забота о вашей молодой жизни, о вашихъ интересахъ заставляетъ меня сказать вамъ это,—произнесъ онъ проникновеннымъ тономъ, такъ, какъ, случалось, на митингахъ предостерегалъ рабочихъ отъ всеобщей забастовки, въ принципѣ вполнѣ законной, но сейчасъ неподходящей и опасной: надо имѣть мужество говорить пролетаріату правду. Серизье вдругъ опять вспомнилъ о носкѣ. Улучивъ минуту — Жюльеттъ мертвымъ взглядомъ смотрѣла на стѣну, — онъ наклонился и быстро подтянулъ носокъ.

Жюльеттъ встала.

— Простите меня...

— Не мнѣ васъ прощать, — еще болѣе глубокимъ, мягкимъ, проникающимъ въ душу голосомъ произнесъ Серизье. — Я долженъ отъ всей души благодарить васъ за... — Онъ не сразу придумалъ, за что именно слѣдуетъ благодарить Жюльеттъ, и кончилъ: «за этотъ лучъ свѣта», — теперь можно было сказать «лучъ свѣта», но въ другомъ смыслѣ и съ совершенно другой интонаціей. Жюльеттъ быстро направилась въ переднюю.

XIV.

Патенты офицеровъ, наборныя свидѣтельства солдатъ были давно провѣрены. Но полка синихъ драгунъ еще не было. Воины держались по націямъ: баварцы съ баварцами, поляки съ поляками, испанцы съ испанцами; были и хорваты, и венгры, и московиты, уведеные въ неволю турками и бѣжавшіе или выкупленные изъ плѣна. О прошломъ, о родинѣ, даже о вѣрѣ спрашивать никого не полагалось. Ежедневно палатки обходили вербовщики и вели съ драгунами бесѣду. Говорили, впрочемъ, лишь они сами и все объ одномъ предметѣ: о графѣ Тзеркласѣ Тилли, о томъ, какой онъ великій, мудрый, справедливый человѣкъ, и какая честь служить подъ его начальствомъ. Въ первый разъ это удивило Деверу, на второй его раздражило, но съ десятаго раза онъ повѣрилъ. Служилъ онъ уже не первый годъ, и нигдѣ такого обычая не было. Можетъ, графъ Тзеркласъ Тилли и въ самомъ дѣлѣ на другихъ вождей ни въ чемъ не походилъ, если о немъ говорятъ такъ много?

Плату же выдавали исправно, кормили хорошо, а женщинъ при арміи было тысячъ пятнадцать, не меньше. Нельзя было пожаловаться и на одежду: Тилли не любилъ новшества, — однообразныхъ мундировъ. Но одѣвалъ своихъ солдатъ отлично, въ одежды, шитыя серебромъ и золотомъ; на рукавахъ у всѣхъ была бѣлая повязка, чтобы въ бою могли отличать своихъ отъ непріятеля. Полка же все не было: говорили, что спѣшить некуда, и объясняли воинамъ, какое выпало Германіи счастье, что есть у нея графъ Тзеркласъ Тилли. Ходили слухи о предстоящемъ походѣ на Магдебургъ — гнѣздо сторонниковъ Лютера. Потомъ стали поговаривать и о томъ, что на сѣверѣ высадился съ нема-

лой арміей шведскій король Густавъ-Адольфъ, — но бѣды въ этомъ никакой нѣтъ: Тилли живо ему укажетъ дорогу на родину. И, наконецъ, вскорѣ послѣ высадки шведскаго короля, объявили драгунамъ, что полкъ будетъ основанъ на слѣдующій день, въ шесть часовъ утра, а потомъ состоится большой парадъ, въ присутствіи самого императора.

Синіе драгуны, числомъ до двухъ тысячъ, выстроились въ полѣ позади вбитаго въ землю высокаго древка, у котораго стоялъ знаменосецъ, семи футовъ ростомъ. Не слышно было ни шутокъ, ни разговоровъ, — не каждый день записываешься въ полкъ, а что ждетъ тебя въ немъ, неизвѣстно! Ровно въ шесть часовъ заиграла музыка, и на регенсбургской дорогѣ показался отрядъ офицеровъ. Впереди ѣхалъ, на сѣрой въ яблокахъ лошади, старикъ въ зеленомъ кафтанѣ. Съ перваго взгляда, Деверу съ волненіемъ призналъ въ немъ графа Тзеркласа Тилли. Видъ у него былъ скорѣе невзрачный, — не то, что у герцога Фридландскаго. Старикъ подъѣхалъ къ древку, оглядѣлъ драгунъ и сдѣлалъ знакъ рукой, — музыка тотчасъ перестала играть.

Графъ Тилли заговорилъ, — онъ умѣлъ говорить съ солдатами. Объяснилъ имъ, какая честь выпала на ихъ долю, поздравилъ, выразилъ надежду, что изъ всѣхъ его полковъ лучшимъ будутъ синіе драгуны. И только онъ сказалъ эти слова, какъ забили барабаны, знаменосецъ что-то развернулъ, дернулъ веревку, и на древко медленно поднялось синее знамя, — по его цвѣту и назывался полкъ.

Сердце у Деверу дрогнуло. И знамени нигдѣ такъ не поднимали, какъ у графа Тилли. Въ оранжевомъ полку, гдѣ онъ прежде служилъ, все было просто, буднично, некрасиво, — полкъ этотъ былъ въ прошломъ году безславно разбитъ. «Можетъ, и вправду, вся моя жизнь до сихъ поръ была ни къ чему?»,

— подумалъ онъ, рѣшивъ никому никогда о своей прошлой жизни не разсказывать, и нехитрой душою почувствовалъ, что, начиная съ этого дня, будетъ служить не ради платы, не отъ бездѣлья, а за совѣсть, вѣрой и правдой. И тотчасъ ему стало легко, какъ бываетъ легко всякому, надъ кѣмъ есть твердая власть любимаго вождя. Онъ самъ удивлялся, что могъ прежде служить другимъ людямъ, и еще больше тому, что недавно, — правда, лишь на мгновеніе — увлекъ его душу герцогъ Фридландскій, — только что, по заслугамъ, немилостиво уволенный отъ должности императоромъ. И ужъ совсѣмъ странно, и смѣшно, и совѣстно казалось ему, что въ іюнѣ мѣсяцѣ понесла его нелегкая къ какимъ-то розенкрейцерамъ, и что онъ цѣлый вечеръ слушалъ ерунду, которую несли болтливые лѣкари, хилые ремесленники, неслужащіе дворяне. Напрасно соблазнилъ его тотъ старый англичанинъ, намекавшій, что имъ извѣстны великія тайны. Ничего имъ, навѣрное, не было извѣстно, ибо, если бъ знали они секретъ изготовленія золота и элексира вѣчной юности, то иначе одѣвались бы, не имѣли бы ни лысинъ, ни морщинъ, и говорили бы другъ съ другомъ о предметахъ болѣе занимательныхъ.

Дальнѣйшее же проходило передъ Деверу, какъ въ сказкѣ: императоръ въ золотой каретѣ, непобѣдимый графъ Тилли верхомъ на сѣромъ въ яблокахъ конѣ, музыка, барабаны, пальба. Потомъ былъ пиръ. И въ снѣ послѣ пира больше ничего не было, кромѣ новой жизни, полка синихъ драгунъ и стараго вождя въ зеленомъ кафтанѣ.

XV.

Большинство мелодій этой оперетки было знакомо Витѣ; но онъ не зналъ, что взяты эти мелодіи изъ нея, и принималъ ихъ съ удовольствіемъ, какъ неожиданно встрѣченныхъ старый пріятелей. «Конечно, забавная вещь. Но каковъ, по вашему, ея тонъ?» — спрашивалъ Витя Мишеля. — «То-есть какъ тонъ?» — «Что вы могли бы сказать о человѣкѣ, написавшемъ эту оперетку, объ его міровоззрѣніи?» — «По совѣсти, меня мало интересуетъ міровоззрѣніе опереточныхъ композиторовъ». — «Я сказалъ бы, что онъ такъ понимаетъ жизнь: все чудесно, всѣ живутъ очень весело, у всѣхъ есть деньги, всѣ влюбляются, всѣ имѣютъ успѣхъ въ любви, кромѣ развѣ глупыхъ выжившихъ изъ ума старичковъ, да и тѣмъ собственно тоже довольно весело, хоть не такъ весело, какъ другимъ: въ концѣ дѣйствія поютъ вѣдь и старички». — «Ну, и что же?» — «Ничего, конечно... Добавлю, что въ каждомъ дѣйствіи всѣ пьютъ шампанское. Все-таки, какъ можно такъ грубо лгать на жизнь?» — «Во-первыхъ, въ жизни есть и это, многіе люди именно такъ живутъ, не мы съ вами, конечно. А во-вторыхъ, кто-же, чудакъ вы этакій, ищетъ правды въ опереткѣ! Все это ваша русская манера: философствовать по каждому удобному и неудобному случаю», — сказалъ рѣшительно Мишель. Онъ былъ очень доволенъ опереткой; какъ всѣ люди, не безнадежно лишенные слуха, но и не музыкальные, онъ любилъ в с я к у ю музыку. — «Нѣтъ, я въ искусствѣ требую полной правды. Вотъ, въ «Урокѣ анатоміи» Рембрандта отъ трупа чуть только не идетъ трупный запахъ. Это я понимаю». — «Такъ-то Рембрандтъ! Русская манера!» — повторилъ Мишель.

«Собственно, это общее мѣсто невѣрно», — подумалъ Витя. — «Мишель гдѣ-то слышалъ и повторяетъ. Но и у Достоевскаго неправда, будто русскіе мальчики обычно разговариваютъ другъ съ другомъ о Богѣ и о безсмертіи души, и будто, если русскому мальчику дать карту звѣзднаго неба, то онъ на слѣдующій день вернетъ ее исправленной. Я русскій, а почти никогда о Богѣ съ товарищами не говорилъ. А ужъ карту звѣзднаго неба и не подумалъ бы исправлять: напротивъ, всегда благоговѣлъ передъ чужой ученостью... А вдругъ я въ самомъ дѣлѣ стану писателемъ?» — съ наслажденіемъ вернулся онъ къ мысли, которая не покидала его весь вечеръ. — «Тогда не забыть вставить въ книгу и про Рембрандта, и про Достоевскаго».

Заигралъ оркестръ. Актеръ, переходившій отъ разговора къ пѣнію, повернулся лицомъ къ публикѣ и съ веселой улыбкой потаптывался съ ноги на ногу, ожидая дирижерскаго сигнала. Дирижеръ изогнулся и стремительно подалъ знакъ. Актеръ затянулъ куплеты, все такъ же изображая на лицѣ крайнее веселье. — «Говорятъ, революція въ Венгріи началась послѣ исполненія Берліозовскаго марша. Венгры бросились на баррикады», — сказалъ Витя, — «интересно, куда можно броситься послѣ этихъ куплетовъ?» — «Именно туда, куда мы съ вами и собираемся броситься сегодня ночью». — «Да, правда»... — «Но, если я стану писателемъ, то что же мнѣ писать, гдѣ печататься?..»

Первый комикъ заливался смѣхомъ, хлопалъ другихъ актеровъ по животу, прыгалъ на столъ, падалъ съ хохотомъ въ кресло, дрыгалъ ногами. «Можетъ быть, я тоньше другихъ людей, если меня это нисколько не смѣшитъ. Глупая пьеса, но какъ чудесенъ этотъ французскій языкъ, когда о н и говорятъ! По одному слову отличаешь отъ нашего выговора, хоть мы и думаемъ, что хорошо гово-

римъ по французски. Мишель тоже хохочетъ. Онъ воображаетъ себя призваннымъ вождемъ людей... Я вижу его насквозь, мнѣ дана отъ Бога наблюдательность. Я не такъ уменъ, какъ Браунъ, и знаю очень мало. Но я умнѣе Мишеля. Да, надо, надо стать писателемъ!.. Что скажетъ Муся, когда прочтетъ мой романъ? Я выпущу его подъ псевдонимомъ...»

Третье дѣйствіе подходило къ концу. Обманутый старикъ изъ пустой бутылки налилъ шампанскаго обманувшей его женщинѣ и ея любовнику, затѣмъ всѣ трое выстроились съ пустыми стаканами въ рукахъ и запѣли заключительные куплеты. Въ ложахъ мужчины, стоя, помогали дамамъ одѣваться. — «Для лѣтняго спектакля очень недурно», — сказалъ Мишель, апплодируя актерамъ. — «Публика, вѣрно, провинціальная?» — «Да, это вамъ не Довилль... Но надо же было намъ гдѣ-нибудь посидѣть до двѣнадцати. Такъ какъ же, идемъ?» — «Я думаю, да? Пойдемъ въ самомъ дѣлѣ», — столь же небрежно отвѣтилъ, замирая, Витя. — «Я васъ предупредилъ: денегъ у меня нѣтъ. Я могу истратить не болѣе сорока франковъ». — «Я заплачу за все». — «Я хочу сказать, что у меня сейчасъ нѣтъ, я взялъ въ обрѣзъ. Разумѣется, какъ только maman пріѣдетъ, я верну вамъ свою долю». — Мишель въ самомъ дѣлѣ не любилъ, чтобы за него платили другіе.

Они вернулись домой въ четвертомъ часу ночи. Ключъ былъ у Вити. Когда онъ отворилъ дверь, ему показалось, что на полу бокового коридора исчезла полоса свѣта; въ этотъ коридоръ выходила комната Жюльеттъ. «Неужели она еще не спитъ? Но зачѣмъ же было тушить свѣтъ при нашемъ появленіи. Нѣтъ, вѣрно, мнѣ такъ показалось», — подумалъ онъ. Въ квартирѣ было совершенно тихо.

Противный запахъ краски и нафталина точно еще усилился.

Они на цыпочкахъ прошли въ столовую. На столѣ въ бумажкахъ лежала провизія, купленная днемъ Витей. Мишель только на него посмотрѣлъ. — «Экій лѣнтяй», — подумалъ онъ, морщась. — Въ такую жару оставилъ все на столѣ, да еще безъ тарелокъ!..»

— Очень кстати, что можно закусить, — сказалъ онъ. — Я обычно не ужинаю, это нездорово. Но сегодня я проголодался, вы вѣрно тоже. Странно, что Жюльеттъ не убрала все въ garde-manger.

— Я забылъ убрать. Я не такой хозяйственный, какъ вы оба, — разсѣянно отвѣтилъ Витя. Онъ думалъ о другомъ, весь полный, пресыщенный впечатлѣніями, грустью, стыдомъ, гордостью, радостными укорами совѣсти.

— О, да мы люди аккуратные, въ этомъ мы съ сестрой сходимся. Такъ воспитаны, — сказалъ Мишель, доставая изъ буфета тарелки, ножи, вилки. Засаленныя бумажки тотчасъ исчезли. — Ветчина... Колбаса... Сыръ... Такъ. Все, что нужно для человѣческаго счастья. А хлѣбъ?

— Хлѣба я не купилъ. Вы мнѣ не сказали.

Мишель качалъ головой, глядя на него съ укоромъ и жалостью.

— Какой вы безтолковый, мосье Викторъ!.. Чтожъ, тѣмъ хуже: будемъ ѣсть безъ хлѣба. А это что? — онъ взялъ со стола сложенную тонкую бумажку. — Верональ. Развѣ вы плохо спите?.. Послушайте, какъ вы насчетъ винца?

— Не много ли? Тамъ пили шампанское.

— То-есть, это я пилъ и онѣ. Вы не пили.

— Мнѣ было не до вина, — сознался Витя. Мишель засмѣялся. — Пожалуй, если есть вино, я готовъ.

— Настоящаго погреба у насъ нѣтъ, но буты-

локъ десять недурного вина всегда есть. — Онъ отворилъ дверцы второго, маленькаго буфета; видно, хорошо зналъ, гдѣ что находится въ ихъ квартирѣ. — Graves. Нѣтъ, бѣлаго я теплымъ пить не стану... Moulin-à-vent. Какъ вы къ нему относитесь?

— Сочувственно.

— Вотъ и отлично. — Мишель досталъ пробочникъ и очень ловко откупорилъ бутылку. — Ваше здоровье, мосье Викторъ... Можно васъ называть просто Викторъ?

— Разумѣется, можно.

— Ваше здоровье, Викторъ, хоть вы на рѣдкость безтолковы. — Мишель былъ чуть навеселѣ и въ самомъ лучшемъ настроеніи духа. Онъ жадно ѣлъ, болталъ безъ умолку, гораздо откровеннѣе, чѣмъ обычно, и, не переставая, пилилъ Витю за то, что онъ не купилъ хлѣба, за то, что онъ баба и не знаетъ жизни. «Еще нѣсколько уроковъ, и я буду ее знать», — подумалъ Витя. — Ветчина отличная, — говорилъ Мишель, — и вино тоже недурное. Въ графинѣ есть коньякъ, но его я вамъ не рекомендую. Нашъ метръ-д'отель, Альберъ, систематически пилъ коньякъ изъ графина и доливалъ водой.

— У васъ есть метръ-д'отель?

— Былъ. Его разсчитали, когда дѣла стали хуже. Я былъ этому очень радъ... Не тому радъ, что дѣла пошли хуже, а тому, что разсчитали метръ-д'отеля. Во-первыхъ, только maman могла держать завѣдомаго вора, а, во-вторыхъ, къ чему намъ метръ-д'отель? Состояніе у насъ крошечное. Maman его временно прибрала къ рукамъ... Вамъ не нравится вино?

— Нѣтъ, вино отличное, — отвѣтилъ лѣниво Витя. Онъ думалъ, что Мишель отъ всего — отъ оперетки, отъ вина, отъ женщинъ, отъ жизни — получаетъ въ десять разъ больше удовольствія, чѣмъ онъ. — Ваше здоровье!

— Въ общемъ, вы довольны вечеромъ? Не скучали?

— Не притворяйтесь, Мишель: «скучали» самое неподходящее слово, вы это отлично знаете.

Мишель опять весело засмѣялся.

— Вы правы. — Онъ налилъ еще вина въ стаканы. — Женщины очень ко мнѣ лѣзутъ, но я знаю имъ цѣну. Всѣ онѣ одинаковыя: и герцогини, и наши сегодняшнія. Моя, кстати, была гораздо лучше вашей!

— Я не нахожу.

— Ужъ вы мнѣ повѣрьте! Я это дѣло знаю. И тутъ вы сплоховали!

— Послушайте, Мишель, а мы не заболѣемъ?

— Ни въ какомъ случаѣ! — увѣренно отвѣтилъ Мишель и далъ техническія разъясненія. — А заболѣете, такъ будете лѣчиться. Нельзя заранѣе отравлять себѣ существованіе.

— Въ этомъ вы правы. Это главное несчастье. Я недавно научился бриться: пока боялся бритвы, ничего не выходило. Такова и жизнь.

— Я во всемъ правъ, но не умѣю говорить такъ образно, какъ вы. Сыръ отличный... Два семьдесятъ пять? Неужели три двадцать? И здѣсь переплатилъ! Скажите, другъ мой, зачѣмъ вы заказали ту третью бутылку шампанскаго? Можно было отлично отдѣлаться двумя.

— Не я спросилъ. Онѣ сами потребовали.

— Еще бы онѣ не требовали! — Мишель смотрѣлъ на Витю съ благодушнымъ пренебреженіемъ, видимо ни въ грошъ его не ставя. Это стало у него привычкой: все, что дѣлалъ Витя, Мишель тотчасъ объявлялъ верхомъ непрактичности. — Давайте теперь считаться.

— Потомъ сочтемся, не къ спѣху. «Никогда не откладывай на завтра того, что можно отложить на послѣзавтра».

— Эта вашъ жизненный девизъ? Нѣтъ, нѣтъ, сегодня! — Мишель вынулъ карандашъ и сталъ подсчитывать на валявшейся тонкой бумажкѣ отъ вероналя. — За автомобиль заплатилъ я, двѣнадцать франковъ, такъ что шесть скинуть... Я вамъ долженъ 104 франка.

— Однако!.. Неужели мы истратили больше двухсотъ?

— А вы думали? Что? Большая брешь въ вашемъ бюджетѣ?

— Да, — кратко отвѣтилъ Витя. Онъ сразу пришелъ въ дурное настроеніе. «Хорошъ бюджетъ — деньги отъ Муси!.. Мишель хочетъ знать, сколько я отъ нея получаю. И, конечно, думаетъ, что это гадко: жить на чужія деньги и тратить по сто франковъ въ ночь на развратъ. Въ самомъ дѣлѣ, это очень гадко! Да, нашелъ, чѣмъ гордиться!..»

Въ коридорѣ послышался шорохъ. Мишель поспѣшно всталъ и отворилъ дверь.

— Жюльеттъ, это ты? Ты не спишь!

— Дай, пожалуйста, мнѣ стаканъ, Мишель. Мнѣ хочется пить.

— Хочешь вина? Зайди, ты въ пеньюарѣ отлично можешь ему показаться.

— Нѣтъ, я налью воды изъ-подъ крана... Впрочемъ, дай вина. — Она подошла къ двери, оставаясь въ неосвѣщенномъ коридорѣ.

— Доброй ночи, мадмуазель Жюльеттъ, — сказалъ Витя. Надѣюсь, это не мы васъ разбудили?

Жюльеттъ ничего не отвѣтила. Мишель протянулъ ей стаканъ съ виномъ.

— Ты здорова ли?

— Здорова... Спокойной ночи... Мишель, который часъ?

— Три часа. Что это у тебя такой странный видъ? Ты бы, знаешь, закрыла лицо руками, какъ

преступникъ изъ общества, проходя передъ газетными фотографами.

— У меня болитъ голова... Спокойной ночи. Не пей такъ много. Спокойной ночи, Мишель!

— Спокойной ночи, — проворчалъ Мишель съ досадой. Онъ вернулся къ столу.

— Странная дѣвушка, моя сестра, — сказалъ онъ, наливая себѣ еще вина, какъ бы наперекоръ совѣту Жюльеттъ.

— Она на меня не сердится?

— За что?

— Не знаю. Быть можетъ, за то, что мы такъ поздно вернулись.

— Только не хватало бы, чтобы я терпѣлъ ея контроль! Достаточно того, что я не слѣжу за ней.

— Она ничего худого, кажется, не дѣлаетъ.

— О нѣтъ! Жюльеттъ всю свою жизнь построили на логикѣ. Она самая разсудительная женщина въ мірѣ. Именно поэтому она не имѣетъ у мужчинъ успѣха... А въ самомъ дѣлѣ, пора спать, — сказалъ онъ, потягиваясь. — Я отлично сплю послѣ вина. Но недолго, часовъ пять, а мнѣ нужно ровно восемь часовъ сна.

— Спокойной ночи... Такъ не заболѣемъ?

— Какія глупости!.. Вы посмотрѣли, у васъ есть все, что нужно? Одѣяло? Подушка?

— Благодарю васъ. Вотъ читать нечего. Дайте мнѣ какую-нибудь книгу, — зѣвая сказалъ Витя.

— У меня книги больше политическія. Вѣдь вамъ романъ?

— Что хотите... Какую это книгу такъ хвалилъ тогда въ казино Серизье?

— Не интересовался. Романовъ у меня нѣтъ, а книгу, которую хвалилъ Серизье, я буду читать послѣдней.

— Вы очень его не любите? — небрежно спросилъ Витя.

— Терпѣть не могу.

— Потому, что онъ соціалистъ?

— И поэтому, и по другимъ причинамъ. А вы его любите?

— Цѣню.

— Я забылъ: вѣдь вы демократъ. Можно ли васъ спросить: пошли бы вы на смерть ради Серизье?

— Ну, на смерть! Я не увѣренъ, есть ли такіе идеи или люди, ради которыхъ вы пойдете на смерть.

— Это другой разговоръ! Нѣтъ, сознайтесь, у вашей Муси отвратительный вкусъ.

— У Муси? Почему у Муси?

— Полноте прикидываться, — сказалъ Мишель, искоса на него взглянувъ съ порога. — Вы замѣтили, гдѣ въ коридорѣ выключатель?

— Да, замѣтилъ. Въ чемъ прикидываться?

— Точно вы не знаете, что она любовница Серизье... Такъ не забудьте же потушить въ столовой и въ коридорѣ. Спокойной ночи, мой другъ.

XVI.

Сонъ не приходилъ. Сказанное Мишелемъ сливалось съ впечатлѣніями ночи, съ головной болью, съ тяжелымъ запахомъ краски и нафталина въ общее чувство отвращенія отъ всего на свѣтѣ. «Да, теперь мнѣ все — все равно», — думалъ Витя. — «Моральныхъ преградъ больше нѣтъ. Покончить съ собой не жалко, убить — не грѣшно... Все могу сдѣлать. Я сейчасъ готовый преступникъ. Но и всѣ люди, вѣрно, такіе же. Очень мало нужно самому обыкновенному человѣку, чтобы перейти эту грань»...

Въ столовой онъ выдержалъ характеръ. На слова Мишеля «Точно вы не знаете, что она любовница Серизье?» Витя равнодушнымъ, не дрогнувшимъ голосомъ отвѣтилъ: «Полноте, какая ерунда!..» Мишель саркастически засмѣялся. — «Собственно, почемъ вы знаете?..» Не получивъ отвѣта (молчаніе Мишеля было необыкновенно значительно), Витя небрежно добавилъ: «Обо всѣхъ вѣдь говорятъ гадости»... — «Да, да, конечно, конечно!» — сказалъ Мишель подчеркнуто-уступчивымъ тономъ. Такъ семьѣ летчика, пропавшаго въ морѣ безъ вѣсти двѣ недѣли назадъ, близкіе говорятъ, что въ самомъ дѣлѣ, онъ вѣрно опустился гдѣ-нибудь на необитаемомъ островѣ. — «А впрочемъ!» — произнесъ Витя и потянулся, — «мнѣ-то что?.. Эхъ, спать хочу»... «Что потянулся, это отлично, но не нужно было говорить: «спать хочу»... Кажется, я какъ разъ до э т о г о сказалъ, что не засну, и просилъ дать мнѣ книгу. А впрочемъ, не все ли равно? И если поблѣднѣлъ, тоже все равно, хотя бы онъ и замѣтилъ»...

Затѣмъ онъ остался одинъ. Витя и себѣ сначала попробовалъ сказать: «мнѣ-то что?» Но это не вы-

шло. У него рыданія подступили къ горлу. Онъ раздѣлся и легъ въ постель. Ему пришло въ голову, что до этой ночи онъ просто никогда не имѣлъ времени или, вѣрнѣе, случая подумать о себѣ, о своей жизни, о жизни вообще. «Можетъ быть, и у другихъ людей то же самое? Многіе вѣрно, умираютъ, такъ и не успѣвъ о себѣ подумать правдиво, по настоящему»... Онъ долго разбирался въ своихъ чувствахъ къ Мусѣ. «Да, конечно, влюбился въ первый же день, когда ее увидѣлъ. Но въ Берлинѣ я думалъ о ней гораздо меньше. Одно время почти совсѣмъ не думалъ, мнѣ нравилась фрекенъ Дженни. То было спрятано на днѣ души. Въ Довиллѣ моя страсть вспыхнула съ новой силой. Но еслибъ я опять уѣхалъ, если-бъ зажилъ другой жизнью, быть можетъ, я забылъ бы о Мусѣ опять, — не черезъ недѣлю, но черезъ годъ, черезъ два. И потомъ, перенесъ же я ея бракъ! Въ сущности, не все ли равно, съ кѣмъ она живетъ, если не со мной: съ мужемъ или съ любовникомъ», — нарочно самыми грубыми словами говорилъ Витя.

Онъ себѣ представлялъ, гдѣ Муся можетъ встрѣчаться съ Серизье. «Вѣрно, въ гарсоньеркѣ. У него достаточно денегъ, онъ, должно быть, имѣетъ для всякихъ такихъ дѣлъ постоянную гарсоньерку», — Витя съ особенной радостью повторялъ мысленно это пошленькое и по звуку слово. Происходившее, по его мнѣнію, въ гарсоньеркѣ онъ воображалъ съ полной наглядностью, въ картинахъ прошедшей ночи (сопоставленіе это своей грубостью было мучительно-пріятно). «А въ Довиллѣ она, вѣрно, приходила къ нему въ гостиницу, — когда говорила намъ, что идетъ играть. Такъ было и въ тотъ день, когда она пришла на поло... «Раздѣвать женщину надо медленно», — вспомнились ему слова Мишеля. Чтобы совершенно вымазать Мусю своимъ цинизмомъ, Витя отнесся къ дѣлу хлад-

покровно и объективно: «Если-бъ, это въ той же гарсоньеркѣ было у нея со мной, я смотрѣлъ бы на дѣло иначе. Серизье ничѣмъ не хуже меня, только то, что онъ богатъ. И, разумѣется, я ему завидую, что у него есть деньги, что у него есть гарсоньерка. Конечно, готтентотская мораль. Весь міръ состоитъ изъ готтентотовъ»... И Витя долго себѣ представлялъ, что сдѣлалъ бы съ Мусей, если-бъ она оказалась въ гарсоньеркѣ, въ полной его власти.

Потомъ онъ вдругъ, со злорадствомъ, вспомнилъ о Клервиллѣ. «Собственно, онъ здѣсь наиболѣе заинтересованное лицо! Знаетъ ли онъ? Нѣтъ, конечно, не можетъ знать: мужья узнаютъ послѣдними. Но нужно, нужно, чтобы онъ узналъ»... Витя вдругъ подумалъ объ анонимномъ письмѣ. «Что--жъ, Лермонтовъ вѣдь писалъ анонимныя письма. Страсть все оправдываетъ». Онъ долго соображалъ, что сдѣлалъ бы Клервилль. Мысль о физической силѣ Клервилля, всегда непріятная Витѣ, впервые доставила ему удовольствіе. «Какъ было бы хорошо обладать самому такой силой, какъ у того негра въ Довиллѣ!.. Но если-бъ я въ самомъ дѣлѣ вздумалъ написать Клервиллю, — значитъ, на пишущей машинѣ? Анонимныя письма (онъ почти съ наслажденіемъ повторилъ про себя эти отвратительныя слова), анонимныя письма всегда пишутся на машинѣ. Тамъ, за угломъ, я видѣлъ бюро переписки. Но вѣдь въ переписку нельзя отдать такое письмо, продиктовать тоже нельзя. Значитъ, надо взять машину напрокатъ. Это не можетъ стоить дорого... Говорятъ, эксперты умѣютъ различать почеркъ машины. Но какіе же тутъ эксперты, и не все ли мнѣ равно? Пусть знаетъ, что это я! По англійски написать? Онъ догадается по стилю, что писалъ не англичанинъ. Лучше по французски». Витя сталъ мысленно сочинять — и вдругъ, ужаснувшись, опом-

нился. «Да, я не могу написать анонимное письмо, какъ не могу вытащить въ трамваѣ бумажникъ у сосѣда. Но если-бъ случилось что-либо другое, случилось безъ меня, само собой? Если-бъ напримѣръ, Серизье оказался тайнымъ большевистскимъ агентомъ?..» Онъ остановился въ мысляхъ и на этомъ. «Да, это нелѣпое предположеніе. Ревнивцы всегда такія предположенія и дѣлаютъ»...

Несмотря на душевныя мученія Вити, ему была смутно-пріятна мысль — почти незамѣтная мысль — о томъ, что онъ ревнивецъ, что герои романовъ, больше всего ему нравившіеся, именно такъ переживали измѣну любимой женщины. «Все-же объ и з м ѣ н ѣ говорить тутъ не приходится... А вдругъ Мишель просто совралъ или повторилъ сплетню? У Муси столько враговъ», — Витя никакихъ враговъ Муси не зналъ. — «Собственно, я не долженъ былъ его слушать. Можетъ быть, я долженъ былъ бы дать ему пощечину?» — Онъ представилъ себѣ пощечину, изумленіе Мишеля, затѣмъ безобразную драку. «Онъ занимается боксомъ, онъ навѣрное избилъ бы меня,и , быть можетъ, я именно поэтому и не далъ ему пощечины. Нѣтъ, не поэтому, но... Я у нихъ живу въ домѣ, да и вообще пощечина это не отвѣтъ, не выходъ. Но онъ не вралъ! Я чувствую, что онъ говорилъ правду. Кажется, онъ сказалъ это нарочно, для меня, хоть и съ пьяныхъ глазъ. Онъ вѣдь думаетъ, что я живу съ Мусей, и завидуетъ мнѣ. Въ Довиллѣ онъ намекалъ на это, — правда, шутливо, — и я не остановилъ его потому, что его намеки были мнѣ пріятны. Но если онъ такъ думаетъ обо мнѣ, то, можетъ быть, и о Серизье такая же ложь? Нѣтъ, нѣтъ! Развѣ я не видѣлъ того, что было на матчѣ бокса? Только по моей глупости я могъ истолковать это какъ-то иначе. У меня просто не укладывалось въ головѣ: Муся и этотъ бородатый фразеръ!» — онъ вспоминалъ разные поступки,

слова, улыбки Муси; изъ нихъ изъ всѣхъ теперь слѣдовало, что Муся въ связи съ Серизье.

Снизу послышался шумъ оторвавшейся отъ пола подъемной машины. Витя напряженно ждалъ, гдѣ она остановится, — точно кто-нибудь могъ прійти къ нимъ въ этотъ часъ. Машина проплыла мимо ихъ этажа. «Кто это возвращается такъ поздно?..» Витя зачѣмъ-то зажегъ лампочку, взглянулъ на часы и изумился: еще не было пяти. «Я думалъ, прошла — не «цѣлая вѣчность», какъ пишутъ въ книгахъ, но прошло пять-шесть часовъ послѣ э т о г о». Машина остановилась гдѣ-то далеко наверху, отдохнула, сухо щелкнула и медленно поплыла внизъ. Вдругъ онъ подумалъ: что, если сбѣжать по лѣстницѣ и положить голову на рѣшетку? — недавно онъ читалъ въ газетахъ о такомъ случаѣ. Витя разсчиталъ, что никакъ не успѣетъ сбѣжать. «Да и нельзя: я не одѣтъ... Впрочемъ, это очень просто: можно одѣться, сойти внизъ, подняться на машинѣ, оставить ее наверху, спуститься опять по лѣстницѣ и нажать внизу на кнопку. Рѣшетка у нихъ невысокая, положить голову какъ-нибудь можно». Ему вспомнилась подъемная машина въ домѣ Кременецкихъ, не дѣйствовавшая въ послѣдній петербургскій годъ: тамъ рѣшетка была, кажется, много выше. «Смерть мучительная: вѣдь машина не срѣжетъ голову, а задушитъ. Закричать не успѣю, но буду хрипѣть, выбѣжитъ консьержка. Поднять машину вѣрно невозможно. Крикъ, суматоха, полиція, пошлютъ телеграмму Мусѣ. Она, конечно, пріѣдетъ: «Витенька, Витенька!..» Знаю я теперь цѣну этому «Витенькѣ»! А можетъ быть, она и не пріѣдетъ? Нѣтъ, она пріѣдетъ именно подъ этимъ предлогомъ, это такъ легко объяснить мужу. А въ Парижѣ Серизье съ гарсоньеркой. Что-жъ, пусть передъ гарсоньеркой полюбуется на меня съ высунутымъ языкомъ! Странно, что у нихъ такая низкая рѣшет-

ка. У насъ въ Петербургѣ и вообще не было подъемной машины. Папа снялъ нашу квартиру тогда, когда ихъ не знали. Но я хотя бы изъ-за папы не могу кончить самоубійствомъ! Да и вообще не могу и не хочу, все это вздоръ!.. У кого изъ нашихъ знакомыхъ была подъемная машина?..»

Онъ заснулъ на мысли о самоубійствѣ. Ему снилось что-то дикое. Вдругъ раздался крикъ. Витя проснулся и, задыхаясь, сѣлъ на постели. Сквозь ставни пробивался свѣтъ. Витя съ ужасомъ соображалъ: онъ ли это крикнулъ? Въ коридорѣ какъ будто снова прозвучалъ не то крикъ, не то стонъ. «Да, это послышалось оттуда! Я никогда во снѣ не кричу. Жюльеттъ?.. Плачетъ? Ну, и пусть плачетъ. Мы достаточно плачемъ изъ-за нихъ»... Больше ничего не было слышно. Нелегко справляясь съ дыханіемъ, Витя опять легъ. «Спалъ никакъ не болѣе получаса. О чемъ я тогда думалъ? Да, подъемная машина, рѣшетка, все это вздоръ. Никто не кончаетъ съ собой изъ-за любви. Но ясно одно: оставаться здѣсь мнѣ больше невозможно. Мѣсто у донъ-Педро? Нѣтъ, на это идти нельзя. И это нужно было бы сдѣлать черезъ Мусю, покорно благодарю. Браунъ? Онъ самъ сказалъ, что шансовъ мало. Въ лучшемъ случаѣ это будетъ не скоро. Что же дѣлать теперь, сейчасъ? Черезъ двѣ недѣли опять получать деньги у Муси, — уже не въ письмѣ, а просто изъ рукъ въ руки? «Вотъ твой о к л а д ъ, Витенька», — сказала она тогда, не глядя на меня. Ей самой было за меня стыдно. Такъ богатымъ людямъ стыдно за тѣхъ, кому они даютъ деньги... Будь проклята эта жизнь, при которой одни люди почему-то, безъ заслугъ, богаты, а другіе почему-то, безъ вины, нищіе. Но во всякомъ случаѣ теперь снова услышать «вотъ твой окладъ» я не согласенъ. Мнѣ за нее стыдно гораздо больше, чѣмъ ей можетъ быть за меня! Куда же мнѣ дѣться?»

Онъ сталъ мысленно подсчитывать, сколько у него оставалось денегъ. «Если уѣхать тотчасъ, то съ Мишеля получить долгъ нельзя. Какъ это некстати вышло! Весь сегодняшній вечеръ!..» Счетъ не выходилъ, Витя сбивался, считая. Внезапно ему показалось, что по ошибкѣ онъ заплатилъ въ томъ заведеніи лишнихъ сто франковъ. «Недаромъ она тотчасъ спрятала деньги!..» Несмотря на мысли о самоубійствѣ и о преступленіяхъ, эти потерянные, быть можетъ, сто франковъ привели Витю въ ужасъ. Онъ снова зажегъ свѣтъ, всталъ, отыскалъ пиджакъ; изъ бокового внутренняго кармана лѣзло все кромѣ бумажника: паспортъ, какіе-то счета, крышка самопишущаго пера, — перо отвинтилось, онъ укололъ палецъ и подумалъ съ радостью, что, быть можетъ, умретъ отъ зараженія крови. Бумажникъ, наконецъ, былъ вытащенъ. Витя пересчиталъ деньги. Было франковъ на тридцать меньше, чѣмъ выходило по его счету, но на тридцать, а не на сто: значитъ, лишней бумажки не далъ. «Двѣсти сорокъ пять франковъ. Куда же уѣхать?..»

Внезапно его пронзила мысль: «Въ армію!..» Витя задохнулся отъ радости. «Какъ только раньше не пришло въ голову! Вѣдь цѣлый годъ говорилъ, не думая объ этомъ по настоящему, а въ такую минуту забылъ, когда это единственный достойный выходъ! Если убьютъ, то умру за Россію. Если останусь живъ, начнется новая жизнь!..»

Онъ долго лежалъ, уставившись въ окно. Щель въ ставняхъ медленно свѣтлѣла. На улицѣ начинался шумъ дня. Радость переполняла сердце Вити, онъ чувствовалъ, что спасенъ, точно принялъ душевную ванну, послѣ тѣхъ чувствъ, которыя его измучили. «Вѣдь въ мысляхъ я дошелъ до полной низости, до анонимнаго письма! Да, теперь я спасенъ», — думалъ Витя. — «Отчаянный летчикъ, бросившійся внизъ съ горящаго аэроплана, вѣрно, такъ себя

чувствуетъ въ то мгновенье, когда раскрывается парашютъ. Да, мой парашютъ раскрылся!.. Тамъ, на фронтѣ, напишу и романъ о себѣ, о своей жизни. Вотъ и этого летчика съ парашютомъ вставлю!..»

Теперь оставалось только обдумать дѣло практически. Можно отправиться на югъ Россіи, можно поѣхать въ сѣверо западную армію. Витя зналъ, что существуютъ полуоткрытыя вербовочныя организаціи. Главная борьба была на югѣ. Ею преемственно руководили знаменитѣйшіе генералы Россіи, — самыя слова «подъ знамена Деникина» ласкали душу Вити. Зато сѣверо-западная армія шла на Петербургъ. «Тамъ папа, Сонечка, Григорій Ивановичъ»... Онъ представилъ себя въ авангардномъ отрядѣ, врывающемся на коняхъ въ Петропавловскую крѣпость. «Если ѣхать на югъ, то нужно отправиться въ Марсель, а если въ сѣверо-западную армію, то въ Берлинъ. Хорошо, что запасся обратной визой! Тамъ уже денежная забота отпадаетъ: и отправятъ, и кормить будутъ за счетъ правительства. Но уѣхать изъ Парижа надо сегодня же! Прощаться не буду. Оставлю Мишелю записку, что возвращаюсь въ Довилль. Или, лучше, что получилъ черезъ Брауна работу въ провинціи. Пока они спишутся съ Мусей, искать меня будетъ поздно. Муся впрочемъ не можетъ ничего сдѣлать, она мнѣ не опекунша. Да и не будетъ она особенно искать меня... Можетъ быть, будетъ рада: обуза съ плечъ свалилась! Когда-нибудь я ей все напишу — изъ Петербурга»...

Потомъ онъ подумалъ, что денегъ все-таки недостаточно. На дорогу, на жизнь въ первые дни, пока не кончатся формальности, двухсотъ сорока пяти франковъ не хватитъ, — если ѣхать въ Берлинъ, то не хватитъ и на билетъ. Витя злобно-радостно вспомнилъ: вѣдь есть запонки Муси! «Теперь сантименты кончены. Отлично можно продать подарокъ любовницы господина Серизье!..» Онъ зналъ, что за-

понки стоили 2.900 франковъ: Муся объ этомъ проговорилась Мишелю («а можетъ, не проговорилась, а похвастала: вотъ какъ она меня осчастливила!») Если продать, вѣрно тысячи полторы дадутъ? Но гдѣ-же продать? Зайти къ ювелиру? Еще покажется подозрительнымъ: молодой человѣкъ продаетъ такія дорогія запонки. Проще заложить въ ломбардѣ. Да, заложить пріятнѣе: когда-нибудь выкуплю и верну ей. Не изъ сантиментовъ, а такъ, просто, съ короткимъ письмомъ, безъ обращенія. «Позвольте вамъ вернуть съ извиненіями»... — онъ довольно долго сочинялъ въ мысляхъ и это письмо, потомъ вернулся къ дѣлу. — «Въ ломбардѣ дадутъ, скажемъ, тысячу, но и этого за глаза достаточно. Можно будетъ даже револьверъ купить — на всякій случай. Гдѣ ломбардъ въ Парижѣ? Ну, это узнать нетрудно»... Витя всталъ и прошелъ въ ванную.

Черезъ полчаса онъ, съ чемоданомъ въ рукѣ, на цыпочкахъ прокрался къ выходной двери. Въ передней у телефона лежалъ толстый указатель. «Ломбардъ по французски Mont de piété»... Такого учрежденія въ телефонной книгѣ не было. Витя сообразилъ, что это не оффиціальное, а бытовое названіе. «Ахъ, да, Crédit Municipal». Онъ записалъ адресъ, вернулся въ спальную, — не забылъ ли чего, — заглянулъ въ столовую, гдѣ объ э т о м ъ узналъ: «больше никогда не увижу» — и вышелъ на лѣстницу, безшумно затворивъ за собой дверь.

XVII.

Со скамьи, за окномъ, на противоположной сторонѣ улицы были видны на желтой вывѣскѣ черныя буквы: Pape.... Надъ писчебумажнымъ магазиномъ, въ глубинѣ комнаты, у окна стояла вполоборота женщина, — кажется, молодая и красивая. Съ улицы доносились голоса. Вездѣ были отворены окна, люди весело переговаривались между собой, здѣсь, повидимому, всѣ знали другъ друга. Только въ сумрачной залѣ ломбарда не было этой ласковой провинціальной уютности. Здѣсь молчали или говорили вполголоса. Тихо входили и выходили люди, въ большинствѣ бѣдно одѣтые, печальные. Рядомъ съ Витей дама, одѣтая получше, старательно показывала, что очутилась здѣсь совершенно случайно и что она недовольна обществомъ. Всѣ ждали очереди съ французскимъ уваженіемъ къ правиламъ, съ терпѣніемъ бѣдныхъ людей, — ждать нужно было долго. За перилами что-то подсчитывали и писали служащіе въ сѣрыхъ балахонахъ. Однообразно-четко стучали машины. Витя нервно поглядывалъ на боковое окно, выходившее въ сосѣднюю комнату. Тамъ валялись тюки, пакеты, чехлы. У крашеной сѣрой стѣны сидѣлъ оцѣнщикъ, пожилой, бородатый геморроидальнаго вида человѣкъ. «Вотъ онъ и рѣшитъ, ѣхать ли мнѣ на войну съ большевиками!..» Женщина съ ребенкомъ на рукѣ вполголоса объясняла сосѣдкѣ, какъ она здѣсь очутилась: прежде они никогда не нуждались, но послѣ войны... Сосѣдка вздыхала. «Да, люди стыдятся бѣдности, всѣ, даже они, вѣковые, наслѣдственные бѣдняки»... — «Триста двадцать семь!» — какимъ-то страннымъ, удалымъ голосомъ, со страннымъ напѣвомъ и выговоромъ, прокричалъ молодой веселый служащій, появившійся въ боковомъ окнѣ

— «пятьдесятъ франковъ!» Пожилой господинъ, сидѣвшій на отдаленной скамейкѣ съ видомъ совершенной покорности судьбѣ, сорвался съ мѣста и побѣжалъ къ окну, оглядываясь по сторонамъ, точно онъ боялся встрѣтить знакомыхъ. « У него видъ женатаго человѣка, попавшаго въ домъ терпимости», — подумалъ Витя и погрузился въ воспоминанія о вчерашнемъ вечерѣ. «Какъ много ощущеній за одинъ день! Тамъ, въ опереткѣ я не думалъ, что будетъ черезъ нѣсколько часовъ. — «Триста двадцать восемь! Пять франковъ!» — снова пропѣлъ служащій. Витя вздрогнулъ и взглянулъ на свой номеръ. «Сейчасъ все рѣшится. Какъ странно! Для того, чтобы отдать жизнь за Россію, я почему-то долженъ пройти черезъ всѣ эти «engagement», «dégagement», «renouvellement», и если что-либо здѣсь выйдетъ не такъ, вся моя жизнь сложится иначе... А еслибъ она мнѣ тогда не сдѣлала безъ причины подарка, то я теперь былъ бы совершенно безпомощенъ, въ ея полной власти. Она тогда, въ Довиллѣ, сказала: «Прими это какъ подарокъ, на память отъ папы, онъ такъ тебя любилъ»... И это мнѣ было больно: я радъ былъ бы получить подарокъ не отъ Семена Исидоровича, а отъ нея. Я знаю, она думала, что такъ будетъ деликатнѣе. Но это и показываетъ, что мы перестали понимать другъ друга. Да, она измѣнилась ко мнѣ, я это чувствовалъ и въ тѣ дни, когда она была весела. Даже тогда она задѣвала меня, иногда оскорбляла. На плажѣ она сказала, что у меня смазливая рожица. Она знала, не могла не понимать, что это оскорбительно... Она высмѣивала мои манеры: «ты клопъ, а стараешься говорить, какъ вельможа изъ Англійскаго клуба. Можетъ быть, ты говоришь и «давеча»... Все это мелочи, пусть! Но прежде такихъ мелочей не было. Отчего же это сдѣлалось? Нѣтъ, конечно, не изъ за денегъ, не надо быть болѣзненно мнительнымъ, я про-

сто надоѣлъ ей. У нея сухой умъ и сухая душа... Я клевещу на нее, но я поступилъ правильно, что порвалъ съ ней, съ ея домомъ, съ ея деньгами»... — «Но почему-же пять франковъ?» — съ мольбой въ голосѣ говорила женщина, — «прошлый разъ дали семь, вѣдь это настоящій никкель». — «La petite dame veut avoir sept francs», сказалъ веселый служащій оцѣнщику, показывая ему что-то въ чехольчикѣ. — «Хорошо, семь», — отвѣтилъ, вздохнувъ, оцѣнщикъ. — «О, нищета, горе, вездѣ горе!» — думалъ Витя, едва сдерживая слезы. — «Зачѣмъ все это? Почему все это такъ?» — «Триста двадцать девять! Тысяча франковъ!..» — Витя сорвался съ мѣста. Сосѣди глядѣли ему вслѣдъ съ уваженіемъ и съ завистью. «Oui, parfaitement», — поспѣшно, какъ можно вѣжливѣе, сказалъ Витя. Служащій посмотрѣлъ на него и, повидимому, не согласился съ «parfaitement».

— Сколько вамъ лѣтъ?

— Двадцать два, — быстро солгалъ Витя, почувствовавъ недоброе.

— Покажите, пожалуйста, ваши бумаги.

— У меня нѣтъ съ собой бумагъ...

— Ссуда не можетъ быть дана.

— Но почему же?

— Несовершеннолѣтніе должны представлять разрѣшеніе родителей или опекуновъ... Триста тридцать! — прокричалъ нараспѣвъ служащій, совершенно не такъ, какъ только что говорилъ.

«Вотъ и здѣсь «смазливая рожица», всѣ надо мной потѣшаются», — думалъ Витя, не предвидѣвшій этого удара. Его душила злоба. Минутъ пять или шесть бѣжалъ онъ по улицѣ, самъ не зная, куда, и только отойдя довольно далеко отъ ломбарда, вспомнилъ, что вѣдь еще не все потеряно. «Не

удалось заложить, можно продать... Скупщики о возрастѣ спрашивать не будутъ»... По дорогѣ въ ломбардъ, онъ полчаса тому назадъ видѣлъ нѣсколько лавокъ съ вывѣской: «Achat de bijoux». Витя повернулъ назадъ. «Нельзя будетъ ей возвратить? Что-жъ, если говорить правду, какіе шансы у меня вернуться въ Парижъ и выкупить запонки изъ ломбарда? Это самообманъ. Наконецъ, въ случаѣ скораго возвращенія, можно будетъ разыскать и ювелира»... На улицѣ, проходившей вдоль ломбарда, было нѣсколько ювелирныхъ лавокъ. Витя заглянулъ въ первую изъ нихъ и прошелъ мимо: лицо хозяина показалось ему непривѣтливымъ. Въ слѣдующей лавкѣ старый бородатый еврей въ очкахъ съ выраженіемъ напряженнаго, почти страдальческаго любопытства на лицѣ, полураскрывъ ротъ, читалъ газету. Почему-то видъ этого ювелира, то, что онъ былъ старикъ и еврей, то, что онъ съ такимъ интересомъ читалъ газету, успокоило Витю. «Ну, этотъ за полиціей во всякомъ случаѣ не пошлетъ... И въ концѣ концовъ, не воръ же я, чего мнѣ бояться?» Онъ быстро оглянулъ себя въ зеркалѣ слѣдующей витрины, поправилъ сбившуюся выемку мягкой шляпы, вернулся и, принявъ возможно болѣе увѣренный видъ, вошелъ въ магазинъ. Приподнявъ шляпу, Витя спросилъ, не купятъ ли у него вотъ эту вещицу. Ювелиръ нехотя оторвался отъ газеты, оглядѣлъ вошедшаго и, повидимому, не нашелъ ни въ его наружности, ни въ предложеніи ничего подозрительнаго. У Вити чуть отлегло отъ сердца. Старикъ долго разсматривалъ запонки простымъ глазомъ, затѣмъ досталъ лупу, снова осмотрѣлъ и недовольно покачалъ головой, точно нашелъ въ запонкахъ большой недостатокъ. Витя ждалъ съ тревогой.

— Тысяча двѣсти франковъ, — сказалъ ювелиръ, продѣлавъ еще какія-то манипуляціи.

Свѣтъ зажегся въ душѣ у Вити. Онъ вспомнилъ однако, что надо поторговаться.

— Какъ тысяча двѣсти? — развязно переспросилъ онъ. — За вещь заплачено больше трехъ тысячъ франковъ.

Ювелиръ положилъ запонки назадъ въ коробку.

— Тогда не надо.

— Я хотѣлъ бы тысячу пятьсотъ, — сказалъ Витя, нѣсколько осѣкшись. — Вы можете смѣло дать тысячу пятьсотъ. За вещь заплачено больше трехъ тысячъ.

— За вещь не заплачено больше трехъ тысячъ, — спокойно и увѣренно отвѣтилъ ювелиръ. — Заплачено, можетъ быть, двѣ тысячи двѣсти. И, вѣроятно, магазинъ что-то заработалъ? И вѣдь надо и мнѣ тоже что-нибудь заработать, правда?

— Все таки дайте, пожалуйста, тысячу пятьсотъ, — сказалъ Витя, сраженный логикой старика. «Вѣрно догадывается, что я прямо изъ ломбарда и что тамъ мнѣ предложили тысячу и не дали ничего»...

Ювелиръ опять внимательно осмотрѣлъ запонки, подбросилъ ихъ на рукѣ и снова положилъ въ коробочку.

— Тысяча триста, и ни сантима больше, — сказалъ онъ твердо. — Больше вамъ никто не дастъ.

— Ну, хорошо, я согласенъ, — сказалъ Витя и испугался, не покажется ли подозрительнымъ его поспѣшное согласіе. Ювелиръ отсчиталъ деньги и вынулъ листокъ бумаги.

— Гдѣ вы живете?

«Если сказать правду, потомъ могутъ разыскать», — подумалъ Витя. — Елисейскія поля, 28, — брякнулъ онъ и покраснѣлъ, такъ неправдоподобенъ былъ этотъ адресъ. Ювелиръ только пожалъ плечами: была ли ему совершенно безразлична предписанная формальность или онъ привыкъ къ тому, что продавцы сообщаютъ ложный адресъ, или такъ

наглядно свидѣтельствовала о честности наружность Вити, но старикъ ничего не возразилъ. — Запишите... — Витя дрожащей рукой написалъ: «28, Елисейскія поля», но фамилію показалъ настоящую, такъ что и цѣль не была достигнута: разыскать все-таки могли. Не глядя на ювелира, онъ сунулъ деньги въ карманъ, поблагодарилъ и вышелъ. На улицѣ Витя невольно ускорилъ шаги, точно опасаясь погони. «Какъ глупо! Вѣдь я не воръ. Но все-таки главное сдѣлано, теперь я свободенъ!.. Слава Богу!..»

Поѣздъ отходилъ только днемъ, дѣться было некуда, Витя бродилъ по этому кварталу, — одному изъ десятка городовъ, въ общей сложности образующихъ Парижъ. Онъ думалъ и объ отцѣ, и о Григоріи Ивановичѣ, и о Сонечкѣ, — о томъ, какъ всѣ они его встрѣтятъ, когда онъ съ кавалерійскимъ отрядомъ в о р в е т с я въ Петербургъ. Думалъ и о Мусѣ, но безъ прежней злобы, почти безъ боли. «Что, если все-таки неправда? И если я погибну оттого, что Мишель совралъ»...

Потомъ Витя вспомнилъ, что не записалъ адреса ювелира. Хотѣлъ было вернуться, но раздумалъ: «Не все ли равно? теперь то навсегда кончено!..» За поворотомъ улицы ему загородили дорогу люди, выстроившіеся у низкаго, похожаго на сарай строенія. Надъ нимъ висѣла надпись: «Soupe populaire». Изъ сарая вышелъ дряхлый, очень плохо одѣтый старикъ. Опираясь на палку, заложивъ назадъ лѣвую руку съ трясущимися пальцами, онъ медленно прошелъ мимо Вити. Витя долго провожалъ его взглядомъ.

Онъ зашелъ въ кофейню, сѣлъ на террасѣ, спросилъ кофе, съѣлъ булочку. Рѣшилъ не идти въ ресторанъ: «куплю ветчины и хлѣба, надо беречь каждый грошъ»... Витя точно считалъ себя теперь отвѣтственнымъ за свои деньги передъ арміей, въ ко-

торую долженъ былъ поступить, передъ той женщиной съ ребенкомъ, передъ нищими людьми, выстроившимися у сарая для полученія безплатной тарелки супа. Кофе было крѣпкое. Витя почувствовалъ голодъ. Ветчину можно было съѣсть только въ вагонѣ, а до поѣзда оставалось еще много времени. Объявленіе на доскѣ кофейни сообщало, что choucroute стоитъ одинъ франкъ. «Это можно истратить», — рѣшилъ Витя. Онъ поѣлъ, выпилъ еще кофе, — на дорогу. И оттого ли, что такъ прекрасно было лѣтнее утро, или изъ за новой жизни, которая теперь открывалась передъ нимъ навѣрное, — всѣ препятствія, кажется, были устранены, — совершенно въ иной цвѣтъ окрасились мысли и чувства Вити. «Да, борьба вездѣ одна», — думалъ онъ, — «кто борется за правое дѣло въ Россіи, борется и за этихъ бѣдняковъ, за всѣхъ несчастныхъ, обиженныхъ людей, за человѣчество, — не надо стыдиться жалкаго слова. А тамъ, на югѣ, въ добровольческой арміи дѣло правое, и за него не жаль отдать жизнь! Что такое мое личное горе, Муся, Клервилль, Серизье, какое значеніе это имѣетъ! Все это потонетъ въ большомъ дѣлѣ. Въ немъ, конечно, и я найду успокоеніе»... Солнце сіяло ярко, все заливая радостью сердце Витя. — «Я не н а й д у, я уже нашелъ его! Я нашелъ не успокоеніе, а счастье!..»

XVIII.

У жены нейштадтскаго капрала въ Магдебургѣ родился трехлѣтній ребенокъ, вышедшій изъ чрева матери въ каскѣ, въ латахъ и во французскихъ модныхъ сапогахъ кожи настолько тонкой, что походила она на бумагу. Были городу и другія тяжкія предзнаменованія. Послѣ ужина у бургомистра, городской совѣтникъ Шульцъ, возвращаясь къ себѣ домой, на площади Стараго рынка вдругъ остановился въ ужасѣ: стѣны домовъ были кроваво-краснаго цвѣта. А 26 ноября пронеслась надъ Магдебургомъ буря, подобной которой никто не помнилъ: обвалились двѣ башни, мельница и нѣсколько домовъ. Вольнодумцы смѣялись: ничего это означать не можетъ, — и буря не такая ужъ рѣдкость, и совѣтникъ, вѣрно, былъ пьянъ, и не всѣ тайны природы извѣстны: мало ли какія рождаются дѣти, да кто былъ при родахъ! Между тѣмъ, предзнаменованія говорили тяжкую правду. Въ самый день бури, въ Гамельнѣ, на совѣтѣ у графа Тилли, было рѣшено двинуться на Магдебургъ и разорить это гнѣздо враговъ.

И дѣйствительно, вскорѣ послѣ того къ стѣнамъ города подошелъ Паппенгеймъ съ авангардомъ имперской арміи. Жители вначалѣ не безпокоились: стѣны крѣпкія, а король Густавъ-Адольфъ со своей арміей не за горами. Отъ него въ Магдебургъ прибылъ искусный вождь Дитрихъ Фалькенбергъ; къ шведскому офицеру вскорѣ само собой перешло и руководство защитой города, ибо среди городскихъ правителей не было энергичныхъ военачальниковъ. Фалькенбергъ же былъ воинъ доблестный, и, когда, по обычаю, Паппенгеймъ подослалъ къ нему человѣка, — не согласится ли за приличное вознагражденіе сдать городъ безъ боя, — отослалъ это-

го посланца безъ разговоровъ и пригрозилъ, что слѣдующаго повѣситъ.

Затѣмъ къ Магдебургу стала подходить и вся имперская армія, во главѣ съ самимъ Тилли. Лазутчики доносили, что ей нѣтъ числа. Въ городѣ наступила тревога, особенно послѣ того, какъ Фалькенбергъ очистилъ премѣстья — Нейштадтъ и Сюденбургъ, — взорвалъ мосты и снесъ множество домовъ. Десятокъ тысячъ людей остался безъ крова. Городской совѣтъ кое-какъ размѣщалъ ихъ по частнымъ домамъ, и отъ этого произошло много неудобствъ, непріятностей и споровъ: бѣдные говорили, что совѣтники покровительствуютъ богатымъ, — вселяютъ не къ нимъ, а къ бѣднякамъ. Говорили также что богатые службы подъ ружьемъ не несутъ, поставляютъ за деньги замѣстителей, и что въ городѣ есть предатели, все сообщающіе графу Тилли. Въ апрѣлѣ часть имперскихъ войскъ переправилась черезъ Эльбу. Городъ былъ обложенъ со всѣхъ сторонъ, началась бомбардировка раскаленными ядрами, и насталъ ужасъ въ Магдебургѣ.

Чтобы поднять духъ населенія, администраторъ распускалъ слухи, будто шведскій король Густавъ-Адольфъ уже двинулся имъ на выручку изъ Шпандау. Для короля, на виду у всѣхъ, готовились богатые покои. Дозорные ежедневно поднимались на колокольню: не видны ли вдали шведскія войска? А въ своемъ кабинетѣ администраторъ показывалъ всѣмъ къ нему приходившимъ письма изъ королевскаго штаба съ вѣстями о близкомъ освобожденіи. Подложныя письма эти изготовлялъ, по заказу администратора, адвокатъ Кумміусъ, большой мастеръ такихъ дѣлъ.

Не очень весело было, однако, и въ штабѣ имперскихъ войскъ. Шведскій король былъ не за горами и въ самомъ дѣлѣ. Правда, молодые генералы за бутылкой вина хвалились, что разнесутъ и Густава-

Адольфа, — пусть только покажется! Но графъ Тзеркласъ Тилли не спѣшилъ сразиться съ этимъ знаменитымъ полководцемъ; имѣя же въ тылу всю шведскую армію, не рѣшался штурмовать хорошо укрѣпленный городъ: Дитрихъ Фалькенбергъ зналъ свое дѣло, защитники Магдебурга дрались лучше, чѣмъ можно было ждать. Вдобавокъ, дѣло было и не безъ колдовства. По крайней мѣрѣ, Паппенгеймъ божился, что при штурмѣ редута «Тротцъ-Кайзеръ» пули не брали враговъ — ихъ приходилось убивать прикладами.

На одномъ изъ военныхъ совѣтовъ въ ставкѣ тотъ же Паппенгеймъ предложилъ хитрый планъ: бомбардировать городъ безпрерывно три дня и три ночи; на четвертый же день прекратить огонь, убрать пушки съ передовыхъ позицій и сдѣлать видъ, будто уходимъ: «что, молъ, дѣлать, ваша взяла!» Конечно, городскія власти рѣшатъ, что графъ Тилли получилъ тревожныя вѣсти о Густавѣ-Адольфѣ и потерялъ надежду взять городъ. На радостяхъ, всѣ эти вооруженные мѣщане, вѣрно, разбѣгутся по домамъ къ женамъ и дѣткамъ, — вотъ тогда-то и начать настоящій штурмъ, особенно съ сѣвера, гдѣ валы покатые, и воды во рвахъ почему-то нѣтъ.

Генералы были отъ выдумки въ восторгѣ, но графъ Тилли ворчалъ: ужъ очень все это просто. Разумѣется, можетъ и выйти, да что, если не выйдетъ? Молодымъ все равно, а онъ ставилъ на карту свою военную славу. Все же въ концѣ концовъ, старикъ согласился попытать счастья и даже потрепалъ ласково Паппенгейма по плечу. Велѣлъ завтра, 7 мая, и начать бомбардировку, а въ день штурма, 10-го, выдать солдатамъ тройную порцію водки и сказать имъ: если возьмутъ городъ, то три дня могутъ дѣлать тамъ что угодно, — ни спроса, ни слѣдствія не будетъ, — городъ же богатѣйшій. Молодымъ генераламъ это не очень понравилось, но

старики одобрительно улыбались: знаетъ графъ Тзеркласъ человѣческую природу

И все сбылось, какъ предсказалъ Паппенгеймъ. Въ первый день бомбардировки магдебургскіе горожане трепетали, — видно, пришелъ послѣдній часъ. На второй день стало легче, а на третій — произошелъ въ сердцахъ переломъ: что-жъ, въ средину города ядра не долетаютъ, убитыхъ мало, пожары тушимъ. Городской совѣтъ изъ старичковъ все еще подумывалъ о переговорахъ и о капитуляціи, но большинство горожанъ уже думало иначе: посмотримъ, кто кого побьетъ!

Когда же, въ полдень 10-го мая, бомбардировка вдругъ прекратилась, и дозорный закричалъ съ колокольни, что у проклятыхъ имперцевъ пушки увозятся съ позицій, настали въ городѣ радость и торжество: Густавъ-Адольфъ подходитъ къ Магдебургу, пришелъ конецъ графу Тилли! Предчувствуя недоброе, Фалькенбергъ разрѣшилъ уйти съ валовъ лишь половинѣ бойцовъ, — остальнымъ велѣлъ дежурить всю ночь. Но не всѣ послушались его приказа, много людей ушло съ позицій самовольно.

Печатникъ Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслейнъ, какъ человѣкъ очень добросовѣстный, никогда не ушелъ бы съ поста безъ разрѣшенія начальства. Но ему шелъ шестой десятокъ, и толку отъ него было немного. Его отпустили подъ вечеръ, въ числѣ первыхъ. На валу онъ былъ приставленъ къ мушкету. Это оружіе, изобрѣтенное въ далекой Московіи, было длиннѣе самаго длиннаго человѣка, стояло на вилкѣ, и обращаться съ нимъ было не очень трудно. Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслейнъ, однако, тяготился своимъ дѣломъ, ибо не любилъ оружія. Шпагу онъ носилъ и въ мирное время; еще императоръ Фридрихъ приравнялъ къ благороднымъ людямъ цехъ печатниковъ, и эту честь Газен-

фусслейнъ считалъ заслуженной: не было, по его мнѣнію, ремесла болѣе чистаго, разумнаго и полезнаго людямъ, чѣмъ печатаніе книгъ. Но мушкета своего онъ побаивался, и хоть отъ всей души желалъ пораженія врагамъ, все же, поднимая зажженный фитиль, втайнѣ молился Богу, чтобы никто не былъ убитъ его выстрѣломъ.И желаніе его всегда сбывалось.

По улицамъ, при свѣтѣ фонарей и факеловъ, шла восторженная толпа. Но едва ли въ ней кто радовался концу боевъ сердечнѣе, чѣмъ Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслейнъ. Когда онъ подходилъ къ печатнѣ, показалось ему, что въ толпѣ молодыхъ людей мелькнула его племянница Эльза-Анна-Марія, она же попросту Эли. Газенфусслейнъ женатъ не былъ; племянница была имъ воспитана, обучена; въ печатнѣ она вѣдала правкой набора: по обычаю, шедшему отъ Эльзевировъ, правка поручалась женщинамъ, ибо онѣ не мудрятъ, не считаютъ себя ученѣе авторовъ, не исправляютъ, кромѣ опечатокъ, ничего, опечатки же исправляютъ внимательно и за совѣсть. Недурно справлялась съ работой и Эльза-Анна-Марія. Но съ 16 лѣтъ она отъ рукъ дяди отбилась, — отъ его рукъ отбиться было и нетрудно, — и все бѣгала съ какими-то мальчишками, къ великому его огорченію: Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслейнъ очень любилъ свою племянницу. Личико у нея было хорошенькое, а выраженіе — какъ у лисы, другого слова и не выдумаешь. Въ этотъ радостный вечеръ Газенфусслейнъ особенно хотѣлось побыть дома съ Эли, поужинать съ ней, обмѣняться впечатлѣніями. Было и безпокойно: бомбардировка, правда, кончилась, — а вдругъ начнется снова. Правда, отъ ядра не спасетъ и крыша печатни, но Эли могла бы не уходить изъ дому въ такой день.

И все же, несмотря на это огорченіе, сердце отдохнуло у Газенфусслейна, когда онъ вошелъ въ

печатню и увидѣлъ знакомыя, привычныя, милыя вещи: станки, талеры, кассы, рашкеты, книги на полкѣ. Въ углу комнаты находился его собственный столъ, — здѣсь была главная радость: Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслейнъ собственноручно набиралъ, нарочно для того отлитыми буквами, Священное Писаніе по рѣдчайшему старинному образцу: по 36-строчной Библіи, выпущенной въ Майнцѣ Пфистеромъ. Рядомъ лежали и книга, и послѣдняя страница набора, кончавшаяся словами: «Pereat dies in qua natus sum et nox in qua dictum est conceptus est homo. Dies illa vertetur in tenebras.» Газенфусслейнъ только вздохнулъ, въ тысячный разъ полюбовавшись образцомъ: дивнымъ наполненіемъ листа, красотой буквъ, буквой і съ полукружкомъ, вмѣсто точки, знаками препинанія не внизу строчки, а повыше, на уровнѣ средины буквъ. Подмастерья ему говорили, что онъ и самъ набираетъ не хуже Пфистера, но Газенфусслейнъ только съ досадой слушалъ столь нелѣпую похвалу: зналъ, что секретъ великихъ мастеровъ потерянъ. Онъ сѣлъ у стола и радостно улыбнулся: скоро можно будетъ совсѣмъ вернуться отъ мушкетовъ къ любимому дѣлу, столь милому и полезному людямъ.

Въ сосѣдней комнатѣ, подъ кастрюлей съ супомъ изъ овощей, лежала записочка отъ Эли. Она поздравляла дядю съ великой радостью, сообщала, что мяса, къ сожалѣнію, достать не удалось, и очень просила простить ее: у нея разболѣлась голова, и какъ разъ за ней зашли Марта съ Магдой, — дядя не будетъ ни сердиться, ни безпокоиться, правда? а въ Аугсбургскомъ Петраркѣ для дяди лежитъ письмо, а ждать ее не надо, дядя, вѣрно, очень усталъ. Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслейнъ расчувствовался: въ самомъ дѣлѣ, послѣ этихъ трехъ ужасныхъ дней, бѣдная дѣвочка могла немного погулять съ друзьями.

Письмо было отъ профессора Іонгмана, и говорилось въ немъ о розенкрейцерскихъ дѣлахъ. Въ выраженіяхъ темныхъ для непосвященнаго профессоръ извѣщалъ Газенфусслейна, что слѣдующій съѣздъ состоится въ Италіи или въ Прагѣ, но, когда, еще не извѣстно, во всякомъ случаѣ, не очень скоро. Іонгманъ собирался въ Римъ, а на обратномъ пути разсчитывалъ побывать въ богемскихъ и въ нѣмецкихъ земляхъ, быть можетъ, и въ Магдебургѣ. Письмо было очень бодрое. Профессоръ не скрывалъ отъ себя, что нерадостно положеніе въ мірѣ, особенно въ Германіи, но онъ отнюдь не терялъ надежды и вѣрилъ все крѣпче: невидимые спасутъ міръ, и торжество правды близко.

Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслейнъ былъ душевно радъ письму профессора Іонгмана. Въ тяжелое время особенно пріятно было, что о немъ не забыли друзья, и что столь ученый человѣкъ нашелъ часъ, — послалъ ему вѣсточку. Въ самомъ дѣлѣ, ужасы пройдутъ, близится торжество правды. Непонятно было, кто доставилъ письмо? Впрочемъ, вѣсти въ городъ проскальзывали, несмотря на осаду.

Послѣ ужина Газенфусслейнъ съ жаромъ помолился Богу и легъ спать. Сквозь сонъ онъ услышалъ молодые голоса, веселый смѣхъ на улицѣ: Эльза-Анна-Марія прощалась у дверей съ друзьями. Тихо отворивъ дверь, Эли на цыпочкахъ скользнула въ свою комнату. Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслейнъ собрался было ее оклинуть, но раздумалъ, чтобы не конфузить дѣвочку: вѣрно, часъ уже поздній. И очень хотѣлось ему спать послѣ трехъ тяжелыхъ ночей. Онъ тотчасъ снова заснулъ. Было уже совершенно свѣтло, когда его разбудили страшные крики, шумъ, выстрѣлы...

Герольдъ, въ черномъ шелковомъ костюмѣ, съ вышитымъ на груди гербомъ графа Тилли, оста-

новился передъ полкомъ синихъ драгунъ и прочелъ приказъ: на утро назначенъ генеральный штурмъ, — въ немъ участвовать и драгунамъ, оставить лошадей въ обозѣ.

Волненіе было и радостное, и тревожное: всѣ понимали, что такое штурмъ Магдебурга, — ужъ изъ пяти человѣкъ быть одному мертвецу. Большая часть драгунъ провела ночь безъ сна: одни молились, другіе точили оружіе или писали письма, третьи пили до поздняго часа. А Деверу легъ спать какъ ни въ чемъ не бывало и даже выпилъ за ужиномъ не больше обычнаго. Онъ былъ очень смѣлый человѣкъ, съ характеромъ счастливымъ и беззаботнымъ. Въ палаткѣ, ложась на солому, подумалъ было, что могутъ завтра убить, и рѣшилъ, что не страшно: значитъ, прямо попадетъ въ рай. Представлялъ онъ себѣ рай неясно, да и размышлялъ о такихъ предметахъ мало и неохотно, но зналъ, что въ раю будетъ хорошо. А вотъ, если тяжело ранятъ? Вообразилъ на мгновеніе худшія изъ ранъ, — бываютъ и такія, что подобны насмѣшкѣ надъ человѣкомъ, — но и на этихъ мысляхъ онъ не остановился: почему же ранятъ? Нѣтъ, не ранятъ.

Разбудили драгунъ странно, — безъ трубы, безъ барабаннаго боя. Было еще совершенно темно, — вѣрно, шелъ третій часъ. Вздрагивая отъ холода, Деверу наскоро привелъ себя въ порядокъ: почистилъ кафтанъ, къ которому пристала солома, провѣрилъ оружіе, убѣдился, что амулеты на мѣстѣ. Висѣла подъ камзоломъ и роза на синей лентѣ: онъ носилъ ее попрежнему, хоть давно не имѣлъ никакого дѣла съ розенкрейцерами: вещица золотая, цѣнная, да кто знаетъ, можетъ, и въ ней есть какая-нибудь сила? Хмурый капитанъ пересчиталъ драгунъ и одного отставилъ: четное число приноситъ въ бою несчастье. Къ палаткѣ подкатили боченокъ водки; всѣмъ велѣно было выпить по чаркѣ. За-

тѣмъ драгунъ повели. Идти было приказано тихо. Долго-долго они шли, безъ фонарей, безъ факеловъ, въ черную беззвѣздную ночь. Останавливались, шли снова, остановились совсѣмъ. Отъ темноты и безмолвія было страшно, несмотря на выпитую водку.

Стало разсвѣтать. Они стояли за холмомъ. Осторожно отойдя влѣво, къ дорогѣ, Дереву передъ собой, совсѣмъ близко, увидѣлъ высохшій ровъ; за нимъ шли валы, кое-гдѣ настолько покатые что можно было на нихъ подняться и верхомъ. Но за валами была высокая каменная стѣна съ башнями и съ бойницами. На нее смотрѣть было непріятно. Деверу прикинулъ взглядомъ: вотъ оттуда сверху очень просто могутъ и кипяткомъ облить, или столкнуть лѣстницу, когда уже будешь наверху. Однако, ни на стѣнѣ, ни на валахъ не было видно никого, не было даже часовыхъ и дозорныхъ. Офицеры смѣялись: хорошо же поставлено дѣло у купцовъ! Многіе изъ драгунъ осмѣлѣли и больше за холмъ не прятались. Становилось все свѣтлѣе. Капитанъ съ раздраженіемъ пожималъ плечами, — чего ждутъ, зачѣмъ упускаютъ время? Прошелъ часъ, другой, люди начинали злиться.

Задержка объяснялась тѣмъ, что у графа Тзеркласа Тилли въ послѣднюю минуту снова возникли колебанія: не лучше ли отказаться отъ штурма? Проворочавшись безъ сна всю ночь, онъ передъ разсвѣтомъ велѣлъ созвать генераловъ. Военный совѣтъ продолжался болѣе часа, — генералы просто не узнавали своего начальника. Тилли упрямо твердилъ, что дѣло рискованное: если отобьютъ, бѣда и позоръ, а если штурмъ и удастся, потери будутъ такъ велики, что ужъ какое сраженіе съ Густавомъ-Адольфомъ! Да и весь планъ несерьезный: никогда Фалькенбергъ, опытный воинъ, не оставитъ стѣнъ безъ охраны, — вѣрно, Паппенгеймъ

начитался «Иліады», но теперь не древнія времена! Брюзжалъ, брюзжалъ и, наконецъ, уступилъ, какъ и въ прошлый разъ. Ничего рѣшительно не измѣнилъ сумбурный совѣтъ.

И такъ дивно устроенъ міръ, что именно изъ-за этого совѣта, изъ-за нерѣшительности старика, изъ-за задержки дѣла, и былъ взятъ городъ Магдебургъ. До разсвѣта шведскіе офицеры еще кое-какъ держали караулы на позиціяхъ. Но съ разсвѣтомъ всѣмъ стало ясно: дѣло кончено, никакихъ боевъ не будетъ. И съ позицій радостно побѣжали въ городъ послѣдніе защитники Магдебурга. На сѣверной стѣнѣ осталось человѣкъ пятнадцать, пожилыхъ и старыхъ горожанъ, которые не хотѣли возвращаться домой на разсвѣтѣ, — зачѣмъ будить своихъ? Они потушили фитили, прилегли и задремали.

Прямо съ военнаго совѣта, въ сопровожденіи ординарца, примчался къ сѣверному валу Паппенгеймъ. На лбу у него обозначились два красныхъ меча: съ этой примѣтой онъ родился, но выступали мечи на лбу Паппенгейма лишь тогда, когда онъ очень волновался, и знавшимъ его стало ясно, что сейчасъ начнется штурмъ. Генералъ выѣхалъ изъ-за холма, — все выходило такъ, какъ онъ разсчитывалъ, — радостно оглянулся на солдатъ, словно говоря имъ: «мы-то съ вами другъ друга знаемъ, болтать незачѣмъ». Однако, у солдатъ видъ былъ угрюмый. Паппенгеймъ вполголоса спросилъ, есть ли водка, и велѣлъ всѣмъ выпить еще по чаркѣ. Затѣмъ отдалъ приказъ, безшумно прошедшій по рядалъ. Солдаты, съ лицами рѣшительными и блѣдными, быстро прошли мимо апрошей и спустились въ ровъ. Впереди тащили длинныя лѣстницы. Было ужъ совсѣмъ свѣтло, дулъ вѣтеръ. Поднялись на валъ, — точно вымерли тамъ всѣ за стѣной или перепились до безчувствія? Деверу не спускалъ глазъ

съ башни, вотъ-вотъ сейчасъ польется оттуда расплавленный свинецъ! Капитанъ съ нахмуреннымъ лицомъ шопотомъ отдавалъ приказанія. Солдаты, тяжело дыша, приставляли лѣстницы къ стѣнѣ. «Вотъ по этой», — думалъ Деверу. Сердце у него страшно стучало, но страха не было, — лишь бы только скорѣе! Первая лѣстница чуть пошатывалась наверху стѣны, — тамъ попрежнему все было непостижимо тихо. Деверу оглянулся въ послѣдній разъ: «вдругъ никогда больше не увижу»... Капралъ плюнулъ на руки и, подбѣжавъ со стороны стѣны къ лѣстницѣ, вцѣпился въ нее, чтобы не шаталась. Капитанъ выхватилъ саблю, грозно оглянулся на солдатъ, — «попробуй-ка кто не пойти за мной!», — и вдругъ, изогнувшись, едва держась за бортъ, бросился вверхъ по ступенямъ. За нимъ ринулись другіе. Кто-то дико заоралъ, хоть было запрещено, позади раздался выстрѣлъ, — это Паппенгеймъ подалъ сигналъ, — и въ ту же секунду все потонуло въ дикомъ ревѣ.

Деверу на стѣнѣ оказался четвертымъ; на мгновеніе онъ остановился, задыхаясь, — теперь самое страшное, лѣстница, осталось позади. Передъ нимъ вдали блеснулъ великолѣпный городъ, храмы, дворцы, залитые утреннимъ солнцемъ. «Что же теперь? Кого бить?» — мелькнула у него мысль. Капитанъ бѣжалъ внизъ по откосу съ поднятой саблей. Деверу бросился за нимъ и вдругъ увидѣлъ передъ собой на землѣ кучку людей. Одинъ изъ нихъ, пожилой человѣкъ, сидя, откинувшись назадъ, упершись лѣвой рукой въ разостланный на землѣ плащъ, поднявъ правую руку, смотрѣлъ на подбѣжавшихъ драгунъ остановившимися отъ ужаса глазами. Онъ, видимо, только что проснулся. — «А-а-а!», — звѣринымъ голосомъ прокричалъ Деверу и, подбѣжавъ къ сидѣвшему человѣку, изо всей силы ударилъ его по головѣ саблей. Кровь хлынула пото-

комъ, человѣкъ слабо вскрикнулъ тонкимъ голосомъ и повалился на плащъ. Это былъ первый человѣкъ, котораго Деверу пришлось убить въ жизни холоднымъ оружіемъ: стрѣльба въ счетъ не шла. Никакого волненія онъ не почувствовалъ. Потомъ, вспоминая, Деверу думалъ, что убить человѣка, въ сущности, очень просто: почти такъ же просто, какъ зарѣзать курицу.

Лѣтописцы же всѣ сходятся на томъ, что ничего равнаго по ужасамъ взятію Магдебурга не было въ исторіи міра. За исключеніемъ тысячи людей, которой удалось укрыться въ уцѣлѣвшемъ чудомъ соборѣ, истреблено было все населеніе большого, прекраснаго города, такъ что до самаго конца мѣсяца мая нанятые люди ежедневно сбрасывали въ Эльбу сотни и тысячи обезображенныхъ, разложившихся тѣлъ. Рѣзали и разстрѣливали магдебургскихъ гражданъ, истязали ихъ, чтобы найти золото, три дня и три ночи. Но самое страшное происходило въ первое утро, во вторникъ 10 мая. Хуже всего было женщинамъ, — почти всѣ онѣ были изнасилованы. Прозванъ былъ этотъ день магдебургской свадьбой.

А кто зажегъ городъ, этого лѣтописцы не выяснили: быть можетъ, брандскугели Паппенгейма, быть можетъ, люди графа Тилли, быть можетъ, Дитрихъ Фалькенбергъ, не желавшій отдавать врагу городъ съ его огромными богатствами. Самъ онъ погибъ въ числѣ первыхъ. Тѣло его сгорѣло, и не осталось ничего, кромѣ славы, отъ главнаго защитника Магдебурга.

Къ полудню усилился вѣтеръ, къ вечеру же превратился городъ въ пылающій костеръ. Низко стелился черный дымъ, а надъ нимъ уходили въ небеса высокіе огненные столбы, — это горѣли церкви: св. Ульриха, св. Николая, св. Іоанна, св. Севастіана,

св. Петра, св. Екатерины, и много еще другихъ старыхъ, величественныхъ храмовъ. На многія-многія мили видно было страшное магдебургское зарево. Въ Шпандау, въ шведскомъ лагерѣ, вышелъ изъ палатки король Густавъ-Адольфъ и, съ ужасомъ глядя на далекое кроваво-красное пятно въ небесахъ, прослезился и сказалъ одному изъ своихъ соратниковъ: — «Свыше мѣры полна теперь чаша зла»...

А Деверу до полудня не догадывался, что можно грабить и насиловать женщинъ. И какъ только узналъ, что можно, тотчасъ попалась ему хорошенькая блондинка, совсѣмъ молодая. Она вбѣжала въ подворотню, онъ бросился за ней, она на лѣсенку, и онъ туда же. Старикъ въ мастерской, молившійся Богу, вскочилъ съ перекосившимся лицомъ, но не успѣлъ и пикнуть: Деверу подбѣжалъ къ нему и перерѣзалъ ему горло. Теперь это было очень просто: позднѣе Деверу пробовалъ подсчитать по памяти, сколько человѣкъ онъ убилъ въ этотъ день, — выходило не то десять, не то двѣнадцать. Противно было лишь то, что они почти не сопротивлялись.

Въ печатной онъ оставался долго. Денегъ не искалъ, — тоже было противно, — и какія деньги у ремесленника? Деверу даже отъ себя подарилъ талеръ Эльзѣ-Аннѣ-Маріи и прикрикнулъ на нее, чтобъ взяла. Дѣвчонка все плакала, — трудно понять, откуда берется у женщинъ столько слезъ. Ему было очень ее жаль. «Что-жъ дѣлать, вѣдь война»,— сказалъ онъ смущенно и, чтобы оказать вниманіе ея горю, покрылъ голову печатника лежавшими на столѣ большими листами бумаги. На одномъ изъ нихъ было набрано: «Pereat dies in qua natus sum et nox in qua dictum est conceptus est homo. Dies illa vertetur in tenebras». Лицо старика показалось Деверу знакомымъ, но не могъ онъ вспомнить, гдѣ видѣлъ

этого ремесленника. Спросилъ Эльзу-Анну-Марію, какъ ихъ зовутъ, — фамилія Газенфусслейнъ была ему незнакома. Онъ думалъ, что это отецъ дѣвочки. Когда узналъ, что дядя, ему стало легче. «Что же съ ней дѣлать?» — спросилъ себя Деверу. — «Оставить здѣсь? Другіе придутъ, подлый пошелъ народъ. А то взять ее съ собой?» Эта мысль ему понравилась: въ арміи Тилли чуть не всѣ, кромѣ главнокомандующаго, возили съ собой женщинъ. «Надо бы ей что-нибудь подарить»... Онъ вдругъ радостно вспомнилъ о своей розенкрейцерской розѣ: «вотъ и она пригодилась»... Надѣлъ на шею дѣвочкѣ и велѣлъ ей идти за нимъ.

И такъ много злодѣяній совершено было въ этотъ день, что потрясли они даже душу графа Тзеркласа Тилли. Угрюмо въѣхалъ въ городъ, — «Tillius de tanta caede nauseabundus», — говоритъ о немъ свидѣтель. На площади Новаго рынка главнокомандующій остановился: съ крестомъ въ рукѣ, въ бѣломъ облаченіи, приблизился къ нему католическій священникъ, патеръ Сильвій, и именемъ Господа Бога заклиналъ его положить конецъ злымъ, страшнымъ дѣламъ, которыя творятся въ побѣжденномъ городѣ. Старикъ долго смотрѣлъ на священника. Вдругъ на землистомъ лицѣ его промелькнулъ ужасъ; патеръ Сильвій напомнилъ о неминуемой Божьей карѣ.

— Да, да, отецъ, спасайте всѣхъ, — сказалъ графъ Тилли. Узнавъ, что въ соборѣ укрылось до тысячи человѣкъ, помиловалъ ихъ и велѣлъ поставить у собора охрану, а увидѣвъ грудного ребенка, ползавшаго на землѣ у тѣла убитой матери, тяжело слѣзъ съ коня, поднялъ дитя на руки и произнесъ: — «Das sei meine Beute!» Приближенные же умилились и добротѣ графа Тзеркласа, и великому его безкорыстію. Ибо всѣмъ было извѣстно, что

онъ не попользуется ни единымъ талеромъ изъ бывшаго въ городѣ несмѣтнаго богатства.

Но ни графу Тилли, ни приближеннымъ его не было извѣстно, что подъ площадью Новаго рынка, на которой они стояли, вьется длинное темное подземелье, съ ходами во всѣ концы Магдебурга. Большое число бочекъ съ порохомъ тайно заложилъ въ этомъ подземельѣ Дитрихъ Фалькенбергъ. Къ первой бочкѣ шелъ просмоленный шнуръ. Въ должное время рукой мстителя былъ приложенъ фитиль къ концу шнура; сильна въ душѣ человѣка жажда мщенія. Взрывъ же порохового погреба уничтожилъ бы и графа Тзеркласа Тилли, и его штабъ, и большую часть его арміи, а съ ними весь городъ Магдебургъ. Но огонекъ добѣжалъ лишь до первой галлереи, зашипѣлъ и погасъ шагахъ въ двадцати отъ бочки. И столь странно устроенъ міръ, что та магдебургская кошка, которая наканунѣ ночью, гоняясь въ подземельи за крысами, съ разбѣга наскочила на шнуръ и порвала его, оставила большій слѣдъ въ міровыхъ судьбахъ, чѣмъ самъ Тилли, и Валленштейнъ, и Ришелье, и императоръ.

XIX.

Для Клервилля наступило тяжелое время. Ему по природѣ было несвойственно раздраженное состояніе. Теперь онъ изъ этого состоянія почти не выходилъ и вдобавокъ долженъ былъ тщательно скрывать свои чувства, приблизительно выражавшіяся словами: «Однако все это начинаетъ очень мнѣ надоѣдать!..»

Полусознательное значеніе «однако» сводилось къ тому, что Муся, въ концѣ концовъ, ни въ чемъ или почти ни въ чемъ не виновата. Что такое было «все это», Клервилль не могъ бы сказать опредѣленно. Сюда входили и беременность Муси, и ея мать, и ея друзья, — русскіе, французскіе, румынскіе, — мальчики, безъ причины исчезающіе неизвѣстно куда, дѣвочки, покушающіяся на самоубійство неизвѣстно почему. Исчезновеніе Вити, попытка самоубійства Жюльеттъ вызвали у Клервилля, несмотря на его доброту, не сожалѣніе, а злобу. Муся внесла въ его жизнь fait divers, — самое непріятное и неприличное изъ всего, что могло случиться съ порядочнымъ человѣкомъ.

«Но вѣдь это только послѣдняя капля, переполнившая чашу», — говорилъ себѣ онъ, съ тяжелымъ чувствомъ оглядываясь на послѣдній годъ своей жизни. Клервилль не любилъ самоанализа, — видѣлъ и въ самоанализѣ русское вліяніе. Въ послѣднее время это вліяніе становилось все болѣе ему непріятнымъ: здѣсь семья и окруженіе Кременецкихъ страннымъ образомъ смѣшивались съ революціей, съ Петербургскими островами, съ «Бродячей собакой», съ Достоевскимъ. Онъ называлъ все это «экзотикой», съ удивленіемъ вспоминая, какъ нравилась ему экзотика въ ту пору, когда онъ былъ влюбленъ въ Мусю. «Да, все это было самообманомъ: ложная

значительность пустыхъ разговоровъ, вѣра въ глубину балалаечныхъ оркестровъ и балалаечныхъ чувствъ»... Обычное въ кругу Муси противопоставленіе англійской элементарности и русской сложности казалось ему поверхностнымъ, если не просто глупымъ. «Видитъ Богъ, я не страдаю маніей величія, но, право, я, какъ человѣкъ, сложнѣе, чѣмъ она и чѣмъ большинство ея друзей».

Онъ сознавалъ теперь ясно свою непоправимую ошибку. Еще въ Довиллѣ, до происшествій съ друзьями Муси, жизнь съ женой, разговоры съ ней стали чрезвычайно тяготить Клервилля, несмотря на весь его, казалось, неисчерпаемый, запасъ благодушія, оптимизма, savoir vivre. Онъ зналъ напередъ каждое слово и въ своихъ, и въ ея рѣчахъ; но говорить и слушать эти слова было совершенно необходимо. Обрядъ былъ разработанъ точно. При всякой встрѣчѣ съ женой онъ заботливо освѣдомлялся объ ея здоровьи, спрашивалъ, какъ она провела два часа ихъ разлуки, была ли въ Казино, разсказывалъ, что дѣлалъ онъ самъ, сообщалъ новости изъ газетъ, и, разставаясь снова часа на два, цѣловалъ Мусю въ волосы и просилъ твердо помнить о своемъ положеніи — не дѣлать ничего неблагоразумнаго. Это было не слишкомъ утомительно. Но однажды, къ концу обряда. Клервилль поймалъ себя на мысли, что больше этого выдержать не можетъ.

Въ Парижъ они выѣхали экстренно. Утромъ, на пляжѣ, Елена Федоровна взволнованно сообщила Мусѣ, что Леони вдругъ уѣхала въ Парижъ, не простившись, ничего не объяснивъ: ее вызвалъ по телефону Мишель. Объясненія такъ и не послѣдовало. Дня черезъ два изъ Парижа вызвали по телефону Мусю. Мишель кратко сообщилъ объ исчезновеніи Вити — и повѣсилъ трубку при первомъ ея восклицаніи ужаса.

Началась экзотика: нервы, суматоха. Клервилль

успокаивалъ жену, — ничего страшнаго съ Витей случиться не могло: ушелъ и, по всей вѣроятности, скоро вернется; а если въ самомъ дѣлѣ уѣхалъ въ бѣлую армію, какъ она предполагаетъ, то это его право и, быть можетъ, его долгъ. Муся посмотрѣла на мужа почти съ ненавистью. Ему это доставило удовольствіе, — онъ самъ изумился. Клервилль согласился съ женой, что ей необходимо вернуться въ Парижъ и что онъ долженъ ее сопровождать. Согласился, стиснувъ зубы, уѣхать немедленно. Онъ успѣлъ только забѣжать на поло, проститься съ лошадьми, сдѣлать о нихъ распоряженія.

Не пожелала остаться одна на морѣ и Елена Федоровна, — ее терзало любопытство: что такое случилось въ домѣ Георгеску? Къ тому же, погода рѣзко измѣнилась, жаркіе дни кончились. Елена Федоровна заявила, что тоже покидаетъ Довилль. Она, видимо, надѣялась, что Клервилли предложатъ ей мѣсто въ своемъ автомобилѣ. Они однако этого не сдѣлали, и ихъ нелюбезность — она говорила: хамство — вызвала у нея слезы бѣшенства.

Елена Федоровна отлично знала, что ее считаютъ злой; она допускала даже, что въ этомъ мнѣніи можетъ быть нѣкоторая доля правды. Но люди, бранившіе ее, не понимали и не желали понять, что она одинокая старящаяся женщина, что у нея никого нѣтъ, что небольшія деньги ея таютъ съ каждымъ днемъ. У Муси былъ мужъ съ милліонами (она очень преувеличивала новое богатство Клервилля). У Жюльеттъ были мать, братъ, какіе-то родные, какое-то имущество въ Румыніи. У нея же никакой опоры въ жизни не было. Пока деньги оставались, съ ней еще разговаривали какъ съ равной — и то не совсѣмъ, а почти какъ съ равной. Но если растаютъ послѣдніе гроши, что тогда? Объ этомъ она не могла подумать безъ ужаса и все боль-

ше приходила къ мысли, что только деньги имѣютъ значеніе въ жизни, хоть почему-то люди считаютъ нужнымъ притворяться, будто есть еще что-то другое. И Муся съ ея шальной роскошью, Жюльеттъ съ ея увѣренностью въ своемъ умственномъ превосходствѣ, цѣпкая, ловкая Леони съ ея видомъ кроткаго терпѣнія, съ наигранной покорностью волѣ Божьей, вызывали у баронессы Стеріанъ чрезвычайное раздраженіе, котораго она по мѣрѣ силъ не проявляла только потому, что совсѣмъ поссориться съ ними было бы ей тяжело и невыгодно. Она знала, что всѣмъ говоритъ непріятности, но знала также, что по природѣ своей не можетъ не говорить ихъ, — и самой себѣ объясняла, что, по крайней мѣрѣ, она-то не лицемѣритъ; другіе же только прикрываютъ вѣжливостью, любезностью свой совершенный эгоизмъ, безчувственость, злобу. Особенно раздражало ее теперь воспоминаніе о мужчинахъ, которые были съ ней близки. Ихъ, отъ Фишера до Загряцкаго и Нещеретова (Витю она и не считала), было много, и всѣ они были ей одинаково гадки. «Только Мишель настоящій человѣкъ!..» Елена Федоровна блѣднѣла, когда молодой Георгеску говорилъ о своемъ возможномъ отъѣздѣ въ Румынію для политической работы.

Вернувшись въ Парижъ по желѣзной дорогѣ, Елена Федоровна тотчасъ все о Жюльеттъ узнала, какъ ни старались Леони и Мишель скрыть семейную тайну. Никакой опасности больше не было. Елена Федоровна, закатывая глаза, всѣмъ разсказывала подъ строжайшимъ секретомъ, что полоумная дѣвчонка отравилась вероналемъ изъ-за Серизье и что спасло ее лишь промываніе желудка: «Слава Богу, что Мишель не растерялся, — если-бъ врачъ пришелъ однимъ часомъ позже, она навѣрное погибла бы! И какое еще счастье, что дѣло не попало въ газеты!» Несмотря на свое джентльмэнское от-

сутствіе интереса къ чужой психологіи, Клервилль ясно видѣлъ, что эта румынская баронесса, которую онъ всегда терпѣть не могъ, чрезвычайно рада униженію Жюльеттъ, скандалу, промыванію желудка, и была бы совсѣмъ счастлива, если-бъ дѣло попало въ газеты.

Но ему было не до Елены Федоровны. Мусю оба происшествія потрясли необыкновенно. Она плакала цѣлые дни. Бѣда съ Жюльеттъ, по крайней мѣрѣ, была понятна, не вызывала у Муси угрызенія совѣсти и не требовала съ ея стороны никакихъ дѣйствій. Но относительно Вити она терялась въ догадкахъ. Если уѣхалъ въ армію, почему не оставилъ письма, хотя бы записки въ нѣсколько словъ? Муся не чувствовала, а з н а л а, что дѣло связано съ ней; но какъ связано, она понять не могла. Клервилль нехотя предложилъ обратиться къ Серизье за рекомендательнымъ письмомъ въ префектуру. Муся поспѣшно отклонила предложеніе, сказавъ, что это неудобно изъ-за Георгеску; мужъ тотчасъ съ ней согласился. Вмѣстѣ съ тѣмъ она требовала, чтобы на ноги была поднята вся французская полиція. Клервилль дѣлалъ что могъ, всюду сопровождалъ жену, ѣздилъ по ея порученіямъ.

Толку выходило немного. Въ участкѣ, куда они бросились первымъ дѣломъ, комиссаръ внимательно выслушалъ разсказъ Муси, освѣдомился, сколько лѣтъ молодому человѣку, и затѣмъ саркастически-гробовымъ тономъ заявилъ, что, къ несчастью, никакого сомнѣнія быть не можетъ: конечно, 19-лѣтнее д и т я убито, ограблено и брошено въ Сену, — всѣ доказательства налицо: ужъ если оно ушло изъ дому и не возвращается четыре дня! Не только Муся растерялась, но и Клервилль нѣсколько оторопѣлъ. Комиссаръ, фыркая, что-то куда-то записалъ, — было достаточно ясно, что онъ не

спать ночей изъ-за этого дѣла не станетъ. Позднѣе Клервилль немало веселился, вспоминая физіономію, слова, интонацію голоса комиссара.

Ничего не дала и бѣготня по другимъ инстанціямъ, хотя вездѣ Мусю вѣжливо выслушивали, записывали ея заявленіе въ вѣдомость и обѣщали тотчасъ дать знать, если что выяснится.

Витя пропалъ безъ вѣсти.

Клервилль долженъ былъ проводить съ женой почти весь день, — нельзя было ссылаться и на службу: срокъ его отпуска еще не истекъ. Тамара Матвѣевна, какъ ему казалось, воспользовалась случаемъ и отъ нихъ не выходила. Она разъ десять разсказывала со всѣми подробностями свой разговоръ съ Витей, — ей сразу показалось, что онъ какой-то странный!.. Высказывались о бѣгствѣ Вити (такъ же, какъ о причинахъ поступка Жюльеттъ) самыя разнообразныя догадки. Спорили обычно Тамара Матвѣевна и Елена Федоровна, — какъ споритъ большинство людей: каждая утверждала свое потому, что другая утверждала противоположное. Клервилль чувствовалъ, что Витя ему осточертѣлъ. Ему было рѣшительно все равно, куда бѣжалъ этотъ нелѣпый юноша, и зачѣмъ бѣжалъ, и что съ нимъ будетъ: лишь бы только не возвращался возможно дольше. Но высказать это было, очевидно, неудобно. Напротивъ, требовалось поддерживать разговоръ, придумывать свои догадки, обсуждать чужія, умолять Мусю не волноваться, — волненіемъ дѣлу не поможешь. Скрытое раздраженіе Клервилля все росло.

Зато отъ Вити же, значительно позднѣе, пришло и спасеніе — или, по крайней мѣрѣ, передышка. Писемъ отъ него не было, полиція ничего не выяснила, Муся была неутѣшна и отравляла жизнь мужу. Объявила она ему — совершенно некстати — и то,

что не хочетъ имѣть ребенка: «Онъ родился бы въ такой обстановкѣ сумасшедшимъ!» — «Это вполнѣ возможно», — подумалъ съ негодованіемъ Клервилль. Хоть онъ и самъ не слишкомъ хотѣлъ имѣть дѣтей, все же съ этого дня отчужденіе между ними еще усилилось. Муся не была противна Клервиллю, но почти все въ ней и въ близкихъ ей людяхъ раздражало его чрезвычайно.

Однажды, слушая въ сотый разъ, съ тихой злобой, жалобы Муси на Мишеля, на себя, на полицію, Клервилль сказалъ, что англійское военное вѣдомство тѣснѣе связано съ бѣлыми, чѣмъ французское: ему, навѣрное, гораздо легче навести справки. Сказалъ онъ это безъ всякой затаенной мысли, — и вдругъ его такъ и осѣнило. Муся встрепенулась. — «Отчего же ты молчалъ до сихъ поръ? Надо сейчасъ же принять всѣ мѣры. Вѣдь мистеръ Блэквудъ давно уѣхалъ изъ Довилля въ Лондонъ, надо попросить, чтобъ онъ похлопоталъ!» — «Отличная мысль», — подтвердилъ Клервилль, — у него большія связи. Вотъ только захочетъ ли онъ? Да и адреса его я не знаю. Развѣ написать наудачу въ посольство?» — «Не написать, а телеграфировать!» — «Куда же? Да въ телеграммѣ всего этого не изложишь, даже въ письмѣ трудно. Разумѣется, и у меня нашлись бы въ Лондонѣ связи»... — «Но отчего же ты молчалъ до сихъ поръ?! Умоляю тебя, напиши сейчасъ же всѣмъ, кому только можно! А можетъ быть, ты самъ туда поѣдешь?» — «Поѣхать?» — раздумчиво спросилъ Клервилль, — «конечно, такія дѣла не устраиваются письмами, надо хлопотать лично». Съ видомъ готовности на всякія жертвы, Клервилль согласился завтра же выѣхать въ Лондонъ.

Несмотря на его жертвенность, передъ самымъ отъѣздомъ вышла размолвка, чуть только не ссора. Клервилль, допивая утреннее кофе, съ энергич-

нымъ видомъ излагалъ свой планъ дѣйствій: онъ первымъ дѣломъ бросится въ министерство, въ Intelligence Service, въ штабъ, затѣмъ разыщетъ мистера Блэквуда и попроситъ его поговорить съ министромъ. Муся слушала мужа недоброжелательно: его рвеніе показалось ей подозрительнымъ. Она не очень удачно придралась къ тому, что первымъ пришло ей въ голову. — «Все-таки это странно, что въ вашей Англіи англичане должны обращаться за протекціей къ американцу!» — «Къ сожалѣнію, я съ этимъ министромъ не знакомъ». — «Ни съ этимъ, ни съ другими. Но я не думала, что власть денегъ въ Англіи такъ велика». — «Я собственно не вижу, при чемъ тутъ власть денегъ? Англія въ деньгахъ мистера Блэквуда не нуждается, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ иностранцу бываетъ легче похлопотать: за нимъ дипломатическая поддержка». — «Однако если-бъ этотъ иностранецъ былъ не американскій милліардеръ, а, напримѣръ, сербскій пастухъ, то было бы иначе». — «Возможно. Дѣйствительно, съ милліардерами вездѣ больше считаются, чѣмъ съ пастухами». — «Я именно это и говорю». — «Поздравляю съ открытіемъ». — Клервилль хотѣлъ было добавить: «Впрочемъ, если вамъ не нравятся англичане и англійскіе порядки, то...» Онъ однако сдержался; да и самъ не зналъ, что собственно послѣдуетъ за «то». Ссориться теперь, передъ самымъ отъѣздомъ, было бы безсмысленно. Онъ улыбнулся, посмотрѣлъ на часы, по телефону попросилъ швейцара подозвать автомобиль и приступилъ къ исполненію прощальнаго обряда. Вмѣсто обыкновеннаго поцѣлуя полагался поцѣлуй длинный, — Клервилль мысленно называлъ его «экраннымъ». Муся, по просьбѣ мужа, на вокзалъ его не провожала. Ей и тяжело было, что онъ уѣзжаетъ: онъ былъ надежной опорой, — и вмѣстѣ съ тѣмъ она почувствовала облегченіе послѣ его отъѣзда.

XX.

Клервиль оживился еще въ автомобилѣ, отвозившемъ его на вокзалъ. Но по настоящему онъ воспрянулъ духомъ только вступивъ на британскую территорію. Въ купэ ему принесли чай, настоящій англійскій чай, о которомъ никто въ Парижѣ не имѣлъ понятія. Въ Лондонѣ почтительные носильщики, безъ шума, безъ крика, перенесли его вещи въ изящный экипажъ съ почтительнымъ кучеромъ позади. Экипажъ этотъ держался не правой, а лѣвой стороны улицы. На перекресткахъ великаны-полицейскіе стояли съ видомъ джентльменски-привѣтливымъ, а не угрюмымъ и злымъ, — полицейскіе другихъ странъ точно всегда составляли протоколъ за нарушеніе какихъ-то правилъ. Клервилль радовался всему этому какъ школьникъ на каникулахъ. Можетъ быть, Парижъ или Петербургъ были красивѣе Лондона, можетъ быть, и Муся лучше молодыхъ англичанокъ, — это дѣла не мѣняло.

Остановился онъ въ своемъ клубѣ. Въ комнатахъ этого клуба было что-то пріятно-старомодное, — какъ въ итальянской оперѣ или въ драмѣ въ стихахъ. О клубѣ ходилъ анекдотъ, будто одинъ изъ его членовъ, которому кто-то, по неопытности, сказалъ въ гостиной «Добрый вечеръ», немедленно послалъ дирекціи заявленіе о своемъ уходѣ, не желая состоять въ обществѣ столь назойливыхъ и болтливыхъ людей. Клубъ очень гордился этимъ анекдотомъ; но Клервилль зналъ, что понимать его надо въ переносномъ смыслѣ. Въ столовой онъ встрѣтилъ старыхъ пріятелей и пообѣдалъ такъ весело, какъ съ нимъ давно не случалось. Обѣдъ былъ безъ тонкостей; но и Clear Turtle, и Fried fillets of Sole, и Baron of Beef, и Stilton были солидные, честные, — самыя слова эти, тоже солидныя, честныя, англій-

скія, доставляли ему наслажденіе. Превосходный портвейнъ, хранившійся въ погребахъ клуба болѣе полувѣка, окончательно умилилъ Клервилля.

Говорили за столомъ не по французски, а по англійски, — почему собственно онъ, коренной англичанинъ, долженъ былъ разговаривать по французски съ женой? это его утомляло. Говорили о погодѣ съ надеждой на ея улучшеніе, о недавнемъ провалѣ всеобщей стачки съ признаніемъ полной побѣды разумной части населенія надъ забастовщиками, о пріѣздѣ Пуэнкаре въ Англію, о происках Франціи, которая явно стремилась установить свою гегемонію вмѣсто германской. Ругали Ллойдъ-Джорджа за лукавство, но отдавали должное его уму и геніальности. Вспоминали войну, погибшихъ товарищей, обсуждали служебныя новости, награды, повышенія. Всѣ продвинулись впередъ, но лишь немногіе быстрѣе Клервилля.

Онъ слушалъ пріятелей съ удовольствіемъ, даже съ нѣкоторой завистью, — ни у кого изъ нихъ въ жизни экзотики не было. Клервилль былъ умнѣе и образованнѣе большинства своихъ товарищей и не считалъ нужнымъ блистать въ ихъ обществѣ. Въ глубинѣ души онъ и въ Петербургѣ думалъ, что по образованію, по уму стоитъ отнюдь не ниже своихъ русскихъ собесѣдниковъ, быть можетъ, выше очень многихъ изъ нихъ. Но тонъ и характеръ петербургскихъ разговоровъ часто его утомляли. «Что мнѣ въ ихъ тонкости, если и есть у нихъ тонкость? Она просто не нужна, какъ не нужно разрѣзывать хлѣбъ бритвой... Да и бритва, можетъ быть, у нихъ не такая ужъ острая»... Здѣсь, въ клубѣ, прекрасно воспитанные люди просто, весело болтали и о мудреныхъ, и о немудреныхъ предметахъ. О предметахъ мудреныхъ они высказывали не свои мысли, но это было настолько всѣмъ оче-

видно, что тутъ стыдится было нечего: столь же условно король говоритъ тронную рѣчь отъ своего имени, хотя всѣмъ извѣстно, что въ ней нѣтъ ни одного сочиненнаго имъ слова. За всѣхъ думалъ вѣковой, превосходно работающій аппаратъ накопленной мудрости. Это нисколько не мѣшало каждому изъ нихъ имѣть внутреннюю жизнь, иногда богатую и напряженную. Клервилль зналъ и то, что во всей Англіи эти нехитрые люди, послѣ выигранной ими войны — которая оказалась войной за наслѣдство русскихъ царей, — ведутъ огромную соціально-политическую работу, ведутъ безъ шума, безъ рекламы, безъ истерики — и главное безъ крови. До сихъ поръ Клервилль никогда такъ не радовался тому, что онъ англичанинъ, такъ этимъ не гордился. «Браунъ говоритъ, что нѣсколько безспорныхъ цѣнностей въ мірѣ еще все-таки осталось: «свобода мысли, таблица умноженія»... Что-жъ, мы именно безспорныя цѣнности и сохранили»...

Послѣ обѣда онъ позвонилъ къ мистеру Блэквуду (отлично зналъ, что тотъ остановился въ Savoy) и по телефону изложилъ ему дѣло такъ подробно, что, собственно, во встрѣчѣ не было надобности. Мистеръ Блэквудъ выслушалъ, записалъ имя и фамилію Вити, и предложилъ встрѣтиться завтра въ галлереѣ Палаты Общинъ. Онъ не былъ знакомъ съ тѣмъ министромъ, отъ котораго зависѣло дѣло, но сказалъ, что это ничего не значитъ: познакомиться будетъ очень просто. Его тонъ чуть-чуть покоробилъ Клервилля. Несмотря на свой споръ съ Мусей, онъ былъ немного задѣтъ тѣмъ, что иностранецъ достаетъ для него билетъ въ парламентъ и обѣщаетъ, да еще съ такой увѣренностью, повліять на британскихъ министровъ. Кромѣ того не было никакой необходимости торопиться съ этимъ дѣломъ.

Затѣмъ Клервилль позвонилъ по телефону одной

своей молодой пріятельницѣ. Хотѣлъ встрѣтиться съ ней еще сегодня, — это оказалось, къ его огорченію, невозможнымъ; они условились вмѣстѣ позавтракать на слѣдующій день. Вернувшись въ гостиную, Клервилль, вопреки анекдоту, весело бесѣдовалъ съ пріятелями за портвейномъ и сигарами.

Поздно вечеромъ, въ своей комнатѣ, онъ отворилъ окно настежь, — Муся съ октября не соглашалась спать при отворенныхъ окнахъ, — принялъ вторую за день ванну и передъ сномъ открылъ новый романъ Голсуорси, купленный въ Дуврѣ, — не въ Таухницевомъ, а въ настоящемъ переплетенномъ англійскомъ изданіи. Клервилль читалъ съ восхищеніемъ: здѣсь никто не сжигалъ въ печкѣ ста тысячъ, но и безъ балалаекъ (метафора эта очень ему нравилась) сложная жизнь могла описываться чрезвычайно умно и тонко. Онъ встрѣтилъ какъ-то въ обществѣ автора этой книги; тотъ учтиво и просто поблагодарилъ его за комплименты, съ видомъ достойнымъ и искреннимъ, — хоть Клервилль догадывался, что этого признаннаго всѣми писателя можетъ по настоящему интересовать лишь мнѣніе пяти или шести человѣкъ въ Англіи, знающихъ толкъ въ литературѣ.

Онъ читалъ внимательно, слѣдя за поступками, за словами героевъ романа, провѣряя мысленно ихъ, какъ знакомыхъ. О себѣ Клервилль почти не думалъ, но всей душой чувствовалъ ту же тихую радость освобожденія. Вспомнилъ о Серизье, но мысль объ этомъ человѣкѣ теперь почти не была непріятна Клервиллю. Въ третьемъ часу ночи онъ оторвался отъ книги, потушилъ лампу и сказалъ себѣ твердо, что экзотика кончена, кончена навсегда. Точно въ тугомъ, не развязывавшемся узлѣ онъ вдругъ оттянулъ одну нить, — теперь долженъ развязаться и весь узелъ. Та неясная мысль о разводѣ,

которая тревожно у него вставала въ послѣдніе дни, утратила непосредственное значеніе. Навожденіе разсѣялось и независимо отъ развода съ Мусей.

Клервилль вернулся на родину.

XXI.

Мистеръ Блэквудъ сожалѣлъ, что назначилъ на этотъ день свиданье Клервиллю въ Вестминстерскомъ дворцѣ. Онъ чувствовалъ себя плохо, печень разболѣлась, и съ утра его мучила мысль о томъ, что жизнь кончена, — «надо укладываться». Было не до встрѣчъ съ посторонними людьми и не до ходатайствъ за постороннихъ людей передъ англійскими министрами. Но мистеръ Блэквудъ всегда держалъ слово и въ условленное время, въ четверть третьяго, уже находился во дворцѣ.

Билетъ для него приготовилъ знакомый членъ палаты общинъ, очень любезный, прекрасно одѣтый старикъ, состоявшій членомъ парламента лѣтъ двадцать. По профессіи онъ былъ банкиръ. Мистеръ Блэквудъ терпѣть не могъ банкировъ и чуть только не считалъ ихъ вампирами, почти сходясь въ этомъ съ коммунистами. Онъ былъ убѣжденъ, что если-бы судить даже не по высшей справедливости, но просто по духу закона, а не по его буквѣ, то для громаднаго большинства банковыхъ дѣятелей — и ужъ, конечно, для всѣхъ почти банкировъ новѣйшаго, чисто-спекулятивнаго поколѣнія, — нашлось бы мѣсто въ арестантскихъ отдѣленіяхъ. Между тѣмъ, въ арестантскія отдѣленія они не попадали, — напротивъ пользовались въ обществѣ не меньшимъ почетомъ, чѣмъ онъ самъ. Къ нимъ, вдобавокъ, въ послѣдніе годы переходило рѣшительно все: промышленныя предпріятія, дома, желѣзныя дороги, газеты. Это чрезвычайно раздражало мистера Блэквуда; онъ и свой планъ производственнаго банка разработалъ отчасти для борьбы съ банковыми вампирами. Однако нѣкоторыя исключенія онъ дѣлалъ: членъ парламента, человѣкъ очень порядочный, былъ банкиромъ стараго поколѣнія, и

банкъ у него былъ фамильный, наслѣдственный, а не акціонерный съ ограниченной отвѣтственностью, — въ ограниченной отвѣтственности акціонерныхъ обществъ мистеръ Блэквудъ видѣлъ огромное общественное зло.

Они долго ходили по Вестминстерскому дворцу, — мистеръ Блэквудъ никогда въ этомъ дворцѣ не былъ. Ему хотѣлось сѣсть, хотѣлось поскорѣе отдѣлаться отъ учтиваго члена палаты, — раздражали и длинныя скучныя объясненія старика, и его монокль, и его брюки, напоминавшія лезвіе ножа, и даже его необычайная любезность. Мистеръ Блэквудъ привыкъ къ тому, что знакомство съ нимъ считалось особой честью, далеко не всѣмъ доступной. Обычно онъ принималъ это, какъ должное. Но въ дурные дни чрезмѣрная любезность людей тяготила мистера Блэквуда: почтеніе, очевидно, относилось не къ нему самому, а къ его богатству. Здѣсь оно было, по существу, вполнѣ безкорыстно: старый членъ парламента не ждалъ и не могъ ждать отъ него ни денежныхъ, ни какихъ бы то ни было иныхъ услугъ. И тѣмъ не менѣе разговаривалъ онъ съ нимъ — мистеръ Блэквудъ чувствовалъ— не совсѣмъ такъ, какъ говорилъ бы съ другимъ человѣкомъ.

Достопримѣчательности Вестминстерскаго дворца не заинтересовали мистера Блэквуда. Исторію онъ зналъ плохо, культа старины у него не было, да и старина была здѣсь какъ будто подкрашенная, не совсѣмъ настоящая. Онъ дѣлалъ надъ собой усиліе, чтобы хоть въ малой степени изображать интересъ къ огромнымъ историческимъ картинамъ, очень похожимъ одна на другую, и къ той плиткѣ на полу Вестминстеръ-холла, на которой стоялъ Карлъ I во время своего процесса.

Затѣмъ любезный членъ парламента повелъ его въ «лобби», — внутренніе апартаменты палаты об-

щинъ. Входъ туда, собственно, запрещался постороннимъ людямъ, но для мистера Блэквуда, очевидно, запретовъ не существовало. Въ переполненномъ шумномъ лобби онъ тоже не нашелъ ничего интереснаго. Перваго министра, котораго, какъ главную достопримѣчательность дворца и всей Англіи, желалъ бы увидѣть мистеръ Блэквудъ, въ лобби не было: по объясненію банкира, наиболѣе извѣстные государственные дѣятели заходили сюда рѣдко; Гладстонъ, напримѣръ, былъ въ лобби всего одинъ разъ за десять лѣтъ. «Это, вѣроятно, для престижа, чтобы не смѣшиваться съ толпой», — сказалъ мистеръ Блэквудъ, — «вожди демократіи не должны быть ни слишкомъ горды, ни слишкомъ просты». Членъ парламента ничего не отвѣтилъ. Оказалось впрочемъ, что въ лобби находится тотъ министръ, отъ котораго зависѣло дѣло Клервилля. Мистеръ Блэквудъ подумалъ, что можетъ выполнить порученіе и не дожидаясь пріѣзда своего знакомаго. Онъ попросилъ члена парламента познакомить его съ этимъ министромъ. Произошло опять то же самое: несмотря на то, что министру рѣшительно ничего не было нужно отъ американскаго богача, онъ проявилъ къ дѣлу необыкновенное вниманіе и предложилъ одному изъ секретарей спѣшно затребовать справку. «Да, и здѣсь царство денегъ», — угрюмо думалъ мистеръ Блэквудъ, благодаря министра. «Другому для этой справки, вѣрно, потребовалась бы недѣля». Ему показалось даже, что самъ министръ вдругъ почувствовалъ чрезмѣрность своего вниманія и нарочно подтянулся, дабы не уронить достоинства. Мистеръ Блэквудъ сознавалъ несправедливость своихъ мыслей; но печень у него болѣла все сильнѣе. «Да, само по себѣ все это не такъ скверно: и банки, и парламенты, и газеты, и министры. Но что-то дѣлаетъ это сквернымъ, и они сами не желаютъ своего спасенія»...

Какъ разъ тогда, когда мистеръ Блэквудъ заканчивалъ разговоръ съ министромъ — оба не знали, что еще сказать другъ другу, — двери лобби отворились; за ними кто-то громко неестественнымъ, параднымъ голосомъ прокричалъ нараспѣвъ: «Шляпы долой! Дорогу спикеру!..» У дверей тотчасъ всѣ почтительно склонились. По коридору шла странная процессія: за людьми въ камзолахъ, въ короткихъ панталонахъ, въ шелковыхъ чулкахъ проходилъ, тоже не совсѣмъ естественной, парадной походкой, немолодой, очень представительный человѣкъ въ огромномъ парикѣ, въ длинной мантіи, которую сзади поддерживали, какъ шлейфъ, другіе неестественно одѣтые люди. Передъ спикеромъ кто-то несъ на плечѣ странный предметъ. «Mace! Mace!» — прошепталъ членъ парламента, видимо ждавшій выраженій восторга. Онъ пояснилъ мистеру Блэквуду, что это древняя реликвія палаты общинъ, правда, не настоящая, — настоящая, кажется, находится гдѣ-то на Ямайкѣ, — но очень старая, знаменитая реликвія. «Шляпы долой! Дорогу спикеру!» — опять съ точно той-же строго-внушительной интонаціей пропѣлъ впереди голосъ.

Депутаты устремились въ залъ вслѣдъ за процессіей. Министръ простился съ американскимъ гостемъ, выразивъ радость по случаю знакомства. Старый членъ парламента сдалъ мистера Блэквуда лакею, который по лѣстницѣ проводилъ его въ галлерею для почетныхъ иностранцевъ. «Надо дать на-чай», — подумалъ мистеръ Блэквудъ, опуская руку въ жилетный карманъ. Какъ на зло, у него оказалась только монета въ полкроны. Давать такъ много было неразумно и неприлично, но выбора не было. Мистеръ Блэквудъ сердито сунулъ монету лакею, который вытаращилъ глаза. «Спикеръ молится», — прокричалъ внизу голосъ. Сразу во всемъ зданіи наступила тишина.

Входить въ галлерею для почетныхъ иностранцевъ еще не дозволялось. Однако, лакей не рѣшился затворить дверь передъ носомъ такого гостя и избралъ полумѣру: оставивъ дверь незатворенной, онъ почтительнымъ шепотомъ попросилъ немного подождать. Мистеръ Блэквудъ остановился на порогѣ; ему была видна только часть зала. Спикеръ торжественно вошелъ въ залъ и, не садясь, поклонился собственному креслу. Послышались слова молитвы, ее читали въ два голоса капелланъ и спикеръ. Боль у мистера Блэквуда усилилась; онъ ухватился за бортъ двери, чтобы не упасть. Лакей безпокойно взглянулъ на его руку: это движеніе, очевидно, не было предусмотрѣно правилами. Внизу послышался шумъ, говоръ голосовъ; члены палаты занимали мѣста. Мистеръ Блэквудъ сѣлъ и передохнулъ. Стало легче.

Первое его впечатлѣніе было неблагопріятное. Все здѣсь напоминало ему масонскіе обряды. Какъ большинство американцевъ его круга, мистеръ Блэквудъ былъ масономъ. Въ свое время онъ вошелъ въ лучшую ложу Нью-Іорка; это произошло само собой, — почти такъ же, какъ онъ сталъ членомъ лучшаго нью-іоркскаго клуба. Бывалъ онъ въ ложѣ рѣдко, и всякій разъ его тамъ непріятно поражало несоотвѣтствіе между стариннымъ, торжественнымъ, хоть не очень стройно (много хуже, чѣмъ здѣсь) выполнявшимся обрядомъ и тѣми незначительными, прозаическими, въ большинствѣ благотворительными, дѣлами, къ которымъ переходили въ ложѣ послѣ обрядовъ.

Дверь въ галлерею отворилась, на порогѣ появился Клервилль. Онъ подошелъ на цыпочкахъ къ мистеру Блэквуду и сѣлъ рядомъ съ нимъ, особенно крѣпко пожавъ ему руку. Лицо у него было веселое, возбужденное, отъ него пахло виномъ. — «Это не такъ важно», — сухо проговорилъ вполголоса

мистеръ Блэквудъ въ отвѣтъ на извиненія Клервилля, — «засѣданіе только что началось». — «Я страшно сожалѣю, что опоздалъ: совершенно неотложное дѣло»... — «Я такъ и думалъ». — «Говорятъ, сегодня очень интересное засѣданіе... А, военный министръ уже здѣсь». — «Гдѣ?» — «На правительственныхъ мѣстахъ. Это мѣста по правую отъ спикера сторону стола. Противъ нихъ, по лѣвую сторону, сидятъ вожди оппозиціи... Военный министръ вотъ этотъ второй», — шепталъ Клервилль, показывая глазами на плотнаго коренастаго человѣка съ умнымъ, очень подвижнымъ и выразительнымъ лицомъ.

Лакей, считавшій себя теперь обязаннымъ заботиться объ американскомъ гостѣ, принесъ ему большой бѣлый листъ, и, почтительно наклонившись, прошепталъ, что особое вниманіе надо обратить на номеръ 66-й. На листѣ, подъ заголовкомъ «Вопросы для устнаго отвѣта«, были красиво, съ шестиконечными звѣздочками въ началѣ строчекъ, отпечатаны разные вопросы подъ номерами. Ихъ было очень много. Мистеръ Блэквудъ заглянулъ въ 66-ой номеръ. Перваго министра запрашивали объ Украинѣ: не подвергаются ли тамъ преслѣдованіямъ Петлюра и его сторонники, не доставляетъ ли британское правительство оружіе врагамъ Петлюры, не дѣлается ли это съ одобренія перваго министра, и не намѣренъ ли первый министръ принять какія-либо мѣры для того, чтобы положить конецъ подобнымъ дѣйствіямъ?

— Какъ это произносится и кто этотъ человѣкъ? — строго спросилъ Клервилля шепотомъ мистеръ Блэквудъ, тыча пальцемъ въ имя Петлюры.

— Это диктаторъ на югѣ Россіи, — неувѣренно отвѣтилъ Клервилль.

— Развѣ диктаторъ на югѣ Россіи не генералъ Деникинъ?

— Да, конечно. Кажется, ихъ два... Петлюра либеральнѣе генерала Деникина. Странно, что въ вопросѣ помѣщено имя, обычно это не дѣлается, — сказалъ Клервилль, не разъ бывавшій въ палатѣ общинъ.

Мистеръ Блэквудъ сердито пожалъ плечами, отвернулся отъ Клервилля и уставился внизъ. Вопросы уже начались. Одинъ изъ членовъ оппозиціи поднялся съ мѣста и попросилъ министра, значившагося въ первой строчкѣ бѣлаго листа, отвѣтилъ на вопросъ номеръ первый. Министръ заглянулъ въ бѣлый листъ, всталъ и очень ясно, кратко, толково далъ отвѣтъ. Рѣчь шла о доставкѣ молока въ какія-то благотворительныя учрежденія. Закончивъ объясненія, министръ сѣлъ. Спрашивавшій членъ палаты неопредѣленно кивнулъ головой, съ видомъ неполнаго довѣрія. Выраженіе его лица какъ будто означало: «Спорить не буду, а можетъ быть, все это совершенно не такъ»... Затѣмъ другой членъ палаты попросилъ другого министра отвѣтить на вопросъ номеръ второй — о постройкѣ казеннаго зданія въ Манчестерѣ — и получилъ столь же краткій, простой и дѣловитый отвѣтъ. Мистеру Блэквуду хотѣлось находить здѣсь все дурнымъ, смѣшнымъ или нелѣпымъ, но по совѣсти онъ не могъ этого сдѣлать. То, что происходило внизу, было похоже на столь ему привычныя засѣданія правленій хорошихъ, процвѣтающихъ акціонерныхъ обществъ: акціонеры вѣжливо задавали вопросы, члены правленія вѣжливо и дѣловито отвѣчали. Риторикой никто не занимался, люди дѣлали дѣло. Удивило мистера Блэквуда лишь то, что на одной изъ заднихъ скамей спалъ какой-то членъ палаты въ цилиндрѣ. Видимо, это никого здѣсь не смущало. У себя въ правленіи мистеръ Блэквудъ этого не допустилъ бы. «Знаете, каковы обязанности того человѣка, что сидитъ у входа? — сказалъ Клервилль. —

Онъ защищаетъ палату отъ короля. Если-бъ король пожелалъ сюда войти, этотъ человѣкъ обязанъ захлопнуть дверь у него подъ носомъ». — «Ничего умнаго въ этомъ нѣтъ, — подумалъ раздраженно мистеръ Блэквудъ. — Вѣроятно, въ старину эту штуку изобрѣлъ какой-нибудь озорникъ. Серьезному человѣку она не могла придти въ голову. Традиція лишь закрѣпила озорство, только и всего»... — «Видите эту шкатулку, что стоитъ на столѣ рядомъ съ mace? На ней остались слѣды перстня Гладстона! Увлекаясь во время рѣчи, онъ съ силой ударялъ рукой по шкатулкѣ»... Мистеръ Блэквудъ недовольно мычалъ. — «Обратите также вниманіе на кресло спикера, — шепталъ Клервилль. — Оно сдѣлано изъ дерева фрегата Нельсона». — «Мнѣ въ одной вашей школѣ, помнится, говорили, что тамъ скамейки сдѣланы изъ дерева Непобѣдимой Армады, на нихъ, кажется, сѣкутъ школьниковъ», — сердито сказалъ мистеръ Блэквудъ. Его злило то, что Клервилль, видимо, всѣмъ здѣсь очень восхищался, и что отъ него пахло виномъ.

Члены палаты продолжали задавать дѣловые вопросы. Вслушиваясь въ объясненія министровъ, мистеръ Блэквудъ долженъ былъ признать, что трудно говорить проще, разумнѣе, лучше по тону, чѣмъ говорили они. Это прямо было ему непріятно, — такъ сильно въ немъ было желаніе все находить дурнымъ. «Но какія же это государственныя дѣла! Да, именно правленіе общества, не хватаетъ только сигаръ и виски»... Сходству способствовалъ и залъ, не очень большой, не очень роскошный, безъ ораторской трибуны. «Все торжественно и все крайне скучно». Нѣкоторые депутаты выходили изъ зала, — въ концѣ прохода они поворачивались къ спикеру, кланялись ему и исчезали. Одинъ изъ министровъ, отвѣчая на вопросъ, нехитро пошутилъ. Весь залъ засмѣялся; члены оппозиціи смѣялись такъ же

весело-благодушно, какъ депутаты правительственнаго большинства. Джентльменъ въ цилиндрѣ проснулся, спросилъ о чемъ-то сосѣда, тоже посмѣялся и снова заснулъ. Вождь оппозиціи, смѣясь, откинулся на спинку кресла и на радостяхъ, къ изумленію мистера Блэквуда, положилъ ноги на столъ, — на тотъ самый, на которомъ находились реликвіи, mace и Гладстонова шкатулка. Мистеръ Блэквудъ въ первую минуту подумалъ, что вождь оппозиціи внезапно сошелъ съ ума, и что его тотчасъ выведутъ изъ зала. Однако, никто въ палатѣ не нашелъ ничего страннаго въ поступкѣ вождя оппозиціи. Мистеръ Блэквудъ возмущенно оглянулся. Клервилль тоже весело смѣялся. «Вотъ тебѣ и ритуалъ! Странные люди англичане», — подумалъ мистеръ Блэквудъ.

— Гдѣ же первый министръ? — спросилъ онъ строгимъ тономъ, точно Клервилль отвѣчалъ за все, что здѣсь происходило.

— Первый министръ не бываетъ здѣсь въ эти часы. Свѣтила палаты обычно выступаютъ только часамъ къ пяти или вечеромъ, послѣ обѣда. Я думаю...

— Вы знаете, я уже сдѣлалъ то, о чемъ ваша жена просила, — перебилъ его мистеръ Блэквудъ. — Министръ приказалъ секретарю завтра снестись съ вами по телефону.

— Правда? Я чрезвычайно вамъ благодаренъ...

Внизу что-то произошло. «Withdraw! Withdraw! Order!» — закричали голоса. Мистеръ Блэквудъ, занятый разговоромъ, не разслышалъ сказаннаго. Въ залѣ, скрестивъ руки, стояли, съ нахмуренными лицами, другъ противъ друга, два члена палаты. Шумъ все росъ. «Возьмите это слово назадъ! Къ порядку!» — кричали на правительственныхъ скамьяхъ. Лица у многихъ стали злобными. Джентльменъ въ цилиндрѣ окончательно проснулся, освѣдомился о случившемся у сосѣда и возмущенно за-

кричалъ: «Withdraw!...» Мистеръ Блэквудъ нѣсколько оживился. До него долетѣло слово «шиннъ-файнъ». «А, Ирландія! Это имъ не молоко и не домъ въ Манчестерѣ», — подумалъ онъ не безъ радости.

Спикеръ наклонился въ креслѣ и необыкновенно внушительно поднялъ руку съ вытянутымъ указательнымъ пальцемъ. Этотъ жестъ, видимо, имѣлъ магнетическое дѣйствіе, — тотчасъ возстановилась тишина. Изъ разъясненія спикера выяснилось что достопочтенный членъ палаты отъ Дауна назвалъ дерзкимъ заявленіе главнаго секретаря лорда намѣстника Ирландіи. Спикеръ желалъ знать, употребилъ ли достопочтенный членъ палаты отъ Дауна слово «дерзкій» — impertinent — въ смыслѣ обычномъ или, быть можетъ, въ какомъ либо иномъ смыслѣ.

Всѣ насторожились. Вождь оппозиціи снялъ ноги со стола. Членъ палаты отъ Дауна, подумавъ съ минуту, сказалъ, что употребилъ слово «дерзкій» въ обычномъ смыслѣ, ибо иначе и нельзя было квалифицировать замѣчаніе главнаго секретаря лорда намѣстника Ирландіи, который назвалъ его адвокатомъ шиннъ-файнеровъ. «Order! Withdraw! Withdraw!», — снова закричали сердитые голоса. На заднихъ мѣстахъ люди повставали съ мѣстъ. Кое-гдѣ началась перебранка. Спикеръ холодно сказалъ, что въ своемъ обычномъ смыслѣ выраженіе это непарламентарно: достопочтенный членъ палаты отъ Дауна долженъ взять его назадъ. Членъ палаты отъ Дауна еще подумалъ и отказался взять назадъ свое выраженіе. Спикеръ снова сдѣлалъ магнетическій жестъ и ледянымъ тономъ предложилъ достопочтенному члену палаты отъ Дауна покинуть засѣданіе. Ему придется назвать по фамиліи достопочтеннаго члена палаты отъ Дауна.

Настала мертвая тишина. Членъ палаты отъ Дауна, поблѣднѣвъ, отвѣтилъ, что подчиняется распо-

ряженію спикера. «Наступитъ, однако, время, — произнесъ онъ торжественнымъ голосомъ, — когда всѣ члены этого дома будутъ одного мнѣнія въ оцѣнкѣ словъ, произнесенныхъ главнымъ секретаремъ лорда намѣстника Ирландіи». Сказавъ это, членъ палаты отъ Дауна направился къ выходу, отвѣсилъ поклонъ спикеру и вышелъ.

Палата подавленно молчала. Вождь оппозиціи снова положилъ ноги на столъ. Настроеніе въ залѣ перемѣнилось. Мистеръ Блэквудъ былъ очень доволенъ, у него и печень стала болѣть меньше. «Да, Ирландія, что имъ не молоко...» — «Очень забавный инцидентъ, — сказалъ онъ Клервиллю. — Какъ жаль все-таки, что вамъ не удается наладить добрыя отношенія съ Ирландіей». — «Ахъ, да, этотъ вѣчный вопросъ, — отвѣтилъ Клервилль, улыбаясь нѣсколько принужденно. — Кажется, это Таллейранъ сказалъ: «Небо и земля пройдутъ, но шлезвигъ-гольштейнскій вопросъ не пройдетъ»...

Въ это время одинъ изъ членовъ палаты поспѣшно подошелъ къ правительственнымъ мѣстамъ и что-то сказалъ съ радостнымъ видомъ военному министру, который тотчасъ вышелъ изъ зала. Внизу зашептались. Черезъ минуту на галлерею пришло извѣстіе, что пріѣхалъ первый министръ. Это, съ такой же радостью на лицѣ, сообщилъ мистеру Блэквуду лакей. — «Подобнаго случая не было больше трехъ лѣтъ!..» — «Какого случая?» — «Чтобы первый министръ пріѣхалъ во время вопросовъ». Клервилль кивнулъ головой мистеру Блэквуду, какъ бы говоря, что вотъ теперь-то самое настоящее и начнется. И мистеръ Блэквудъ съ раздраженіемъ почувствовалъ по выраженію лица Клервилля, что это его первый министръ и его палата, какъ существуетъ его парикмахеръ, его портной и его сапожникъ.

Въ залъ засѣданій быстро вошелъ Ллойдъ-

Джорджъ. Онъ, собственно, даже не вошелъ, а вбѣжалъ вприпрыжку, весело улыбаясь, видимо, нисколько не заботясь ни о церемоніалѣ, ни объ эффектномъ появленіи. Съ правительственныхъ скамей неслись возгласы одобренія. Оппозиція угрюмо молчала. Первый министръ пробѣжалъ къ своему мѣсту, сѣлъ, поздоровался съ сосѣдями, что-то сказалъ, о чемъ-то спросилъ, заглянулъ въ бѣлый листъ, заглянулъ въ бумаги, которыя ему подавались съ разныхъ сторонъ, — онъ какъ будто дѣлалъ все это одновременно. Отъ него шелъ токъ энергіи, бодрости, оживленія. Разговаривая съ министрами, онъ искоса бросилъ лукавый взглядъ на скамьи оппозиціи, засмѣялся, положилъ ноги на столъ и, углубившись въ бумаги, сталъ разсѣянно подталкивать ногой къ башмакамъ сидѣвшаго противъ него вождя оппозиціи шкатулку, — ту самую, на которой были слѣды перстня Гладстона. Мистеръ Блэквудъ не вѣрилъ собственнымъ глазамъ.

XXII.

Первый министръ не успѣлъ въ этотъ день по настоящему ознакомиться съ запросами. Войдя въ свой кабинетъ въ Вестминстерскомъ дворцѣ, онъ съ досадой пробѣжалъ бѣлый листъ. Вопросовъ, относившихся лично къ нему, было довольно много; всѣ они касались Россіи и почти всѣ были непріятны Ллойдъ-Джорджу: на одни онъ не могъ отвѣтить правду, на другіе не желалъ отвѣчать ничего, а на третьи не могъ отвѣтить вообще никто въ мірѣ, ибо они разумнаго смысла не имѣли.

Самымъ каверзнымъ по намѣренью былъ вопросъ 66-ой. Его задалъ необычайно лѣвый полковникъ, спеціализировавшійся съ нѣкоторыхъ поръ на русскихъ дѣлахъ. Первый министръ былъ не очень высокаго мнѣнія объ умѣ этого полковника (какъ и объ умѣ громаднаго большинства своихъ товарищей по парламенту). Однако, онъ не сомнѣвался, что и самъ полковникъ отлично понимаетъ нелѣпость своего вопроса; выступаетъ же отчасти изъ озорства, отчасти по непреодолимой потребности въ работѣ, въ шумѣ, въ рекламѣ, а больше всего изъ желанія сдѣлать непріятность правительству.

Сущность этой непріятности заключалась въ проявленіи разногласія, намѣтившагося по русскому вопросу между главой кабинета и военнымъ министромъ. Со времени гилдхоллской рѣчи Ллойдъ-Джорджа, вся Англія говорила о томъ, что онъ рѣшилъ пойти на соглашеніе съ большевиками, и что этому противится военное министерство, ведущее свою собственную политику.

Имя Петлюры было знакомо Ллойдъ-Джорджу. Но онъ ежедневно слышалъ такое число иностранныхъ, трудно произносимыхъ именъ, что связывать съ каждымъ изъ нихъ вполнѣ опредѣленныя пред-

ставленія было совершенно невозможно. Зазвонилъ телефонъ, секретари понеслись за справками, подоспѣлъ главный секретарь, который какимъ-то чудомъ помнилъ всѣ безчисленныя бумаги, поступавшія на разсмотрѣніе перваго министра. Личность и дѣла Петлюры были тотчасъ установлены.

Затѣмъ въ кабинетъ вошелъ военный министръ, спѣшно вызванный изъ зала засѣданій. Они дружески-радостно поздоровались и поболтали. Ллойдъ-Джорджъ зналъ, что военный министръ страстно желаетъ сѣсть на его мѣсто, — продѣлать съ нимъ точно такую же штуку, какую самъ онъ продѣлалъ со своимъ предшественникомъ. Это было довольно естественно и почти не вызывало раздраженія у перваго министра. Вражды между ними не было. Они давно знали другъ друга наизусть, въ душѣ другъ друга считали шарлатанами, но очень любили и цѣнили: въ самомъ мастерствѣ политическаго шарлатанства, доведенномъ до такой высоты, была и геніальность. Такъ и теперь они съ полуслова поняли одинъ другого. На разрывъ идти было рано. Военный министръ не имѣлъ пока никакихъ шансовъ стать главой правительства; Ллойдъ-Джорджъ еще не раскрывалъ своихъ картъ по русскому вопросу.

Это принятое въ политикѣ выраженіе обычно его забавляло, — въ большинствѣ случаевъ, никакихъ картъ у него не было: онъ правилъ Англіей осторожно, считаясь съ обстоятельствами, слѣдуя инстинкту государственнаго человѣка, и рѣдко могъ сказать напередъ, какую политику будетъ вести на слѣдующей недѣлѣ. Однако, въ русскомъ вопросѣ нѣкоторое подобіе плана у него, дѣйствительно, было. Ему давно хотѣлось порвать съ бѣлыми генералами, — Ллойдъ-Джорджъ вообще недолюбивалъ генераловъ, — и завязать добрыя отношенія съ большевиками. Причинъ для этого было много. На первомъ мѣстѣ среди нихъ стояли государствен-

ные интересы Англіи; но однимъ изъ второстепенныхъ, почти безсознательныхъ побужденій Ллойдъ-Джорджа былъ тайный сочувственный интересъ, который ему внушали большевики.

Первый министръ былъ искрененъ въ своихъ демократическихъ взглядахъ. По его внутреннему убѣжденію (распространяться объ этомъ не слѣдовало), сущность демократіи заключалась въ томъ, чтобы въ процессѣ не очень нужныхъ, но безвредныхъ и порою занимательныхъ преній въ парламентѣ, на выборахъ, на разныхъ собраніяхъ, могли въ короткое время выдвигаться настоящіе, замѣчательные люди, какъ онъ самъ. Этимъ настоящимъ людямъ и надо было предоставить всю полноту власти, съ тѣмъ, чтобы другіе имъ мѣшали возможно меньше.

Настоящіе люди могли, правда, выдвигаться и по другому способу подбора, напримѣръ, по обыкновенной государственной службѣ. Но это былъ порядокъ и слишкомъ медленный, и недостаточно надежный. Вдобавокъ, демократическій, парламентскій способъ перехода власти къ настоящимъ людямъ имѣлъ то громадное преимущество, что онъ въ Англіи уже существовалъ.

Большевики вышли въ люди другимъ путемъ, въ Англіи непринятымъ и невозможнымъ. Первый министръ, человѣкъ довольно добродушный, не любилъ диктаторскаго пути къ власти: уличные бои, кровь, насилія внушали ему отвращеніе и ужасъ. Но, подобно всѣмъ государственнымъ людямъ, онъ принималъ факты безъ лишнихъ споровъ. Въ Россіи существовала диктатура, какъ въ Великобританіи существовалъ парламентскій строй. У парламентскаго строя (какъ у всего англійскаго вообще) были несомнѣнныя преимущества, — пріятнѣе и разумнѣе было править при помощи британскихъ политическихъ пріемовъ, чѣмъ посредствомъ казней

и ссылокъ. Но нѣкоторыя преимущества были и у диктатуры. Изъ нихъ особенную зависть внушала Ллойдъ-Джорджу несмѣняемость диктаторовъ со всѣми тѣми возможностями, которыя она открывала въ политикѣ. Онъ и самъ теперь обладалъ такой степенью несмѣняемости, какой не имѣлъ до него никто въ Англіи со временъ Питта. И все же, при благопріятной обстановкѣ, въ удачно выбранный моментъ, его могли свергнуть этотъ лѣвый полковникъ и другіе подобные ему люди; по принятымъ правиламъ игры, они имѣли полную возможность дѣлать ему непріятности (какъ, впрочемъ, и онъ имъ), хоть къ дѣлу правленія были совершенно неспособны (наименѣе неспособныхъ онъ взялъ въ свой кабинетъ). Съ этимъ можно было мириться: въ трудной, утомительной, но въ общемъ интересной, парламентской игрѣ онъ не имѣлъ соперниковъ и неизмѣнно входилъ въ залъ засѣданій палаты съ той радостной, бодрой самоувѣренностью, съ какой входитъ въ свой классъ всѣми признанный первый ученикъ.

Какъ только очередной ораторъ получилъ разъясненіе по очередному вопросу, лѣвый полковникъ, обращаясь къ спикеру, замѣтилъ учтиво-ядовитымъ тономъ, что надо было бы воспользоваться столь рѣдкимъ и счастливымъ обстоятельствомъ — появленіемъ перваго министра: быть можетъ, онъ согласится дать отвѣтъ на вопросъ 66-й, давно интересующій палату общинъ и эту страну?

Въ залѣ наступила тишина.

Ллойдъ-Джорджъ неторопливо всталъ. Лицо его сіяло улыбкой: повидимому, онъ даже и не замѣтилъ ироніи относившихся къ нему словъ, — такъ ласково онъ улыбался полковнику. Первый министръ сказалъ, что ему будетъ чрезвычайно пріятно дать обстоятельныя, откровенныя объясненія, которыхъ отъ него съ полнымъ основаніемъ ждетъ

его достопочтенный и храбрый другъ, членъ палаты отъ Ньюкестля. Однако, онъ желалъ бы высказаться также и по нѣкоторымъ другимъ вопросамъ. Поэтому онъ позволитъ себѣ соединить въ своемъ отвѣтѣ сразу нѣсколько вопросовъ, а именно — онъ заглянулъ въ листъ, — а именно: 47-й, 52, 56, 60, 63, 64, 64, 66, 70, 72, 73, 74, 75 и 76-й.

Спикеръ изумленно взглянулъ на главу правительства. На мѣстахъ оппозиціи поднялась буря. Маневръ сразу обозначился довольно ясно: соединяя 14 вопросовъ, первый министръ, очевидно, собирался все запутать. На лицѣ лѣваго полковника выразился послѣдній предѣлъ возмущенія. Онъ только молча переводилъ глаза съ перваго министра на своихъ товарищей. Видъ его говорилъ: «Нѣтъ, этого даже отъ него ждать было невозможно! Человѣкъ способный на это, можетъ отравить свою мать!..»

Одинъ изъ членовъ оппозиціи вскочилъ и повышеннымъ голосомъ спросилъ спикера, имѣетъ ли первый министръ право соединять въ своемъ отвѣтѣ множество вопросовъ: соотвѣтствуетъ ли это традиціямъ и достоинству палаты общинъ. Спикеръ не безъ смущенія объяснилъ, что палата желаетъ получить отъ главы правительства отвѣтъ на всѣ вопросы; въ какой формѣ отвѣтъ будетъ данъ, быть можетъ, не такъ важно. Первый министръ смотрѣлъ на оппозицію съ выраженіемъ глубокаго изумленія въ широко раскрытыхъ, честныхъ глазахъ: онъ, видимо, не могъ понять, въ чемъ дѣло и чего, собственно, отъ него хотятъ. Рядомъ съ Ллойдъ-Джорджомъ, военный министръ смѣялся безъ всякаго стѣсненія. Однако, онъ испытывалъ нѣкоторое безпокойство: если первый министръ ничего не хотѣлъ сказать, то ему незачѣмъ было пріѣзжать въ палату.

Спикеръ протянулъ руку, магнетическимъ же-

стомъ прекративъ бурю. Ллойдъ-Джорджъ началъ рѣчь.

Говорилъ онъ дѣланно-просто,—такъ, какъ говорятъ на сценѣ очень хорошіе актеры въ первомъ дѣйствіи реалистической пьесы (пока ничего не произошло), — чуть-чуть проще и отчетливѣе, чѣмъ разговариваютъ люди въ жизни. Клервилль съ гордостью сравнивалъ ораторскую манеру перваго министра съ пѣвучей декламаціей, съ истерическими выкриками Серизье и другихъ ораторовъ, которыхъ онъ недавно слышалъ въ Люцернѣ. Отдавалъ должное искусству Ллойдъ-Джорджа и мистеръ Блэквудъ. «Собственно, главное въ томъ, чтобы заставить себя слушать, — угрюмо думалъ онъ. — А это не его заслуга. На моихъ собраніяхъ такъ слушали меня акціонеры. Другой, мелкій акціонеръ, случалось, говорилъ очень умно, но никому не было интересно знать, что онъ думаетъ... Однако, здѣсь дѣло не только въ томъ, что выступаетъ первый министръ Англіи. Да, конечно, онъ замѣчательный ораторъ...» Ллойдъ-Джорджъ говорилъ о Россіи, объ ея громадной величинѣ, о непонятномъ характерѣ русскаго народа, и, несмотря на простоту его интонацій, почти у всѣхъ слушателей было одно впечатлѣніе: первый министръ произноситъ необыкновенно важную рѣчь, которая надѣлаетъ много шума въ мірѣ. Знатоки парламентскаго дѣла взволнованно отмѣтили и прецедентъ: большая рѣчь произносилась во время, положенное для вопросовъ.

Военный министръ, какъ вся палата, слушалъ съ чрезвычайнымъ вниманіемъ. Его совершенно не интересовали мысли Ллойдъ-Джорджа о русскомъ національномъ характерѣ; онъ отлично зналъ, что первый министръ не имѣетъ объ этомъ ни малѣйшаго представленія и пока просто чешетъ языкъ, отбывая скучную обязанность: приличіе требовало,

чтобъ онъ поговорилъ съ полчаса. Тѣмъ не менѣе, безпокойство у военнаго министра все росло: тактика Ллойдъ-Джорджа еще была ему неясна, — будетъ ли заметать слѣды, на сколько именно градусовъ сегодня повернетъ руль? Первый министръ сказалъ, что къ русскимъ дѣламъ никакъ нельзя подходить съ британской мѣркой. Мысль была всѣмъ довольно знакомая, но интонація у Ллойдъ-Джорджа вдругъ стала чрезвычайно значительной, точно въ этихъ словахъ заключался огромный политическій смыслъ. Именно изъ значительности этихъ интонацій военный министръ заключилъ, что Ллойдъ-Джорджъ еще только заговариваетъ слушателей, ничего серьезнаго не сообщая: такъ, по словамъ какого-то композитора, для передачи тишины въ музыкѣ, необходимы три оркестра. Оппозиція насторожилась. Съ лица лѣваго полковника стало сползать возмущенное выраженіе. Ллойдъ-Джорджъ обвелъ взглядомъ свои скамьи — и затормозилъ. Его спрашиваютъ, ведетъ-ли правительство тайные переговоры съ большевиками. Нѣтъ, правительство не ведетъ тайныхъ переговоровъ съ большевиками! Лицо перваго министра такъ и засвѣтилось искренностью: самое предположеніе это, видимо, крайне его обижало.

На мѣстахъ правительственнаго большинства послышалось шумное одобреніе. Военный министръ только вздохнулъ. Какъ онъ ни привыкъ къ наивности рядовыхъ членовъ парламента, эта наивность всякій разъ его сокрушала. Они, очевидно, думали, что Ллойдъ-Джорджъ говоритъ имъ чистую правду, и что можетъ быть правда или неправда въ отвѣтѣ на подобный вопросъ! Тайные переговоры и велись и не велись, — въ зависимости отъ того, что называть тайными переговорами.

Ллойдъ-Джорджъ медленно, осторожно передвигалъ руль. Онъ говорилъ объ услугахъ, оказанныхъ

Россіей общему дѣлу союзниковъ въ пору міровой войны. — «Слушайте! Слушайте!» — слышались обрадованные возгласы на правительственныхъ скамьяхъ. Говорилъ также, съ искреннимъ горемъ, объ ужасахъ постигшей Россію гражданской войны. Говорилъ о прежнемъ богатствѣ Россіи, которая была житницей всего міра, — и вдругъ, какъ бы вскользь, вставилъ, что, если теперь въ Англіи цѣны на хлѣбъ такъ высоки, что это отчасти объясняется русской гражданской войной, столь затянувшейся къ несчастью для всего міра. — «Слушайте! Слушайте!» — радостно закричалъ вождь оппозиціи. — «Слушайте! Слушайте!» — хоромъ за нимъ повторили его сторонники.

— Я не совсѣмъ понимаю, — сказалъ сердито вполголоса мистеръ Блэквудъ. — Вѣдь его запрашивали не объ этомъ, а о другомъ: о томъ диктаторѣ на югѣ Россіи.

— Вѣроятно, онъ знаетъ, о чемъ ему надо говорить, — отвѣтилъ Клервилль съ легкимъ раздраженіемъ. Онъ считалъ Ллойдъ-Джорджа геніальнымъ человѣкомъ и вѣрилъ ему слѣпо почти во всемъ. Такъ Буало утверждалъ, что и въ медицинскихъ вопросахъ гораздо больше вѣритъ Людовику XIV, чѣмъ всѣмъ врачамъ вмѣстѣ взятымъ. Кромѣ того, этому американцу, какъ Мусѣ, слишкомъ многое очевидно не нравилось въ Англіи.

Мистеръ Блэквудъ пересталъ слушать. «Да, что-то дѣлаетъ все дурнымъ и ненужнымъ, — снова подумалъ онъ и вспомнилъ о своей тяжелой болѣзни, о племянницѣ, которая такъ корректно ждала его смерти. «Однако было и хорошее», — неожиданно отвѣтилъ мистеръ Блэквудъ на вопросъ, котораго себѣ не задавалъ. «Начало жизни было трудное, но потомъ все шло такъ удачно. Работа, живое дѣло, успѣхъ, почетъ, власть, настоящая власть, все это

доставляло прежде такъ много радости. Худшій грѣхъ неблагодарность Творцу»...

Заглядывая изрѣдка въ бѣлый листъ, Ллойдъ-Джорджъ давалъ объясненія по заданнымъ ему вопросамъ. Пока онъ говорилъ, всѣмъ казалось, будто онъ именно на эти вопросы и отвѣчаетъ. Но впослѣдствіи никто не могъ вспомнить, что именно отвѣтилъ первый министръ. Интонаціи его становились все значительнѣе, улыбка исчезла, голосъ измѣнился, — это теперь былъ голосъ большой сцены второго дѣйствія. — «Кто, кто можетъ понять, что происходитъ въ сыпучихъ пескахъ Россіи?» — вдругъ вскрикнулъ Ллойдъ-Джорджъ, поднявъ руки. — «Туманъ, туманъ, куда ни повернешь, туманъ!» — глухо, почти съ отчаяніемъ, проговорилъ онъ. Многіе изъ слушателей вздрогнули, и даже военный министръ, тоже отличный ораторъ, почувствовалъ волненіе: слова, жестъ, глухой голосъ Ллойдъ-Джорджа, все это было настоящимъ произведеніемъ искусства. Первый министръ объяснялъ палатѣ, что въ Россіи огромныя территоріи переходятъ отъ бѣлыхъ къ большевикамъ, отъ большевиковъ къ бѣлымъ, — кто побѣдитъ, неизвѣстно. Однако, — голосъ его вдругъ прозвучалъ рѣзко, — однако, безполезно скрывать отъ палаты, что дѣла адмирала Колчака идутъ очень плохо.

Члены палаты взволнованно переглядывались, хоть въ этомъ сообщеніи тоже не было ничего новаго: всѣ изъ газетъ знали, что бѣлая армія въ Сибири отступаетъ. Военный министръ все тревожнѣе ерзалъ на мѣстѣ. Ллойдъ-Джорджъ искоса на него посмотрѣлъ и снова заговорилъ объ услугахъ, оказанныхъ Россіей во время войны. У Англіи есть долгъ чести въ отношеніи русскаго народа. Тѣмъ не менѣе, — онъ остановился, какъ бы соображая, можно ли открыть всю правду, — и, чеканя каждое слово, съ необыкновенной силой въ выраженіи, ска-

залъ, что люди, имѣющіе честь управлять государственнымъ кораблемъ Великобританіи, не могутъ и не должны забывать о нѣкоторыхъ основныхъ принципахъ британской политики въ отношеніи Россіи: «Большой государственный человѣкъ, принадлежавшій къ консервативной партіи, лордъ Беконсфильдъ, утверждалъ, что великая, все растущая, принимающая колоссальные размѣры Россія, надвигающаяся, какъ ледникъ, на Персію, на Афганистанъ, на Индію, представляетъ собой самую страшную опасность, которая когда либо грозила британской имперіи».

Въ залѣ была совершенная тишина. Ллойдъ-Джорджъ помолчалъ, давая возможность палатѣ оцѣнить всю силу сказаннаго. Затѣмъ онъ вздохнулъ, заглянулъ въ бѣлый листъ и, точно вспомнивъ о чемъ-то мало существенномъ, совершенно другимъ голосомъ, — снова голосомъ перваго дѣйствія реалистической пьесы, — добавилъ: его спрашивали, сколько именно денегъ истратило британское правительство на помощь бѣлымъ русскимъ генераламъ. Онъ не можетъ, къ сожалѣнію, сказать съ совершенной точностью, но, во всякомъ случаѣ, эта сумма превышаетъ сто милліоновъ фунтовъ.

На скамьяхъ противниковъ правительства опять поднялась буря. «Позоръ, позоръ!» — закричалъ лѣвый полковникъ. Освѣдомленные люди переглядывались все значительнѣе: слова главы кабинета заключали въ себѣ прямой выпадъ противъ военнаго министра, — всѣ знали, что деньги на поддержку бѣлыхъ армій тратились по его настоянію. Военный министръ побагровѣлъ. Онъ, было, привсталъ, хотѣлъ что-то сказать, но сдержался. Въ небесно-ясныхъ глазахъ Ллойдъ-Джорджа снова выразилось изумленіе: онъ совершенно не понималъ, почему его слова вызываютъ такое волненіе. Когда спокойствіе возстановилось, онъ сказалъ, что не

сожалѣетъ объ истраченныхъ суммахъ. Но достаточно ясно всѣмъ: британскія деньги не могутъ такъ расходоваться долго. — «Слушайте! слушайте!» — закричалъ съ торжествомъ вождь оппозиціи.

Поднялся пожилой, усталаго вида человѣкъ съ высокимъ, переходящимъ въ лысину, лбомъ, съ умными глазами, въ которыхъ, видимо, навсегда установилось выраженіе удивленной печали. Одѣтъ онъ былъ плохо; надъ сбившимся на бокъ галстухомъ, торчалъ высунувшійся язычекъ двойного воротника, черезъ весь жилетъ шла цѣпочка съ огромнымъ брелокомъ. Мистеръ Блэквудъ не разслышалъ первыхъ его словъ, — разобралъ только, что говоритъ онъ о большевикахъ. На галлерею доносились отдѣльныя фразы: «Вся ихъ исторія есть лѣтопись убійствъ и злодѣяній»... «Нельзя вести переговоры съ такимъ правительствомъ»... «Морально недопустимо и невозможно»... — «Кто этотъ субъектъ?» — хмуро спросилъ мистеръ Блэквудъ, отрываясь отъ своихъ мыслей. — «Это одинъ изъ знатнѣйшихъ людей Англіи, лордъ Робертъ Сесиль», — отвѣтилъ Клервилль, съ видимымъ удовольствіемъ произнося знаменитую фамилію. «Неужели это онъ? Я забылъ, какихъ онъ взглядовъ?» — «Никто не можетъ сказать, какихъ взглядовъ лордъ Робертъ Сесиль. Онъ во многомъ лѣвѣе соціалистовъ, но значится независимымъ консерваторомъ». — «Почему же онъ значится консерваторомъ, если онъ лѣвѣе соціалистовъ?» — «Потому, что онъ сынъ маркиза Сольсбери».

Мистеръ Блэквудъ пожалъ плечами. Онъ попытался вслушаться въ слова Сесиля. Ему показалось, что слушаютъ этого члена палаты безъ большого вниманія: онъ явно говорилъ не къ дѣлу. Первый министръ поглядывалъ на него съ нетерпѣніемъ; они, видимо, недолюбливали другъ друга. Лордъ

Робертъ Сесиль заговорилъ объ убійствѣ царской семьи. «Неслыханное убійство ни въ чемъ неповинныхъ дѣтей»... — донеслось на галлерею. Лѣвый полковникъ вскочилъ съ возмущеннымъ видомъ. «Какія доказательства есть у достопочтеннаго джентльмена, что эти убійства совершены по приказанію совѣтскаго правительства или хотя бы только съ его согласія?» — съ негодованіемъ закричалъ онъ.

Больше мистеръ Блэквудъ ничего не могъ разобрать. Лордъ Робертъ Сесиль, махнувъ рукой, сѣлъ съ устало-безнадежнымъ видомъ.

Ллойдъ-Джорджъ вдругъ точно вспомнилъ о лѣвомъ полковникѣ. Лицо перваго министра снова просіяло улыбкой. Онъ сказалъ, что переходитъ, въ заключеніе, къ 66-му вопросу. Однако, ему не совсѣмъ понятно, чего именно хочетъ его храбрый другъ, интересующійся взаимоотношеніями между генераломъ Деникинымъ и Петлюрой. Повидимому, онъ покровительствуетъ Петлюрѣ (послышался смѣхъ) и ни за что не желаетъ, чтобы оружіе, доставленное Англіей генералу Деникину, употреблялось противъ Петлюры? Это очень цѣнная мысль, — сказалъ бархатнымъ голосомъ Ллойдъ-Джорджъ, — но правительство не совсѣмъ увѣрено, что ее можно осуществить. Очевидно, по мысли достопочтеннаго члена палаты отъ Ньюкестля, британское правительство должно заявить генералу Деникину: «Мы вамъ дали, генералъ, оружіе для борьбы съ большевиками; если же на васъ нападетъ кто-нибудь другой, напримѣръ, Петлюра, то сдѣлайте одолженіе, отложите тотчасъ въ сторону британскія ружья и британскіе патроны, достаньте какія-нибудь другія ружья и зарядите ихъ какими-нибудь другими патронами»...

Конецъ фразы Ллойдъ-Джорджа потонулъ въ общемъ смѣхѣ палаты. «Какой удивительный ора-

торъ!» — подумалъ мистеръ Блэквудъ, — «ни одинъ актеръ не сказалъ бы этого лучше»... Первый министръ сѣлъ очень довольный, — полковникъ былъ уничтоженъ. Правительственное большинство шумно выражало восторгъ. Руль повернулся ровно настолько, насколько можно было его повернуть въ этотъ день.

XXIII.

.....Торговались же они упорно. Бутлеръ предлагалъ тысячу имперскихъ талеровъ, съ уплатой тотчасъ послѣ дѣла, — а потомъ будетъ много больше. Деверу изображалъ на лицѣ полное пренебреженіе: — «Тысяча талеровъ! Много больше, — что такое «много больше»? И кто будетъ платить?» — «Въ Вѣнѣ», — таинственно отвѣчалъ Бутлеръ. Деверу только сердито смѣялся. — «Что такое: «въ Вѣнѣ»? Вѣроятно, его считаютъ дуракомъ?» Однако, загадочный отвѣтъ интриговалъ его: почему за дѣло будутъ платить въ Вѣнѣ? Корректность не позволяла прямо спросить, о комъ идетъ рѣчь. Бутлеръ сказалъ: «объ одномъ человѣкѣ». — «Да безопасно ли еще дѣло?» — «Вполнѣ безопасно». — «И повышеніе по службѣ?» — «Твердо обѣщано». — «Кѣмъ обѣщано?» — «Сначала надо получить отвѣтъ». — Да можетъ, что противное чести?» — «Напротивъ, совершенно напротивъ!» — «Да въ чемъ же все-таки дѣло?» — спрашивалъ Деверу, — «кто такой?» — «Сначала нужно дать отвѣтъ». — «Да какъ же дать отвѣтъ, когда не знаешь, о комъ идетъ рѣчь!» — «Сначала нужно дать отвѣтъ», — упорно твердилъ Бутлеръ. Деверу понималъ, что онъ правъ. Думалъ, думалъ: Бутлеръ честный человѣкъ, повѣрить ему можно. Кому-то нужно отъ кого-то освободиться, дѣло житейское. За послѣдніе три года Деверу видѣлъ не одно такое дѣло, кое въ чемъ и участвовалъ. Онъ согласился, поклялся честью, что никому не проговорится ни единымъ словомъ, — и обомлѣлъ: дѣло шло о герцогѣ Фридландскомъ!

Правда, дурной слухъ ходилъ давно. Много крови утекло со дня паденія Магдебурга. Погибъ въ сраженіи графъ Тилли, два раза разбитый на голо-

ву Густавомъ-Адольфомъ. Императору пришлось пойти на униженіе, обратиться за спасеніемъ къ Валленштейну, принять всѣ его условія. Дѣла поправились: подъ Люценомъ палъ шведскій король. А потомъ и поползли эти слухи: герцогъ сердится на императора, герцогъ измѣняетъ императору, герцогъ хочетъ стать императоромъ!

Бутлеръ положилъ руки на плечи Деверу, посмотрѣлъ на него глубокимъ взглядомъ, — какъ полагается: «больше хитрить съ тобой не буду, не такой ты человѣкъ, такъ и быть, скажу тебѣ всю правду». И вынулъ изъ кармана документъ, императорскую грамоту. Тамъ все было сказано. Нѣтъ, не зналъ Бутлеръ толка въ душѣ человѣка, и не такъ подошелъ къ дѣлу, и обоимъ теперь было стыдно вспоминать объ ихъ торгѣ. Если герцогъ измѣнилъ присягѣ, то убить его должно, и не о деньгахъ тутъ надо говорить, — и не о тысячѣ талеровъ. — «Императоръ дастъ за это дѣло тридцать тысячъ гульденовъ», — прошепталъ Бутлеръ. — «Что деньги!» — вскрикнулъ Деверу. И долго они еще обсуждали дѣло со всѣхъ сторонъ: и можно ли, и должно ли, и удастся ли, и какъ сдѣлать, и куда бѣжать, если не удастся? Но, къ досадѣ Бутлера, Деверу окончательнаго отвѣта не далъ, — хоть именно сегодня вечеромъ и нужно было убить герцога Фридландскаго. Условились черезъ два часа встрѣтиться въ томъ кабачкѣ, что наискось противъ дома аптекарской вдовы Пахгельбель.

Однако, Бутлеръ уже ясно видѣлъ, что этотъ глупый человѣкъ согласится на дѣло, — и, по всей вѣроятности, доведетъ его до конца. И хоть философскими думами Бутлеръ никогда себя не утруждалъ, было ему и странно, и забавно, что мудрый, дальновидный, проницательный Валленштейнъ думалъ обо всемъ, а одно забылъ: забылъ, что онъ смертенъ, и что можетъ его убить человѣкъ ничтожный, кото-

раго отъ отроду и не видѣлъ; герцогъ Фридландскій предусмотрѣлъ рѣшительно все, — кромѣ Вальтера Деверу.

А тотъ и самъ не зналъ, зачѣмъ попросилъ два часа на размышленіе. Размышлять онъ не умѣлъ. Человѣкъ онъ былъ не очень ученый, политикой никогда не занимался, и не его ума дѣло было судить, кто тамъ правъ: императоръ или герцогъ?

Валленштейна онъ не зналъ, только разъ его и видѣлъ тогда въ Меммингенѣ. На службу къ герцогу попалъ вмѣстѣ съ остатками арміи графа Тилли, когда ихъ разгромилъ шведскій король. Этотъ разгромъ былъ для Деверу большимъ горемъ и внесъ въ его жизнь смятеніе, — до того все было для него ясно, почти все ему нравилось: и полкъ, и ихъ синее знамя, и жизнь вольная въ своемъ подчиненіи, и особенно то, что былъ у него признанный вождь, которому онъ вѣрилъ, котораго боготворилъ, любя больше собственной своей славы геній графа Тзеркласа. Такими людьми, какъ онъ, а не жуликами и не разбойниками, Тилли и держался. И, когда впервые Деверу услышалъ, какъ назвали его вождя старымъ дуракомъ, чуть не заплакалъ отъ горя; но въ драку не полѣзъ, ибо самъ больше не зналъ, что ему думать. Съ той поры многое въ душѣ его и въ жизни измѣнилось: служилъ тѣмъ, кто платилъ ему, служилъ, пока платили; пока платили, служилъ честно, но безъ радости. Теперь же надо было пойти еще дальше. Нелегко солдату убить своего главнокомандующаго, хотя бы тотъ и измѣнилъ присягѣ.

Въ сѣняхъ его точно случайно встрѣтила Эльза-Анна-Марія: ей было безпокойно, ходила тревожная молва. Герцогъ Фридландскій наканунѣ прибылъ въ Эгеръ почти безъ арміи, почти безъ обоза. А съ утра только что пріѣхавшій изъ Праги маркитантъ шопотомъ на рынкѣ разсказывалъ, что гер-

цогъ предался шведамъ, ихъ въ Эгерѣ и поджидаетъ, и вмѣстѣ съ ними двинется на Вѣну, — такъ въ Прагѣ говорили со вчерашняго дня всѣ открыто, — объ этомъ на площади объявилъ императорскій герольдъ

Взглянувъ же на Вальтера, Эльза-Анна-Марія поняла, что ни о чемъ спрашивать нельзя, хоть, вѣрно, и случилось недоброе: лицо у него было почти такое, какъ въ тотъ день, какъ она въ первый разъ его увидѣла. О днѣ этомъ вспоминать она не любила, — очень было горько и страшно; иногда тайкомъ плакала, думая о дядѣ, и, въ простомъ умѣ своемъ, утѣшала себя тѣмъ, что былъ онъ, несмотря на плачевный свой конецъ, человѣкъ очень счастливый. И втайнѣ мечтала: когда-нибудь, не скоро, на томъ свѣтѣ помирить его съ Вальтеромъ, котораго очень любила. Что-жъ дѣлать: война!

Деверу только посмотрѣлъ на нее тусклымъ взглядомъ, не поздоровался и велѣлъ подать вина. Эльза-Анна-Марія ни о чемъ его не спросила, — отхлещетъ хлыстомъ, — поспѣшно вышла, принесла бутылку и опять ушла, точно ничего не замѣчая. Онъ оставался дома недолго, выпилъ все вино, не оставивъ ни капли, взялъ аллебарду и ушелъ.

Деверу направился къ тому дому, въ которомъ остановился герцогъ Фридландскій. Ужъ если идти на такое дѣло, то все заранѣе обдумать. Бутлеръ предлагалъ: въ десятомъ часу съ шестью вѣрными драгунами проникнуть въ домъ черезъ дворъ, по внутренней лѣстницѣ взбѣжать на галлерею, затѣмъ броситься внизъ; спальня Валленштейна въ первомъ этажѣ, первое окно справа отъ воротъ.

Домъ былъ трехъэтажный, съ покатой крышей, — хоть и лучшій въ городкѣ, но обыкновенный домъ: не въ такихъ домахъ живалъ герцогъ Фридландскій. У воротъ стоялъ караулъ изъ драгунъ Бутлера. «Да, хорошо налажено», — подумалъ Деверу,

— «должно выйти»... Пропуска у него не спросили: свой. «Неужели и они въ дѣлѣ?» — съ ужасомъ спросилъ себя онъ, зная, какъ опасно посвящать людей въ такое дѣло: очень много заплатилъ бы за эту тайну щедрый Валленштейнъ. — «Нѣтъ, быть не можетъ»... Онъ вошелъ въ ворота, не посмѣвъ съ улицы бросить взглядъ въ окна спальной. Дворъ былъ непривѣтливый, темный, замысловатый: на высотѣ второго этажа вокругъ всего дома вилась галлерея, — «вотъ, та самая»... Сердце у Деверу застыло: «неужто черезъ нѣсколько часовъ?...»

Зимній день кончался, уже темнѣло. На дворѣ никого не было. Не смотрятъ ли изъ оконъ? Нѣтъ, точно вымеръ домъ! Деверу небрежно прошелъ по двору, поближе къ лѣстницѣ, увидѣлъ дверь. «Если такую дверь замкнуть на засовъ, то ее и въ часъ не выбьешь! Экой болванъ Бутлеръ!.. Такъ ему и сказать: нельзя»... Онъ пошелъ къ воротамъ. Внезапно силы оставили Деверу, голова у него закружилась: вѣрно, очень старое было вино. Онъ поспѣшно поставилъ аллебарду къ стѣнѣ и сѣлъ на скамью, завернувшись въ плащъ и дрожа мелкой дрожью.

Въ прошломъ году старый мушкетеръ, долго прослужившій во Франціи, разсказывалъ ему, какъ казнили Равальяка, убійцу французскаго короля Генриха. И хоть многое видѣлъ Деверу на своемъ вѣку, подробности этой ужасной казни навсегда остались у него въ памяти. Однако, не только это теперь тревожило его душу. Большой грѣхъ измѣнить данной императору присягѣ. Но убить своего главнокомандующаго!..

И долго такъ сидѣлъ онъ, опустивъ голову на руки. Стемнѣло совсѣмъ. Ламповщикъ, съ огонькомъ на длинной палкѣ, вошелъ во дворъ и сталъ зажигать фонари, съ недоумѣніемъ поглядывая на драгунскаго офицера. Въ глубинѣ двора зловѣще чер-

нѣлъ проходъ еще не освѣщенныхъ воротъ. Деверу дрожалъ отъ холода и страшной тоски.

Вдругъ за воротами прозвучала труба, и мгновенно ему вспомнился Меммингенъ, іюньскій вечеръ, кабачокъ на окраинѣ города, длинный, пышный поѣздъ: то ли особыя трубы были у Валленштейна, то ли одинъ напѣвъ всегда игралъ трубачъ. Деверу сорвался со скамьи, схватилъ аллебарду, оправилъ плащъ. Огни стали быстро зажигаться за окнами дома. Дворъ наполнился людьми.

Валленштейнъ, тяжко страдая отъ подагры, медленно входилъ въ ворота, опираясь на трость. У перваго фонаря онъ остановился, чтобы передохнуть: боль была адская, и не слѣдовало, чтобы люди это видѣли. Словно осматриваясь во дворѣ, плотно сжавъ губы, герцогъ такъ простоялъ съ минуту. Съ той поры, съ Меммингена, онъ очень измѣнился: лицо его осунулось, голова совершенно посѣдѣла. Онъ подозвалъ кого-то изъ свиты, и, небрежно опираясь на палку, отдалъ какія-то распоряженія. Деверу вытянулся въ трехъ шагахъ отъ Валленштейна, не сводя съ него глазъ. Почувствовавъ этотъ упорный взглядъ, Валленштейнъ съ досадой взглянулъ на драгунскаго офицера и подумалъ, что гдѣ-то, когда-то, кажется, очень, очень давно, видѣлъ этого человѣка...

Ему показалось также, что лицо у драгуна звѣрское, лицо преступника, перешедшаго или переходящаго преграду. По мнѣнію Валленштейна, всѣ люди были отъ природы преступниками: лишь преграды, разныя преграды, и останавливали ихъ отъ преступленій. Мудрость жъ государственнаго дѣла именно въ томъ и заключалась, чтобы умножать число преградъ и увеличивать ихъ крѣпость.

Валленштейнъ отдалъ честь и, превозмогая тяжкую боль, медленно пошелъ къ лѣстницѣ. За нимъ слѣдовала свита. Взойдя на три ступеньки, онъ, точ-

но опять о чемъ-то вспомнивъ, остановился, еще поговорилъ съ секретаремъ и, давъ отдохнуть ногѣ, поднялся на площадку. Деверу, почти въ оцѣпенеиіи, смотрѣлъ вслѣдъ герцогу. «Вотъ сейчасъ задвинуть запоры», — съ надеждой подумалъ онъ. Пажъ отворилъ дверь, — запоровъ на ней не было.

Герцогъ Фридландскій вошелъ въ домъ.

«Значитъ, судьба!» — подумалъ Деверу. Мысль эта его успокоила, — «теперь будь что будетъ!..» Онъ еще походилъ по двору, соображая, какъ все нужно будетъ сдѣлать. Затѣмъ отправился въ кабачокъ и тамъ сказалъ Бутлеру, что за сорокъ тысячъ гульденовъ готовъ взять на себя это грустное дѣло.

Впослѣдствіи же всѣ спрашивали, какъ провелъ герцогъ Фридландскій свой послѣдній день: ибо такъ ужъ устроено человѣческое сердце, что всего больше волнуетъ его разставаніе съ этой жизнью, даже тогда, когда нѣтъ въ немъ ничего необыкновеннаго. Но люди, которыхъ Валленштейнъ видѣлъ 25 февраля, не имѣли ни охоты, ни привычки къ ремеслу писанія; а такъ какъ наиболѣе ему близкіе погибли въ одинъ день съ нимъ, то не все дошло до потомства изъ чувствъ и мыслей, которыя онъ, вѣрно, въ этотъ вечеръ высказывалъ.

Извѣстно лишь, что былъ онъ спокоенъ и даже веселъ болѣе обычнаго (веселымъ характеромъ никогда не отличался). Скорѣе всего — изъ-за звѣздъ. Или нарочно поддерживалъ бодрость въ другихъ, такъ какъ положеніе ихъ было трудное, а, можетъ быть, особенно бодръ былъ оттого, что къ вечеру оставилъ его приступъ господской болѣзни, — morbus dominorum: помогли сорокъ восемь рюмокъ теплой воды и настойка на Суринамскомъ деревѣ, излѣчивавшія тогда отъ подагры. Одѣлся, какъ обычно, вмѣстѣ величественно и просто; не должно выходить къ подчиненнымъ въ шлафрокѣ больно-

го; — только сапоги надѣлъ мягкіе, съ тупыми носками; вышелъ въ парадныя комнаты и велѣлъ позвать на ужинъ главныхъ своихъ военачальниковъ: Илло, Терцкаго, Кинскаго и Неймана. Они тотчасъ явились, но принесли извиненія: приглашены на ужинъ въ замокъ, съ Бутлеромъ и другими драгунами. При словѣ «драгуны», что-то непріятное вдругъ вспомнилось Валленштейну.

Но до ужина въ замкѣ еще оставалось немало времени; герцогъ приказалъ подать гостямъ вина, и сѣли они играть въ кости. Партія сложилась странно: чуть кто останется съ однимъ жетономъ, тотчасъ выбрасывалъ туза сосѣдъ справа и отдавалъ ему свой жетонъ, — такъ что, въ мертвецы не выходилъ никто, и всѣ очень этому смѣялись. А жить имъ оставалось менѣе трехъ часовъ, — ибо на этомъ ужинѣ драгуны ихъ и зарѣзали, — и только герцогъ прожилъ еще часа четыре.

За игрою говорилъ онъ и о политикѣ, утверждалъ, что дѣла идутъ не худо: скоро соберутся войска, и можно будетъ двинуть ихъ на Прагу и на Вѣну, и все будетъ вѣрнымъ его сторонникамъ, слава, власть, чины, богатство, титулы: звѣзды ему благопріятны, какъ никогда до того не были. При этомъ онъ вспомнилъ гороскопъ, безъ малаго тридцать лѣтъ тому назадъ составленный для него Кеплеромъ. Но каковъ былъ гороскопъ, не сообщилъ генераламъ. Они же заслушались Валленштейна. Кинскій сказалъ, что въ дни Регенсбургскаго сейма видѣлъ въ городѣ старичка Кеплера, кажется, онъ тогда въ нищетѣ и померъ. Мать же его была извѣстная колдунья. Илло, которому хотѣлось играть, а не говорить о колдунахъ, замѣтилъ, что жизнь подобна игрѣ въ кости. На этихъ словахъ герцогъ выбросилъ изъ рожка дублетъ: такимъ образомъ, получалъ онъ сразу все, — везло ему счастье. Игра кончилась.

Когда генералы ушли, Валленштейнъ поужиналъ одинъ, — изъ-за болѣзни почти ничего не ѣлъ и не пилъ. А затѣмъ велѣлъ позвать астролога.

Снова — въ который разъ! — вынули приборы, раскрыли книги и стали изучать седьмой солнечный домъ. Остановка теперь была за Сатурномъ: Сени нерѣшительно говорилъ, что какъ будто Сатурнъ преграждаетъ дорогу звѣздѣ его свѣтлости. Валленштейнъ сердито отрицалъ это, и астрологъ пересталъ спорить. Въ заставкѣ же ученой книги былъ изображенъ богъ Сатурнъ, significator mortis, пожравшій собственныхъ дѣтей, — бородатый силачъ съ длинными волосами, съ длинной косой въ рукѣ. Что-то непріятное опять проскользнуло въ памяти герцога, — и онъ теперь вспомнилъ, что такое: на Сатурна былъ похожъ тотъ драгунъ, котораго онъ гдѣ-то, когда-то видѣлъ, очень давно, а гдѣ и когда, не могъ вспомнить... Сени, приглядѣвшись къ констелляціи неба, согласился съ его свѣтлостью: да, все, какъ будто, благополучно.

Кровожадный Сатурнъ и погубилъ Валленштейна. Но не одна астрологія можетъ ошибаться. Вѣрно, бываютъ отступленія отъ того, что называютъ законами природы ученые люди. Могла также, въ тотъ вечеръ, пронестись мимо Сатурна и отвлечь его своей тягой съ обычнаго пути другая, еще неизвѣстная міру, звѣзда. Мѣняются, наконецъ, и законы природы, и по-разному въ разное время толкуютъ ихъ ученые. А потому нельзя сказать съ полной увѣренностью, обманули ли звѣзды Валленштейна: быть можетъ, герцогъ Фридландскій погибъ оттого, что не разгадалъ движенія Сатурна; а можетъ быть, Сатурнъ въ ту ночь прошелъ не обычной своей дорогой, такъ какъ герцогъ Фридландскій погибъ.

Въ это самое время въ Эгерскомъ замкѣ убивали генераловъ Валленштейна. Деверу не принималъ

участія въ ихъ убійствѣ. Зарѣзали ихъ другіе люди, вѣрно, очень походившіе на него. А онъ, со своимъ пріятелемъ Макдональдомъ и съ драгунами, стоялъ у двери зала, чтобы, въ случаѣ надобности, отрѣзать отступленіе генераламъ герцога. Затѣмъ вышелъ къ нему смертельно блѣдный Бутлеръ, что-то сказалъ трясущимся голосомъ и взглянулъ на Деверу молящимъ взглядомъ: «Теперь твое дѣло! Не выдай же!..» Слова были не нужны. Насталъ тотъ часъ, изъ-за котораго перешелъ навѣки въ исторію драгунскій офицеръ, почти ничѣмъ не отличавшійся отъ другихъ людей.

Еще за нѣсколько минутъ до того разныя видѣнія тревожно-безпорядочно пробѣгали въ умѣ Деверу: сверкающая куча золота, — сорокъ тысячъ гульденовъ! — свободная, независимая, обезпеченная жизнь, свой домъ, лошади варварійской породы, толедское оружіе, алмазныя серьги въ ушахъ Эльзы-Анны-Маріи, — и тутъ же колесо, огонь, раскаленные щипцы палача. Теперь больше этого не было. Онъ не думалъ ни о карѣ, ни о наградахъ, думалъ только о дѣлѣ, какъ ѣздокъ на скачкахъ не думаетъ, зачѣмъ, собственно, скачетъ: надо одолѣть препятствія. Какая сила руководила дѣйствіями убійцы? Въ чемъ въ мірѣ высшая, направляющая, творческая сила зла? Почему торжествуетъ оно надъ добромъ? Почему столько ума, воли, храбрости, не въ примѣръ служащимъ добру, проявляютъ творящіе зло люди? И почему именно къ нимъ благоволитъ то непостижимое, что называется случаемъ?

Они пробѣжали вдоль заборовъ, подкрались къ дому, сосѣднему съ домомъ Валленштейна, перескочили черезъ первый заборъ, — никто ихъ не замѣтилъ, — затѣмъ черезъ второй, — тамъ тоже никого не было. Дворъ былъ освѣщенъ тускло, ночь была мутно-темная. Деверу не сразу нашелъ лѣст-

ницу, у которой сидѣлъ нѣсколько часовъ тому назадъ, — сталъ лицомъ къ полуовальнымъ воротамъ, — въ нихъ теперь горѣлъ фонарь, — и, оріентируясь по нимъ, наконецъ, разобрался: лѣстница слѣва, въ углу. Ступая на цыпочкахъ, поднялись они по ступенькамъ, попробовали дверь, — она отстала и отворилась, только скрипнулъ замокъ. Они пробѣжали по галлереѣ.

Въ комнатѣ никого не было. Тускло-печально горѣла свѣча. Деверу побѣжалъ по направленію къ спальной герцога, — такъ же увѣренно, какъ если бъ много разъ бывалъ въ домѣ. Умъ у него работалъ ясно: лѣстница, еще двѣ комнаты, а тамъ спальня. Вдругъ откуда-то показался лакей съ подносомъ. Увидѣвъ драгунъ, онъ вытаращилъ глаза и отшатнулся въ сторону. Что-то свалилось и зазвенѣло, разбиваясь. Деверу бросился впередъ. Въ слѣдующей комнатѣ два пажа играли въ шахматы. Одинъ изъ нихъ такъ и остался на стулѣ, — оцѣпенѣлъ. Другой вскочилъ, закричалъ дикимъ ребячьимъ голосомъ: «Rebellen!.. Rebellen!..» — и повалился отъ страшнаго удара. Кровь хлынула на синій коверъ, Деверу подбѣжалъ къ двери, откинулся, уткнувъ въ коверъ рукоятку аллебарды, и ударилъ изо всей силы ногой въ дверь...

Валленштейнъ задремалъ минутъ за десять до того. Передъ настоящимъ сномъ грезилось ему все то же: корона, закрытая корона съ золотымъ полукругомъ, съ изображеніемъ міра, съ крестомъ, — корона Карла Великаго... Она теперь была ближе, чѣмъ когда либо прежде.

Трезвое разсужденіе говорило не то. Вотъ ужъ много лѣтъ онъ все взвѣшивалъ шансы: взвѣшивалъ и тогда, когда императоръ уволилъ его въ отставку, по требованію Регенсбургскаго сейма, взвѣшивалъ и на покоѣ, и въ пору войны, подъ Нюрн-

бергомъ, наканунѣ Лютцена; взвѣшивалъ и теперь, по пути изъ Пильзена сюда въ Эгеръ. И хоть соратниковъ своихъ онъ, естественно, убѣждалъ въ противномъ, трезвое разсужденіе говорило, что шансы сейчасъ невелики, меньше, чѣмъ годъ, чѣмъ полгода, чѣмъ три недѣли тому назадъ. Но это не имѣло значенія: только теперь, впервые въ его жизни, звѣзды заняли въ седьмомъ домѣ солнца то положеніе, которое обѣщало успѣхъ.

Валленштейнъ зналъ, что люди благочестивые относятся къ предсказаніямъ звѣздъ съ тревожнымъ недовѣріемъ, а вольнодумцы просто надъ ними смѣются. Это совершенно его не интересовало, какъ зрячаго человѣка не можетъ интересовать мнѣніе слѣпца о красотахъ природы. Чтобы дойти до звѣздъ, надо было пережить ту жизнь, которую пережилъ онъ. Въ большихъ дѣлахъ его не было ни нравственнаго, ни разумнаго смысла. Онъ видѣлъ на своемъ вѣку безконечное количество зла и самъ много зла сдѣлалъ; лишь случайныя внѣшнія обстоятельства давали ему возможность осуждать и карать преступниковъ: они были не хуже и не лучше, чѣмъ онъ самъ. Того же, что вольнодумцы называли разумомъ, въ его бурномъ существованіи не было и слѣда: ужъ онъ-то зналъ, что на три четверти слагалось оно изъ дѣлъ и обстоятельствъ случайныхъ, которыхъ никто не могъ ни обдумать, ни предусмотрѣть, ни осуществить. Люди кабинетные, люди свѣтскіе, вольнодумцы, монахи просто этого не видѣли, потому что съ ними почти ничего не происходило. Открывалось же это лишь такимъ людямъ, какъ онъ, или Александръ, или Цезарь. Это означало судьбу. Тому, кто видитъ важность собственныхъ своихъ земныхъ дѣлъ, не можетъ быть чужда мысль о связи ихъ съ основнымъ въ мірѣ, съ небомъ и звѣздами. Все остальное, — навѣрное, ложь; это, можетъ быть, правда. Но людямъ,

которымъ вообще незачѣмъ было рождаться, незачѣмъ и знать, подъ какой звѣздой они родились.

Затѣмъ сонъ смѣшалъ его мысли. Ему снилось, что Сатурнъ входитъ въ седьмой солнечный домъ и плыветъ по небесному полю, открывая, — наконецъ-то! — дорогу его звѣздѣ. И за звѣздой его шелъ спутникъ, на немъ же вырисовывался золотой полукругъ. И точно это раздражило Сатурна: онъ ускорилъ ходъ, и лицо его стало звѣрскимъ, и сузилась борода, точно онъ подстригъ ее по драгунской модѣ, и выпала изъ рукъ его, зазвенѣвъ, коса, и, вмѣсто нея, появилась аллебарда. Звѣзда герцога Фридландскаго остановилась въ ужасѣ. Раздался дикій крикъ: «Rebellen!», за нимъ громовой ударъ. Валленштейнъ проснулся.

И въ ту же секунду, — съ непостижимой быстротой, — онъ понялъ все. Съ непостижимой ясностью понялъ, откуда идетъ ударъ, и кто его выполняетъ. Понялъ, что не успѣетъ добѣжать до стѣны и схватиться за мечъ, да если-бъ и успѣлъ, то это не спасетъ. Все сорвалось на пустякѣ: во дворѣ не была поставлена стража. Понялъ, что кости выброшены, что выпалъ тузъ, что игра сыграна, что не будетъ ни похода на Вѣну, ни короны Карла Великаго, ничего не будетъ.

Оставалось только одно, необходимое: послѣдняя картина для потомства. Герцогъ Фридландскій спокойно поднялся съ постели и съ усмѣшкой сталъ у стола. Дверь сорвалась съ петель и упала съ грохотомъ. На порогѣ показался драгунъ, — тотъ самый, съ звѣрскимъ лицомъ, похожій на Сатурна. Онъ на мгновеніе замеръ, что-то прокричалъ срывающимся голосомъ и, бросившись впередъ, вонзилъ аллебарду въ грудь Валленштейна.

XXIV.

Черезъ часъ послѣ отъѣзда Клервилля явилась Тамара Матвѣевна. Видъ ея ясно показывалъ, что, забывая свое горе, она пришла развлекать дочь и пришла на долгое время. Этотъ видъ сразу раздражилъ Мусю. «Ни минуты не могу пробыть одна!..» Съ трудомъ себя сдерживая, боясь сказать лишнее, Муся поздоровалась съ матерью и подтвердила, что Вивіанъ уѣхалъ.

— Такъ ты не поѣхала на вокзалъ?

— Нѣтъ, зачѣмъ же? Онъ скоро вернется... Вы не хотите кофе, мама?

— Нѣтъ, Мусенька, я пила.

— Какъ вы спали?

— Ахъ, какъ я сплю! Не сомкнула глазъ всю ночь, — сказала со вздохомъ Тамара Матвѣевна.

«Навѣрное, неправда... Я отлично знаю, что мама убита, но зачѣмъ же она еще преувеличиваетъ свое горе?» — подумала Муся и сухо посовѣтовала матери принимать верональ. Тамара Матвѣевна какъ будто немного обидѣлась.

— Верональ вѣдь, кажется, то, чѣмъ отравилась эта бѣдная барышня?

— Мама, отравиться можно чѣмъ угодно, самымъ безобиднымъ порошкомъ, если принять двадцать пилюль вмѣсто одной!

— Нѣтъ, я такъ спрашиваю, — испуганно сказала Тамара Матвѣевна. — Покойный папа былъ противъ всѣхъ этихъ снотворныхъ средствъ, онъ вѣдь совершенно не вѣрилъ въ медицину.

— Тутъ вѣрить или не вѣрить нельзя: отъ вероналя люди засыпаютъ, это фактъ, что-жъ тутъ вѣрить или не вѣрить.

Онѣ помолчали.

— Ничего новаго? — вздохнувъ, спросила Тамара Матвѣевна.

— О чемъ?

— О Витенькѣ, конечно.

— Нѣтъ, ничего.

— Это просто непостижимо. Кто могъ бы подумать, что Витя...

«Ну, пусть говоритъ, бѣдная», — подумала Муся, устало закрывая глаза. — «Она ни въ чемъ не виновата, и я обязана проводить съ ней два-три часа въ день... Характеръ у меня, дѣйствительно, портится съ каждымъ днемъ». — Смягчившись, она поддерживала разговоръ съ матерью, изрѣдка вставляя свои замѣчанія. — «Подумать, что этотъ разговоръ со мной — единственное, что у нея осталось въ жизни. Все-таки къ завтраку она уйдетъ: чтобы не вводить меня въ расходы... А у меня-то что же осталось? Вивіанъ, которому со мной такъ же скучно, какъ мнѣ съ мамой? Да, моя жизнь разбита. Но если-бъ я за него не вышла, то было бы еще хуже»...

...— А все-таки, помяни мое слово, я совершенно увѣрена, что Витенька найдется, — говорила Тамара Матвѣевна. — Посуди сама, куда онъ могъ дѣться...

— О, да... Конечно, найдется.

— Вѣдь если даже онъ уѣхалъ къ бѣлымъ, то я не сомнѣваюсь, что...

«Господи, что мнѣ дѣлать?» — съ тоской думала Муся. — Вѣдь такъ надо будетъ разговаривать по крайней мѣрѣ два часа, даже больше, до завтрака. Сказать, что у меня разболѣлась голова? Но тогда она днемъ придетъ меня провѣдать. Сказать, что покупки? Она поѣдетъ со мной, да я и не хочу ее, несчастную, обижать... И такъ будетъ всю мою остальную жизнь». — Деликатность запретила ей и подумать: «всю ея жизнь». — «Да, жизнь

разбита. Я знаю, со стороны всякій скажетъ, что виновата я, а не Вивіанъ: я не умѣла создать настоящую жизнь, настоящія отношенія съ нимъ... И эта исторія съ операціей (Муся съ отвращеніемъ содрогнулась), этого онъ мнѣ никогда не проститъ, я отлично знаю. Онъ хочетъ жить совершенно свободно, какъ жилъ въ свои холостые годы, но съ тѣмъ, чтобы у него вдобавокъ былъ home, дѣти, любящая жена, цѣлый день занятая съ дѣтьми. И чтобы эта жена ласково ему улыбалась, когда ему вздумается прійти изъ клуба. Вѣдь называется все это «клубомъ». — Ею сразу овладѣло раздраженіе. — «Что-жъ дѣлать, я для роли такой жены не гожусь! Надо было жениться на англичанкѣ и поселиться съ ней въ Кенсингтонѣ»...

— Я тоже такъ думаю, мама, — поспѣшно сказала она, вспомнивъ, что давно не подавала реплики. Тамара Матвѣевна говорила все тѣмъ же тягучимъ однотоннымъ голосомъ. «Ахъ, она уже не о Витѣ. О чемъ же? О политикѣ. Да, мама меня занимаетъ». — Вы правы, мама, эта война долго продолжаться не можетъ.

— Гражданская война никогда не бываетъ такъ продолжительна, какъ тѣ войны. Покойный папа всегда это думалъ...

...«Но ради того, чтобы у него былъ home, я не дамъ отнять у себя жизнь! Нѣтъ, нѣтъ, я для роли Кенсингтонской жены не гожусь, — ласкорая улыбка не моя спеціальность! Ужъ если home, то безъ его «клуба», и не съ тѣмъ, чтобы онъ приходилъ въ этотъ home на полчаса, поиграть съ дѣтьми и поговорить со мной о погодѣ, о лошадяхъ, о платьяхъ!» — Ея раздраженіе все росло. — «Со стороны, конечно, онъ правъ: то, что я сдѣлала, не этично и не соотвѣтствуетъ интересамъ Англіи, его собственнымъ интересамъ: родъ Клервиллей угаснуть не долженъ, хоть этотъ

родъ мною, конечно, нѣсколько подмоченъ! Разумѣется, онъ теперь сожалѣетъ, что женился на мнѣ. Онъ будетъ это отрицать не только въ разговорѣ со мной, ce serait la moindre des choses! Онъ джентльменъ, и только я знаю, что это ложное джентльменство. Впрочемъ, всякое такъ называемое джентльменство есть ложное джентльменство, и всякій bonhomme — faux bonhomme, до той первой гадости, какую онъ сдѣлаетъ не скрываясь... Онъ раскаивается, что женился, но вѣдь раскаиваться могу и я. Нѣтъ, я не могу: для меня онъ былъ блестящей партіей. Что въ самомъ дѣлѣ со мной было бы, если-бъ онъ не подвернулся?..»

— Конечно, конечно... Мама, а все-таки вы не выпьете ли чашку кофе?

— Нѣтъ, что ты, Мусенька, я пила.

«Но такъ дальше жить нельзя, это я чувствую ясно. Нельзя жить тщеславіемъ — Жюльеттъ была тогда права, — туалетами, флиртомъ... Нельзя жить безъ любви. Все, все было ошибкой: да, и то, что было въ первую недѣлю въ Финляндіи, и та петербургская поѣздка на острова. Витя бѣжалъ, князь разстрѣлянъ, Петербурга нѣтъ, все, все ушло навсегда!..» — Она вдругъ съ ужасомъ вспомнила ту непонятную освѣщенную желтымъ свѣтомъ комнату, которая ей мерещилась послѣ смерти отца. — «Нѣтъ, такъ дальше нельзя жить! Помириться съ Вивіаномъ? Но вѣдь мы не ссорились. Нельзя мириться въ томъ, что мы чужіе другъ другу люди, что я не люблю его, а онъ меня любитъ, какъ любитъ всякую молодую женщину, или нѣсколько меньше, потому что я надоѣла... Вѣдь я хотѣла загладить свою вину, — да, я знаю, это вина, — о н ъ этого не пожелалъ. Въ тотъ вечеръ, когда я ему предложила поѣхать въ ресторанъ на Монмартръ, а затѣмъ вмѣстѣ, вдвоемъ, провести весь вечеръ, онъ отклонилъ, любезно-холодно отклонилъ, сослав-

шись на какое-то неотложное дѣло. Точно я не знаю, что онъ измѣняетъ мнѣ! «Измѣна» — въ другихъ случаяхъ это звучитъ такъ страшно: «государственная измѣна», — здѣсь слышится что-то змѣиное, — да, вѣдь по звуку похоже: змѣя — измѣна! Но въ этихъ случаяхъ это такъ просто, для него въ особенности. Со своими полковниками онъ, должно быть, весело объ этомъ разговариваетъ: вѣдь лишь бы до женъ не доходило, а они всѣ джентльмены, — они никогда не проговорятся, Боже избави! Я хотѣла дать ему понять, что отлично все это знаю и что je m'en fiche complètement. Но я боялась, что не справлюсь со своими нервами, не выдержу тона. Къ тому же, вѣдь ему это только развязало бы руки. Тогда я была бы, правда, не чистая, невинная, наивная кенсингтонская жена, но зато la perle des femmes. Онъ разсказывалъ бы и полковникамъ, и своимъ дамамъ, что ему выпало необыкновенное счастье: его жена совершенно не ревнива, ни капельки, ей совершенно все равно, — «и я очень ее люблю, право. Вы смѣетесь? Даю вамъ слово!..»

— ...Все-таки, что долженъ чувствовать такой Ленинъ, когда онъ подписываетъ смертные приговоры, — говорила Тамара Матвѣевна проникновенно, но все на одной нотѣ. Музыкальное ухо Муси не выносило ея рѣчи. — Я себѣ не могу представить такихъ людей, это такой ужасъ, что я просто...

— Да... Мама, вы меня извините, у меня голова болитъ, — сказала поспѣшно Муся, чувствуя, что у нея отъ злобы подходятъ къ горлу рыданья. — Нѣтъ, нѣтъ, что вы! Я очень рада, что вы пришли. Я только объясняю свою неразговорчивость... Я, кажется, приму аспиринъ, если у насъ есть.

— Мусенька, дорогая, я могу сходить въ аптеку.

— Зачѣмъ же вы? Въ гостиницѣ есть для этого мальчики. Но можетъ быть, пройдетъ и такъ.

— По моему, лучше безъ лекарствъ, покойный папа всегда это говорилъ. Ты знаешь, въ Парижѣ совсѣмъ не такой хорошій климатъ. У насъ, въ Питерѣ, былъ гораздо здоровѣе. Лѣтомъ здѣсь у меня каждый день болѣла голова.

— А теперь какъ?

— Теперь, слава Богу, лучше. Ты не можешь себѣ представить, какъ здѣсь было жарко въ августѣ, когда вы были въ Довиллѣ. Я помню, именно въ тотъ день, когда у меня былъ бѣдный Витенька, была страшная жара. Я его упрашивала не бѣгать, просила, чтобы онъ остался у меня къ обѣду. Но онъ непремѣнно хотѣлъ заѣхать къ этому Брауну.

— Къ Брауну? Какъ къ Брауну?

— Ну, да... А что?

— Онъ отъ васъ поѣхалъ къ Брауну?

— Да, сначала къ нему, а потомъ они условились встрѣтиться съ этимъ молодымъ человѣкомъ...

— И онъ былъ у Брауна?

— Этого я не знаю, Мусенька, вѣдь я его больше не видѣла. Вѣроятно, былъ.

— Мама, но какая вы странная! Какъ же вы раньше не сказали?

— Чего, Мусенька?

— Что онъ отъ васъ поѣхалъ къ Брауну!

— Мусенька, я сказала: къ Брауну, а потомъ въ театръ. Ты просто не разслышала. Но почему это тебя...

— Да вѣдь это, можетъ быть, все объясняетъ! Вѣдь Браунъ его еще въ Петербургѣ подбивалъ ѣхать въ армію... Да, конечно! Теперь мнѣ все ясно!

— Этого я не думаю, Браунъ на это не способенъ, — начала было Тамара Матвѣевна, но Муся ее не дослушала. Она поспѣшно направилась къ телефонному аппарату. «Все таки это очень странно. Почему мама упомянула о Браунѣ именно теперь, когда я думала о томъ, что моя жизнь разбита? По-

чему онъ имѣетъ отношеніе ко всѣмъ важнымъ дѣламъ моей жизни? Впрочемъ, какое же тутъ отношеніе?.. Но мама ошибается, она никогда мнѣ объ этомъ не говорила», — думала тревожно Муся, перелистывая телефонную книгу. Собственно она знала на память телефонъ Брауна: онъ назвалъ номеръ при одной изъ ихъ первыхъ встрѣчъ. Но Мусѣ точно стыдно было себѣ сознаться, что она этотъ номеръ помнитъ. «Что, если тутъ выходъ, ключъ всей моей жизни?» — подумала она, замирая отъ волненія точно такъ, какъ въ Петербургѣ, когда звала Брауна къ нимъ въ коммуну. Она едва выговорила номеръ. Никто не отвѣчалъ. Муся подождала немного, затѣмъ попросила телефонистку гостиницы вызвать вторично. Нѣтъ, не отвѣчалъ никто. «Кажется, я сейчасъ заплачу», — подумала Муся, — «я совершенно сошла съ ума»... Тамара Матвѣевна высказала предположеніе, что Брауна нѣтъ дома. Муся положила трубку съ раздраженіемъ, точно Браунъ былъ дома, зналъ, кто его вызываетъ, и отказывался подойти къ аппарату.

— Я сейчасъ ему напишу, — сказала она. — Вотъ вамъ пока газеты, мама.

Муся сѣла за столъ и начала писать. Сообщивъ кратко объ исчезновеніи Вити, она спрашивала Брауна, не знаетъ ли онъ чего-либо объ этомъ дѣлѣ. «Мама только что мнѣ сообщила, что наканунѣ своего исчезновенія Витя отъ нея долженъ былъ заѣхать къ вамъ. Если вы что знаете или имѣете какія-либо предположенія, пожалуйста, Александръ Михайловичъ, дайте мнѣ знать тотчасъ», — написала Муся и остановилась: «Значитъ, если онъ ничего не знаетъ, то отвѣта не требуется?..» Ей показалось, что она инстинктивно застраховала себя отъ грубости, на случай неполученія отвѣта. «Нѣтъ, ясно, что на такое письмо надо отвѣтить во всякомъ случаѣ». — «Не рѣшаюсь просить васъ за-

ѣхать ко мнѣ, знаю, какъ вы заняты, но, пожалуйста, позвоните мнѣ по телефону. Мой мужъ уѣхалъ сегодня въ Лондонъ, все по этому дѣлу: наводить справки тамъ. Мнѣ очень, очень нужно поговорить съ вами»...

Муся перечла письмо и осталась недовольна. «Вмѣсто «мой мужъ» лучше было сказать Вивіанъ. И совершенно ненужно было упоминать, что онъ сегодня уѣхалъ: выходитъ, какъ только мужъ уѣхалъ, я обращаюсь къ нему. Это повтореніе: «очень, очень» тоже придаетъ какой-то неподходящій оттѣнокъ». Она соединила чертой заключительную точку съ послѣдней буквой и послѣ «поговорить съ вами» приписала: «по этому дѣлу». «Теперь вышло два раза «по этому дѣлу» въ трехъ строчкахъ!..» — Муся разсердилась на себя: «Что же это! Пишу такъ, точно историческій документъ. Сойдетъ, какъ есть!» Она заклеила конвертъ, вызвала мальчика и велѣла тотчасъ отнести письмо.

Вечеромъ, часовъ въ девять, Мусѣ сообщилъ по телефону швейцаръ гостиницы, что внизу ее спрашиваетъ Браунъ. Сердце у нея забилось. Она почувствовала, что этого ждала: именно потому осталась дома; но какъ разъ передъ звонкомъ потеряла надежду и уже настраивала себя на пріятную меланхолію разрыва.

— Пожалуйста, попросите подняться, — дрогнувшимъ голосомъ сказала Муся. — И больше меня ни для кого нѣтъ дома.

XXV.

Мусѣ самой было странно, что она такъ волнуется: никакой причины для этого не было. Бросивъ въ зеркало послѣдній, окончательный взглядъ, она вышла на порогъ комнаты, хоть этого не слѣдовало дѣлать. По коридору шелъ Браунъ. «Кажется, у меня мрачныя предчувствія, какъ въ мелодрамѣ «Кривого Зеркала», — подумала она съ напряженной насмѣшкой надъ собою, и, спокойно-привѣтливо улыбаясь, протянула ему руку. Улыбка Татьяны Онѣгину на великосвѣтскомъ балу не вышла. Муся чувствовала, что лицо у нея выражаетъ растерянность, чуть только не испугъ.

— Какъ я рада, Александръ Михайловичъ! — сказала она. Въ голосѣ ея прозвучали тѣ самыя модуляціи, которыми когда-то въ Петербургѣ она пользовалась въ разговорѣ то съ нимъ, то съ Клервиллемъ. Но и модуляціи не совсѣмъ вышли, да и не соотвѣтствовали печальному дѣлу, бывшему причиной его визита. Муся попробовала перейти на грустно-озабоченный тонъ — и вдругъ совершенно растерялась.

...— Вамъ здѣсь въ креслѣ будетъ удобно? Это мое любимое, но, такъ и быть, я его вамъ отдаю, я сяду на диванъ... Не слишкомъ близко отъ радіатора? Какъ быстро наступили холода, неправда ли? Но вы не безпокойтесь, у насъ въ гостиницѣ топятъ недурно, не то, что въ Англіи, гдѣ я прямо мерзла... Я думала, здѣсь будетъ пріятнѣе, чѣмъ внизу, въ холлѣ... Но какъ мило, что вы зашли. Я не хотѣла васъ безпокоить, пыталась къ вамъ дозвониться сегодня утромъ, но...

— Утромъ у меня телефонъ не работаетъ.

— То есть, вы были дома? Нѣтъ, я такъ и думала, что вы дома и не хотите подойти къ аппарату!

Нѣтъ, какая низость! — воскликнула, смѣясь, Муся и почувствовала, что не надо было ни восклицать, ни даже просто говорить «какая низость!», — онъ не улыбнулся и пристально на нее глядѣлъ. Послѣ этихъ словъ нельзя было сразу перейти къ исчезновенію Вити. Муся съ ужасомъ и наслажденіемъ чувствовала, что не владѣетъ собой, что теперь съ разбѣгу остановиться очень трудно. Ей казалось, что онъ отлично это видитъ, что онъ молчитъ нарочно, — быть можетъ, издѣвается.

Она взяла трубку телефоннаго аппарата и заказала чай, очень пространно, чуть не съ модуляціями, объясняя все лакею. Браунъ сбоку, со своего кресла, все такъ же пристально смотрѣлъ на нее. «У него блестятъ глаза, обычно они холодные, я такимъ его никогда не видала!» — замирая, думала Муся. — «Et le citron, n'oubliez pas le citron», — пропѣла она. — «Oui, madame», — недоумѣвая сказалъ лакей. Съ трудомъ сдерживая бѣгъ, какъ прошедшая мимо столба скаковая лошадь, Муся произнесла: «Mais surtout faites vite, je vous prie, nous attendons», — повѣсила трубку съ сіяющей улыбкой, какъ бы означавшей: «вотъ вы увидите, какъ намъ будетъ здѣсь уютно». — Сейчасъ, сейчасъ подадутъ! — сообщила она Брауну, точно онъ нѣсколько разъ съ нетерпѣніемъ требовалъ чаю. — И вы знаете, у моего мужа есть коньякъ, какой-то необыкновенный, замѣчательный коньякъ, старше насъ съ вами вмѣстѣ взятыхъ! Вивіанъ досталъ нѣсколько бутылокъ у Корселле. Только гдѣ онѣ? Если-бъ я знала, гдѣ онѣ? — Муся приложила руки къ вискамъ, точно и въ самомъ дѣлѣ не знала, гдѣ у нихъ находится коньякъ. — Ахъ, да!.. Одну минуту...

Легкой савинской походкой она вышла въ спальную и остановилась за дверью, почти задыхаясь. «Что со мной? Я, право, съ ума сошла! Гос-

поди, неужели сегодня!.. Ну, будь что будетъ!..» Муся направилась было назадъ, у дверей вспомнила о коньякѣ, вернулась, достала бутылку и вышла въ гостиную.

— Слава Богу, нашла! Я боялась, вдругъ Вивіанъ увезъ ключъ отъ своего шкафа. Нѣтъ, коньякъ есть, къ счастью для васъ! Впрочемъ, я тоже выпью рюмку, очень холодно. Кажется, вы знаете толкъ въ винахъ не хуже, чѣмъ Вивіанъ?.. Но какъ же вы, Александръ Михайловичъ, что же вы?

— Ничего, благодарю васъ.

— Я васъ сто лѣтъ не видала. — Ее немного успоило, что онъ все-таки говоритъ. — Я такъ вамъ рада и такъ благодарна, что вы зашли. Сначала о дѣлѣ...

Она принялась необыкновенно горячо разсказывать о Витѣ. Самый характеръ разсказа у Муси зависѣлъ отъ звука ея голоса, — какъ у писателей иногда работа зависитъ отъ пера, отъ бумаги, отъ чернилъ. Голосъ у нея былъ прекрасный, быть можетъ чуть срывающійся на верхнихъ нотахъ, но Муся и изъ этого умѣла извлекать пользу, — такъ старинные мастера расписныхъ стеколъ лучшихъ своихъ эффектовъ достигали благодаря несовершенствамъ ихъ стекла. Браунъ слушалъ и пилъ коньякъ, не облегчая ей разсказа ни вопросами, ни возгласами удивленія.

...— И вотъ вамъ ихъ полиція! У насъ бы мальчишку нашли въ 24 часа, а мы еще ругали наши порядки. Но вы себѣ и не представляете, какъ я волнуюсь! Я просто не нахожу мѣста... — Вошелъ лакей съ подносомъ. — Posez cela ici. Merci... — Вы вѣдь знаете, Витя мнѣ все равно, что родной, я съ ума схожу... Вы, можетъ быть, предпочитаете пить чай изъ стакана?

— Мнѣ все равно.

— Да, вотъ ихъ полиція... Но ваше мнѣніе какое, Александръ Михайловичъ?

— Ничего не могу вамъ сказать.

— У васъ и предположеній нѣтъ никакихъ? Вамъ Витя тогда ничего не говорилъ, что хочетъ куда-то уѣхать?

— Онъ просилъ меня найти для него въ Парижѣ работу.

— Работу? Да, это у него была idée-fixe! Я хотѣла, чтобы онъ учился, не думая о деньгахъ, но онъ все приставалъ съ работой. Я, наконецъ, достала или почти достала для него работу въ одномъ кинематографическомъ дѣлѣ.

— Помнится, онъ говорилъ мнѣ и объ этомъ, но безъ восторга. Упомянулъ и о томъ, что хотѣлъ бы уѣхать въ армію.

— Ахъ, вотъ, значитъ упомянулъ? Я такъ и думала! Въ армію? Какъ же именно онъ сказалъ? Онъ не сказалъ, въ какую армію? Вообще никакихъ подробностей не сообщилъ вамъ?

— Нѣтъ. Сказалъ довольно неопредѣленно. Мнѣ казалось, что и не очень серьезно это говорится.

— Какъ мы всѣ относительно него заблуждались! Но теперь я почти не сомнѣваюсь, что онъ уѣхалъ въ армію... Я вамъ положила одинъ кусокъ, Александръ Михайловичъ, я помню по Петербургу, что вы пьете съ однимъ кускомъ. Помните нашу коммуну?.. То, что вы мнѣ сообщили, чрезвычайно важно, — говорила быстро Муся, — чрезвычайно важно. Теперь мнѣ ясно: онъ уѣхалъ въ армію.

— Какія же у васъ были другія предположенія? Самоубійство?

— Что вы! — вскрикнула Муся испуганно. — Что вы, Александръ Михайловичъ! Почему самоубійство?

— Или несчастный случай?

— Это ужъ скорѣе. Но, къ счастью, и объ этомъ нѣтъ рѣчи, — Муся постучала по дереву: все путала примѣты и средства противъ нихъ, такъ же, какъ Тамара Матвѣевна. — Вѣдь если-бъ онъ, напримѣръ, попалъ подъ автомобиль, мы давно знали бы: вѣдь все-таки подняли на ноги всю полицію.

— Да, конечно.

— Какъ вы меня напугали! Налейте, пожалуйста, и мнѣ коньяку... Все-таки почему вы упомянули о самоубійствѣ? — Она опять постучала по дереву съ искреннимъ ужасомъ. — Изъ-за чего Витя могъ бы покончить съ собой?

— Изъ-за любви.

— Развѣ онъ былъ влюбленъ? Въ кого?

— Въ васъ, конечно.

Муся изумленно на него смотрѣла.

— Почему вы думаете? Онъ вамъ говорилъ?

Браунъ усмѣхнулся.

— Напротивъ, такъ старательно замалчивалъ еще въ Петербургѣ, что это было вѣрнѣе всякихъ исповѣдей.

— Все-таки странно, что у васъ было такое предположеніе, — сказала задумчиво Муся, не подтверждая и не опровергая.

— Это предположеніе довольно естественно. Я вдобавокъ и не слѣпой, хоть не обо всемъ вообще говорю изъ того, что вижу, — сказалъ Браунъ.

Въ голосѣ его Мусѣ послышалась не то насмѣшка, не то угроза.

— Да, конечно, у мальчиковъ ихъ секреты бѣлыми нитками шиты.

— Не только у мальчиковъ.

Они помолчали.

— Не буду утверждать, что вы ошиблись, Александръ Михайловичъ, но, я думаю, въ этомъ чувствѣ Вити ничего серьезнаго не было — сказала

Муся и почувствовала, что довольно говорить о Витѣ.

Браунъ вынулъ портсигаръ.

— Вы позволите? Вашъ мужъ и не подозрѣваетъ... — Онъ закурилъ папиросу. Муся тревожно ждала. — И не подозрѣваетъ, что я истребляю его завѣтную бутылку. Что онъ подѣлываетъ?

— Ничего особеннаго. Онъ сегодня уѣхалъ въ Лондонъ.

— Да, вы объ этомъ мнѣ сообщили.

— Уѣхалъ въ Лондонъ все по тому же дѣлу Вити. — Муся подумала, что, кажется, онъ истолковалъ ея письмо именно такъ, какъ она опасалась: вульгарно. Это ее раздражило. «И въ тонѣ его сегодня есть что-то ему несвойственное, «галантерейное», — говорилъ Никоновъ. Зачѣмъ онъ сказалъ «завѣтную бутылку»? Во всякомъ случаѣ пусть теперь поговоритъ онъ, мнѣ монологъ надоѣлъ»... Браунъ все смотрѣлъ на нее въ упоръ, чуть наклонивъ голову. «Нѣсколько странная манера! И глаза у него такъ блестятъ... Что, если онъ морфинистъ!» — вдругъ мелькнула у Муси дикая мысль. Почему-то она отъ Брауна всегда ждала самыхъ странныхъ вещей, — вродѣ какъ туристы, посѣщая средневѣковый замокъ, непремѣнно ждутъ «комнаты пытокъ» или отверстій, изъ которыхъ «на осаждавшихъ лили кипящую смолу». — Еще рюмку коньяку, Александръ Михайловичъ? Очень холодно. Ничего мнѣ такъ не жаль, какъ нашихъ русскихъ печей. Да, я выпью тоже... Коньякъ въ самомъ дѣлѣ прекрасный... А знаете, Александръ Михайловичъ, вы сегодня не совсѣмъ такой, какъ всегда.

Онъ улыбнулся.

— Правда, мы давно съ вами не встрѣчались. Надѣюсь, ничего не случилось?.. Извините мою нескромность, но, право, мнѣ кажется...

— Вы не ошибаетесь, — сказалъ Браунъ. — Кое-что случилось, но это никому, кромѣ меня, не интересно. Я получилъ первое предостереженіе.

— Какъ вы говорите?

— Не интересно, — упрямо повторилъ Браунъ. — Кромѣ того, я кончилъ или почти кончилъ книгу, надъ которой работалъ много лѣтъ.

— Книгу? Развѣ вы пишете книги?

— Одну написалъ. Она называется «Ключъ».

— «Ключъ»? Это книга по химіи?

— Нѣтъ, это философская книга. Книга счетовъ.

— Поздравляю васъ. Вы такъ меня удивили, Александръ Михайловичъ... Философская книга? Я что-нибудь пойму?

— Ничего рѣшительно.

— Благодарю васъ!

— Впрочемъ, можетъ быть поймете «новеллу», которую я вставилъ въ свою книгу. Есть такое смѣшное, старенькое слово «новелла», я его очень люблю, такъ и назвалъ. Новелла у меня съ дѣйствіемъ, съ фабулой, это вы прочтете.

— Но развѣ въ философскія книги вставляются новеллы съ фабулой?

— Фабула никогда не мѣшаетъ. Недаромъ почти во всѣхъ создателяхъ религіозныхъ ученій сидѣлъ Александръ Дюма. Да и Священное Писаніе не завоевало бы міра, если-бъ въ немъ не было и авантюрнаго романа.

Это замѣчаніе показалось Мусѣ и неприличнымъ, и не очень умнымъ. Она ничего не отвѣтила, — пожалѣла, что онъ это сказалъ.

— Не думайте, однако, что я вставилъ новеллу для увеличенія тиража книги. Но такъ легче было пояснить мои мысли.

— Что же, это новелла изъ современной жизни?

— Нѣтъ, изъ эпохи тридцатилѣтней войны. Символическая и, разумѣется, стилизованная, притомъ

въ разныхъ стиляхъ. Пишу, какъ хочу, хоть подъ Загоскина. У всякаго барона своя фантазія.

— Да вѣдь вы баронъ не въ литературѣ.

— И ни въ чемъ другомъ. Баронъ, какъ всякій независимый человѣкъ. Стилей же нѣсколько потому, что я писалъ въ разное время: началъ эту новеллу очень давно, въ добрую минуту... Тогда даже документы собиралъ, — съ одного стараго документа и началось... Это гороскопъ Валленштейна, составленный великимъ астрономомъ Кеплеромъ.

— Валленштейна? Того, что у Шиллера? Ахъ, какъ интересно! Я почему-то увѣрена, что вы Валленштейна писали съ себя... Только не сердитесь, ради Бога.

— Ну, а потомъ много измѣнилось, вотъ получилъ и предостереженіе... Можетъ быть, во мнѣ и пропалъ романистъ: Гоголь такихъ людей, какъ я, называлъ «душезнателями».

— Никогда не поздно перемѣнить карьеру.

— Мнѣ поздновато... Называется моя новелла «Деверу».

— Деверу? Что это такое? Впрочемъ, я прочту... Я все-таки надѣюсь, что вы мнѣ дадите вашу книгу, когда она выйдетъ. Вдругъ и я, дура, что-нибудь пойму. Во всякомъ случаѣ, я увижу, какой вашъ violon d'Ingres. Я представляла себѣ его инымъ.

— Какимъ же? — спросилъ Браунъ безъ большого интереса.

— Не знаю, какъ объяснять, и не знаю, объяснять ли. — «Отъ него станется, что онъ скажетъ»: «и не объясняйте, не надо», — подумала она и поспѣшно продолжала. — Кажется, философы это называютъ міромъ подсознательнаго...

— Міръ В.

— Что? Я не поняла. Міръ В?.. Ну, да все равно. Но я все больше прихожу къ мысли, что самыя

острыя чувства, мысли, желанія человѣка — тѣ, въ которыхъ онъ самъ себѣ не сознается.

— Отличіе обыкновенныхъ людей отъ необыкновенныхъ отчасти въ томъ, что обыкновенные могутъ ясно изложить, какой у нихъ — въ кавычкахъ — «идеалъ счастья».

— А необыкновенные не могутъ? То-есть попросту не знаютъ сами, чего хотятъ?

— Попросту это именно такъ.

— Въ такомъ случаѣ, — сказала, обидѣвшись, Муся, — я думаю... Она не докончила фразы: глаза Брауна поразили ее выраженіемъ злобы, усталости, тоски. «Кажется, онъ не совсѣмъ здоровъ»... И опять Мусѣ пришло въ голову: «Что, если онъ морфинистъ или сумасшедшій?.. Во всякомъ случаѣ ничего не будетъ, и такъ лучше»... Она предпочла засмѣяться.

— Окончаніе книги, повидимому, васъ не привело въ очень хорошее настроеніе. Но все-таки что такое вашъ «Ключъ»? Это философская система? — спросила Муся, тоже съ легкой насмѣшкой въ голосѣ.

— Зачѣмъ такія слова? Я не задавался цѣлью ни создавать 765-ую философскую систему, ни писать 184-ую книгу о Кантѣ. Просто записалъ свои мысли о жизни, какъ собственно долженъ бы дѣлать каждый человѣкъ передъ уходомъ... Я хочу сказать: на старости лѣтъ.

— Да это кокетство. Какой вы старикъ! — сказала Муся и подумала, что, вѣрно, тысячи женщинъ говорили мужчинамъ эту самую фразу. — Ради Бога, не будемъ вести похоронныхъ разговоровъ. Скажите лучше, какіе теперь ваши планы? — Она сама не знала, о чемъ спрашиваетъ. — То-есть, теперь послѣ окончанія вашей книги. Вѣдь вы остаетесь въ Парижѣ?

— Да, остаюсь.

— Вы вообще какъ думаете: долго намъ жить въ эмиграціи?

— Совершенно не знаю. Это зависитъ отъ милліона случайностей.

— А «законы исторіи?» — спросила Муся, подчеркивая шутливой интонаціей ученыя слова.

— Какіе ужъ тамъ законы исторіи, — эту шутку выдумали историки. Повѣрьте, все въ мірѣ опредѣляется случаемъ. Вѣдь и Россія погибла оттого, что, по случайности, не нашлось 5-6 рѣшительныхъ людей, готовыхъ пожертвовать собой въ атмосферѣ общаго равнодушія, — людямъ «общественное сочувствіе» нужно и для того, чтобы идти на смерть... Разумѣется, одной рѣшительности было мало: надо было имѣть еще и голову на плечахъ.

«Да вотъ вы же въ Петербургѣ пробовали, съ Витей», — хотѣла сказать Муся, но не сказала.

— Что же мы тутъ будемъ дѣлать?

— То, что дѣлаемъ уже сейчасъ. Ходить на митинги со стыдливой любовью къ Россіи, пережевывать глубины Достоевскаго: «Я... я буду вѣровать въ Бога», — пролепеталъ въ изступленіи Шатовъ»... Зарабатывать хлѣбъ какъ умѣемъ... Станемъ бѣдными родственничками Европы, — дальними, очень дальними, такими дальними, что почти даже и не родственники. Въ душѣ потеряемъ вѣру въ свою великодержавность, которую прежде не любили и даже не замѣчали. А главное будемъ голодать, это будетъ основное занятіе...

— Вотъ чисто-русская манера: вѣчно себя и все свое ругать.

— Всѣ націи о себѣ утверждаютъ то же самое и видятъ въ этомъ свою особенность. Даже французы: «Cette manie que nous avons de nous dénigrer nous- mêmes»... Въ дѣйствительности, каждая нація по уши въ себя влюблена.

— Ну, хорошо, хорошо... Какъ можно жить одной ироніей, вѣдь это такъ мертво! Я политикой не интересуюсь, но, повѣрьте, я сердцемъ чувствую: у насъ, у эмигрантовъ, есть задача, и большая.

— Я этого и не отрицаю, — ужъ я-то всего менѣе живу ироніей. Если дѣло затянется, то наша задача будетъ даже велика непосильно, — лишь бы только мы ее выполнили, тогда отъ ироніи ничего не останется... Можетъ быть, т а Россія политически и спасется, но морально она обречена на гибель. Впервые, кажется, въ исторіи появилась такая власть, которая вполнѣ способна всѣхъ обратить въ подлецовъ. Отсюда и задача эмиграціи: спасти остатки русской духовной культуры. У Вергилія въ Энеидѣ есть, помнится, такая сцена: Троя гибнетъ, до прихода враговъ остаются часы или минуты, Эней колеблется: оставаться? бѣжать? Къ нему является тѣнь Гектора и приказываетъ: «Бѣги! Тебѣ вручаются Троей святыни ея и пенаты!..» «Sacra suosque tibi commendat Troia penates.» Это отнюдь не значитъ, что я предлагаю «подвижничество», о, нѣтъ! Быть такимъ же народомъ, какъ французскій или англійскій, такимъ же, какимъ б ы л ъ русскій, — и только.

— Все-таки, тутъ у васъ, кажется, противорѣчіе...

— Не думаю. А впрочемъ, оставляю за собой право и на противорѣчіе. Я живой человѣкъ, а не таблица умноженія.

— Живой, но мрачный. На конкурсѣ мрачныхъ людей, вы могли бы получить первый призъ. Когда вы выпустите книгу, придумайте для себя подходящій псевдонимъ: «Робертъ-дьяволъ», напримѣръ, или что-нибудь въ этомъ родѣ, а? Впрочемъ, нѣтъ, не надо псевдонима! Мнѣ нравится ваша фамилія, хоть она странная: Браунъ. И ваше

имя вамъ идетъ! Я не очень люблю: «Александръ», но это имя идетъ вамъ. Ну, вотъ, какъ папа можетъ называться Пій, Левъ, Бенедиктъ, но называться Эрнестъ или Адольфъ ему было бы неудобно, правда? — говорила Муся, чувствуя, что снова начинаетъ нести чушь. — Можетъ быть, впрочемъ, послѣ «Ключа» ваше имя такъ прогремитъ, что его будутъ произносить безъ prénom, — вотъ какъ когда говорятъ Толстой-просто, то имѣютъ въ виду Льва Николаевича. Но заранѣе васъ предупреждаю, я васъ читать не буду: я очень люблю жизнь, да, да, очень!

— Тогда непремѣнно читайте мрачныхъ писателей. Помните, что писатель обычно достигаетъ результатовъ какъ разъ обратныхъ тѣмъ, къ которымъ онъ стремился. Вы упомянули о Толстомъ, — въ «Аннѣ Карениной» героиня въ концѣ бросается подъ поѣздъ, одинъ герой подумываетъ о самоубійствѣ, другой идетъ на свое турецкое самоубійство, а вся книга такъ и дышетъ страстной любовью къ жизни. Напротивъ, въ «Воскресеніи» или тамъ въ сказочкахъ всѣ умиляются, очищаются, просвѣтляются, но читателю хочется повѣситься отъ тоски.

— Это невѣрно, — смѣясь, сказала Муся. Коньякъ успѣлъ ударить ей въ голову. Ей было и жутко, и весело. Въ этомъ разговорѣ объ умномъ наединѣ съ Брауномъ, въ легкомъ круженіи головы, было то самое, что она любила больше всего на свѣтѣ. «Кажется, я пьяна», — соображала Муся, стараясь слѣдить за его словами: надо было вставлять отвѣтныя замѣчанія. «Да, это необыкновенный коньякъ, вѣдь я выпила всего двѣ рюмки. А вотъ онъ хлещетъ коньякъ какъ воду, и это очень мило! Онъ раньше сказалъ что-то непріятное, но я не помню что, и мнѣ все равно: я люблю его»... — Это невѣрно... Налейте мнѣ еще рюмку.

— Вы догадываетесь, что я на громкую славу не разсчитываю, — продолжалъ Браунъ. — Да и не очень ея жажду. Книгъ, которыя нравились бы очень многимъ людямъ, нѣтъ и быть не можетъ; есть только книги, которыхъ очень многіе люди не смѣютъ ругать. Этого писателю надо ждать довольно долго, мнѣ не дождаться. Да о моей книгѣ и говорить не станутъ: нѣтъ причины. Писатели и вообще завоевываютъ міръ не тѣмъ лучшимъ, тонкимъ или мудрымъ, что въ нихъ было, а тѣмъ, что, на придачу, было въ нихъ грубаго, общедоступнаго, иногда пошлаго. Гоголь былъ большой, очень большой писатель, но всероссійскую извѣстность ему создало обличеніе взяточниковъ.

— Ну, хорошо, не завоевывайте міра, такъ и быть, — сказала Муся, полузакрывъ глаза, приложивъ руки къ щекамъ. — Но... Я забыла, что я хотѣла сказать... Но вѣдь и вы эмигрантъ. На что же вы-то оріентируетесь? — опять шутливо подчеркнула она ученое слово, которое умнымъ людямъ въ разговорѣ упоминать не надо.

— Я? На Пэръ-Лашэзъ.

— Полноте! — вскрикнула Муся. — Мы всѣ умремъ, это достаточно извѣстно, но ничего другого намъ не предлагаютъ. Что-жъ объ этомъ говорить?

— Да я объ этомъ и не говорю, вамъ послышалось.

— Увидите, сколько у васъ еще будетъ хорошаго въ жизни!

— Принимаю къ свѣдѣнію. Но въ общемъ съ длиннотами была шутка, съ длиннотами, — угрюмо сказалъ онъ, и опять что-то оперное, банальное показалось въ его словахъ Мусѣ. — Я какъ престарѣлый Людовикъ XIV: «je ne suis plus amusable», — простите сравненіе, оно вѣдь условно... Жизнь груба... Ахъ, какъ груба жизнь! По высшей справедливости, я собственно долженъ впасть въ гатизмъ:

слишкомъ вѣрилъ когда-то въ разумъ. Значитъ, мнѣ полагалось бы закончить дни кретиномъ, такъ чтобы меня кормили съ ложечки...

— Господи! Александръ Михайловичъ, я терпѣть не могу такихъ разговоровъ! — сказала Муся умоляющимъ голосомъ, совершенно такъ, какъ говорила ея мать, когда Семенъ Исидоровичъ упоминалъ о старухѣ съ косой. Она сразу проглотила всю рюмку коньяку. Голова у Муси закружилась. «Онъ все точно прицѣливается... Ну, кто кого пересмотритъ?..» — Браунъ внимательно въ нее вглядѣлся и придвинулъ свое кресло къ дивану. Муся слабо засмѣялась и пыталась отодвинуться, но диванъ стоялъ у стѣны. «Григорій Ивановичъ говорилъ: если васъ, Мусенька, немного напоить, то съ вами любой предпріимчивый человѣкъ можетъ сдѣлать что угодно...» — вспомнила она. — «Ну, это мы еще посмотримъ! А впрочемъ»... — Вотъ что... Вы мнѣ лучше разскажите, какъ вы тогда бѣжали изъ Петербурга.

Онъ разочарованно вздохнулъ, признавъ ее недостаточно пьяной, и налилъ еще коньяку въ рюмки. Лицо его становилось все блѣднѣе.

— Ничего не было интереснаго.

— Ну какъ не было? Вѣдь вы съ Федосьевымъ бѣжали?

— Да, съ Федосьевымъ.

— А правда, что онъ сталъ католическимъ монахомъ, чуть только не уходитъ въ какую-то пещеру.

— Правда.

— Вы съ нимъ послѣ того встрѣчались?

— Мы разстались тогда же въ Стокгольмѣ: онъ поѣхалъ въ Берлинъ, а я въ Парижъ. Сначала изрѣдка переписывались, хотѣли даже встрѣтиться, но не вышло. Ни Магометъ къ горѣ, ни гора къ Магомету, развѣ встрѣтятся когда-нибудь Магометъ съ горой на полдорогѣ. У него или, вѣрнѣе, для

него одна правда, для меня другая... Для васъ третья, для Вити четвертая. Чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, лишь бы не плакало. Къ сожалѣнію, плачетъ оно почти всегда.

— Но какъ вы объясняете поступокъ Федосьева?

— Да вѣдь его правда изъ лучшихъ... Но много было, вѣроятно, причинъ. Главная, быть можетъ, та, что дѣлать ему было рѣшительно нечего. На югѣ Россіи его не хотѣли. Не въ эмигрантскія же бирюльки играть. А онъ человѣкъ очень дѣятельный. Католическая церковь — большая сила, изъ церквей единственная или, во всякомъ случаѣ, самая большая. Одна изъ главныхъ въ наше время силъ порядка... Вдобавокъ, и жить ему было нечѣмъ.

— Нехорошо, Александръ Михайловичъ, извините меня, нехорошо такъ говорить!

— Когда человѣку чего-либо очень хочется, онъ ищетъ союзниковъ гдѣ угодно. Генрихъ VIII, лишь бы законно развестись съ осточертѣвшей ему женой, обратился за богословской консультаціей къ докторамъ синагоги. Людовикъ XI отъ страха смерти послалъ за какимъ-то амулетомъ къ султану... Федосьеву и жизнь очень надоѣла, и смерти онъ, вѣроятно, боялся чрезвычайно. Вотъ онъ и нашелъ срединный выходъ. Къ тому же церковь сейчасъ — единственное не обезображенное мѣсто въ мірѣ. «Вдругъ здѣсь спасеніе? Дай, ухвачусь»... Впрочемъ, не знаю, зачѣмъ онъ перемѣнилъ вѣру, не знаю. Люди мѣняютъ религію по самымъ разнымъ причинамъ, иногда даже по искреннему убѣжденію. Единственное, чему я никогда не повѣрю: будто Федосьевъ ушелъ въ монастырь и з ъ - з а у г р ы з е н і й с о в ѣ с т и, — я отъ кого-то слышалъ и такое объясненіе... Федосьевъ былъ слишкомъ поэтическій человѣкъ для своей должности, художественная натура въ полиціи. Что-жъ,

и это возможно, въ видѣ исключенія изъ правила несовмѣстимости: вотъ какъ женщина, какая-нибудь принцесса, можетъ быть шефомъ полка и носить военный мундиръ... Такихъ другихъ въ ихъ кругу не было... Не было въ наше время, были прежде, когда-то. Въ самомъ его уходѣ есть нѣчто лѣтописное — или хоть безсознательная поддѣлка подъ это, какъ въ «Князѣ Серебряномъ». Но почему католичество? Онъ, помнится, говорилъ мнѣ, что мать его была полька... А вамъ кто сказалъ, что Федосьевъ удалился въ пещеру?

— Госпожа Фишеръ. — Браунъ вдругъ измѣнился въ лицѣ. — Я хочу сказать, баронесса Стеріанъ, — пояснила Муся. — Вы развѣ ее знаете?

— Нѣтъ. Кто это?

— Помните, передъ самой революціей въ Петербургѣ нашумѣло дѣло Фишера: не то онъ былъ убитъ, не то покончилъ съ собой, я точно теперь ужъ и не помню, хоть мой покойный отецъ много намъ разсказывалъ: онъ долженъ былъ выступать по этому дѣлу. Но папа за столомъ всегда говорилъ о какихъ-то процессахъ, и у меня все въ памяти спуталось... Такъ вотъ вдова этого Фишера вышла потомъ замужъ за какого-то экзотическаго авантюриста, барона Стеріана, не то теперь умершго, не то пропадающаго неизвѣстно гдѣ.

— Какое же отношеніе она имѣетъ къ Федосьеву?

— Никакого, но она вообще все о всѣхъ знаетъ. О Федосьевѣ ей, кажется, сообщили въ комитетѣ или посольствѣ.

Браунъ налилъ себѣ еще рюмку коньяку. Бутылка была опорожнена больше, чѣмъ наполовину.

— Ну, а что же означаетъ: «я получилъ первое предостереженіе», — спросила Муся.

— Это не ваше дѣло, — отвѣтилъ Браунъ.

XXVI.

Позднѣе, послѣ самоубійства Брауна, когда почти всѣ знавшіе его люди говорили, что онъ, вѣрно, былъ человѣкъ сумасшедшій, Муся, въ дурныя минуты, со стыдомъ и ужасомъ думала, что въ тотъ вечеръ онъ дѣйствовалъ по опредѣленному плану, какъ могъ бы дѣйствовать самый пошлый покоритель сердецъ: «Напоилъ меня, а потомъ, сыгравъ на пессимизмѣ, заговаривалъ, какъ знахарь заговариваетъ больного, какъ факиръ заговариваетъ змѣю»... Этимъ объясняла Муся и то, что, вопреки своему обыкновенію, онъ говорилъ съ ней о предметахъ серьезныхъ, ей мало доступныхъ и не слишкомъ ее интересовавшихъ. Замысломъ покорителя сердецъ объясняла она и непристойно-циничный тонъ нѣкоторыхъ его замѣчаній.

Однако, въ минуты лучшія, когда Муся вспоминала о Браунѣ иначе, ей казалось, что онъ въ самомъ дѣлѣ былъ увлеченъ, чуть только не влюбленъ въ нее въ тотъ вечеръ: «Передъ смертью хотѣлъ взять у жизни и это. А говорилъ со мной, — да, какъ Мольеръ читалъ комедіи своей кухаркѣ, никого другого не было... Хотѣлъ хоть передъ кѣмъ-нибудь все сказать...» По разному объясняла Муся и слова Брауна о первомъ предупрежденіи: можетъ быть, у него было легкое кровоизліяніе въ мозгъ, — не потому ли онъ упомянулъ и о «гатизмѣ»?

То, о чемъ говорилъ въ этотъ вечеръ Браунъ, вспоминалось Мусѣ смутно, многое въ ея памяти и не сохранилось. Она помнила, что онъ долго говорилъ о политическихъ дѣлахъ, — прежде ему это не могло прійти въ голову. Говорилъ, что міръ впервые въ исторіи, на свое несчастье, пришелъ въ состояніе приблизительнаго равновѣсія силъ: число

людей, стремящихся къ сохраненію установленнаго порядка, приблизительно равно числу тѣхъ, кто заинтересованъ въ его паденіи. Половина человѣчества смотритъ на то, какъ живетъ въ свое удовольстіе другая половина, — вотъ какъ мосье Прюдомъ водилъ свою жену voir manger les glaces. Поэтому демократія, основанная на подсчетѣ голосовъ, впервые стала нелѣпой формой правленія. Всѣ эти Бруты отъ станка и Прометеи изъ хедера — полуидіоты, но полуидіоты хитренькіе, и въ историческую точку они попали вѣрно. Однако, появится полуидіоты другіе, не уступающіе по хитрости этимъ, и человѣчество между полуидіотами разныхъ толковъ будетъ метаться картинно и отвратительно, какъ мечутся, прижимаясь другъ къ другу, прокаженные въ скверныхъ фильмахъ изъ жизни Востока. Исторія міра есть исторія зла и преступленій, — изъ нихъ одна десятая остается нераскрытыми и восемь десятыхъ безнаказанными. Ужъ и сейчасъ надъ большой частью культурнаго міра владычествуютъ разбойники, которымъ мѣсто на висѣлицѣ или на каторгѣ, и, хоть этого не было въ Европѣ по меньшей мѣрѣ лѣтъ двѣсти, все же люди серьезно вѣрятъ въ прогрессъ, — самая нелѣпая изъ нелѣпыхъ вѣръ! Непрерывно ускоряется темпъ жизни, — въ пору аэроплановъ поколѣніе надо бы считать въ пять лѣтъ, — и каждое изъ поколѣній поноситъ, высмѣиваетъ, позоритъ все, къ чему стремилось поколѣніе предыдущее. «Дѣти» составляютъ свое духовное добро изъ того, что считали отбросами «отцы», — какъ духи готовятся изъ дурно пахнущихъ веществъ и на такія же вещества со временемъ разлагаются. Кризисъ отнынѣ вѣчное состояніе человѣчества. Можетъ быть, и есть большая дорога исторіи, но Богъ знаетъ, куда она ведетъ, да и ведетъ ли вообще куда бы то ни было? Всѣ умственныя и моральныя цѣн-

ности будутъ распродаваться съ молотка, за гроши, — и то покупателей не будетъ, — и правы были афиняне, что на всякій случай воздвигали въ храмѣ статую невѣдомому богу. Недолгое царство свободы кончилось: люди не уважаютъ тѣхъ, кто обобращается съ ними не какъ съ лакеями,—всѣ народы сейчасъ находятся en état de liberté provisoire. Народоправство стало именно «ненужностью» — и даже ненужностью не очень умной. Человѣчество само себя подѣлитъ, какъ на старинныхъ картинахъ: — посадитъ апостоловъ по одну сторону стола, Іуду — по другую. Одинъ лагерь будутъ тщетно стараться дать своей красотой моральное оправданіе другому. Вожаки, работающіе подъ великановъ революціи, въ душѣ себѣ цѣну знаютъ, но отъ своихъ балаганныхъ словъ пьянѣютъ и они сами. Ничего «дьявольскаго», ничего отъ «великаго инквизитора», отъ всей той бутафоріи, которую имъ подкидываютъ враги, у нихъ нѣтъ. Мелкій жуликъ прикидывается фанатикомъ, такъ какъ репутація фанатика чрезвычайно нравится жулику, да еще и полезна ему, ибо эта проклятая «дымка таинственности» дѣйствуетъ на воображеніе балаганной публики; недаромъ въ каждомъ чемпіонатѣ цирковой борьбы есть обязательно «Черная Маска»...

— Да, да! — говорила Муся со слезами въ голосѣ, съ восторгомъ и ужасомъ. Голова у нея кружилась все больше. Она уже не старалась вставлять свои замѣчанія.

Потомъ онъ говорилъ о томъ, что есть люди, стремящіеся къ абсолютному злу, какъ другіе стремятся къ абсолютному добру, и что этихъ жизнь обманываетъ такъ же, какъ и тѣхъ. Мудрые люди, ничего не найдя, придумали утѣшеніе себѣ и другимъ: главное-то счастье было, видите-ли, въ исканіи, въ святомъ исканіи. Но это просто глупо. Един-

ственный способъ не быть обманутымъ: не ждать ровно ничего, — а всего лучше уйти какъ только будутъ признаки, что пора, — уйти безъ всякой причины, просто потому, что гадко, скучно и надоѣло. «Примиреннымъ» ли уйдешь или «непримиреннымъ», это твое, никому не интересное, дѣло или, вѣрнѣе, это пустыя слова, такъ какъ мириться не съ кѣмъ и не въ чемъ, и не съ кѣмъ было ссориться, и некому «почтительно возвращать билетъ», — а было бы кому, то зачѣмъ же «почтительно»? почитать не за что. Если пришлось намъ увидѣть солнечный закатъ, лѣсъ, озера, прочесть Толстого и Декарта, услышать Шопена и Бетховена — и потомъ всего этого навсегда лишиться, — то мы не можемъ даже, въ маленькое утѣшеніе себѣ, назвать это злымъ, безнаказаннымъ издѣвательствомъ, ибо издѣвательства нѣтъ, и ничего нѣтъ, и «дьяволовъ водевиль» это тоже лишь метафора. Люди, на свое несчастье, постоянно принимаютъ метафору за дѣйствительность, а дѣйствительность за метафору. Балансы же подводить незачѣмъ, но отчего и не сказать, что самое волнующее изъ всего была политика, самое цѣнное, самое разумное — наука, а самое лучшее, конечно, — ирраціональное: музыка и любовь. Затѣмъ какъ-то неожиданно онъ перешелъ къ Мусѣ, и она, съ никогда еще не испытаннымъ ею стыдомъ, со страхомъ, съ жуткой радостью, признала, что говоритъ онъ о ней чистую правду, что онъ видитъ ее насквозь, со всѣми чертами ея тщеславія, съ ея безтолковой вѣчной игрой, съ сокровенными особенностями ея чувствъ, — въ нихъ она сама себѣ отчета не отдавала. Потомъ онъ еще что-то упомянулъ о какихъ-то орбитахъ, которыя могутъ и должны сойтись, — повидимому, онъ ужъ больше не старался быть особенно тонкимъ. «Орбиты — это значитъ отдаться

ему, тутъ, сейчасъ», — подумала еще Муся. — «Это вздоръ орбиты!» — сказала она, — «вотъ что, хотите, я вамъ сыграю»... — но на лицѣ его ясно выразилось, что онъ совершенно этого не хочетъ. — ...«Я сыграю вамъ вторую сонату Шопена»... — Лицо Брауна дернулось. — «Помните, я вамъ играла ее въ Петербургѣ. Но теперь я совершенно иначе играю ее»... Она встала, шатаясь. Онъ положилъ папиросу въ пепельницу. — «Я зимой слышала, какъ ее играетъ»... Она еще успѣла прошептать и «что съ вами!», и «оставьте меня!», и «нѣтъ, вы съ ума сошли!» — онъ все это принималъ, какъ должное, — какъ то, что ей и полагалось говорить. «Да, да... Вы глупенькая», — бормоталъ онъ.

Потомъ она плакала. Онъ сидѣлъ въ креслѣ съ безжизненнымъ лицомъ, ничего не говорилъ, и не слушалъ ее. Думалъ, что если она сейчасъ перейдетъ на ты и скажетъ: «любишь ли ты меня?», то ее надо бы тутъ же убить. Муся говорила, что никогда не была такъ счастлива, какъ сейчасъ, въ своемъ паденіи.

— Въ чемъ паденіе? — съ досадой спросилъ онъ и подумалъ, что слова «я пала» звучатъ у нея приблизительно такъ же неестественно, какъ какой-нибудь «Finis Poloniae» въ устахъ раненаго героя.

— Вы придете ко мнѣ завтра?

— Да, разумѣется... Или послѣзавтра... У меня завтра совершенно неотложныя дѣла, — добавилъ онъ поспѣшно. — Но я постараюсь отъ нихъ отдѣлаться.

— Какія дѣла? Какія у васъ вообще дѣла? Я все о васъ хочу знать, все! Всю вашу жизнь!

Онъ вздохнулъ и поцѣловалъ ей руку, повернувъ ее, для большей нѣжности, ладонью вверхъ.

— Я непремѣнно все вамъ разскажу, — сказалъ онъ. — Непремѣнно. Но не теперь.

XXVII.

Профессоръ Іонгманъ совершилъ большое путешествіе. Желая подготовить всемірный съѣздъ невидимыхъ, онъ сначала посѣтилъ германскія земли. Но тамъ дѣло не налаживалось. Въ Германіи лилась кровь и царило огорчавшее профессора зло. О съѣздѣ никто не говорилъ и не слушалъ. Иные братья, правда, соглашались, что слѣдовало бы какъ нибудь собраться и сообща обсудить разные волнующіе вопросы: о спасеніи міра отъ бѣдъ, о вращеніи солнца, о несерьезной и непристойной книгѣ «Химическая свадьба Христіана Розенкрейца» и о томъ, что должно предшествовать при изготовленіи философскаго камня — нигредо, альбедо или рубедо. Но говорили они это глядя въ сторону, вполголоса, вскользь и весьма неохотно. Профессоръ съ горькимъ чувствомъ убѣждался, что нѣмецкіе братья думаютъ больше о томъ, какъ уцѣлѣть, какъ не ввязаться въ бѣду, какъ прокормить себя, жену и дѣтей. Настоящей потребности въ съѣздѣ не было и у лучшихъ. Другіе же слышать не хотѣли о розенкрейцерахъ и даже начисто отрицали свою къ нимъ принадлежность: «никогда невидимымъ не былъ, а если куда-то какъ-то меня затащили, то вѣрно въ пьяномъ видѣ, и я давно объ этомъ и думать забылъ, да и время теперь другое». Въ Кельнѣ же одинъ изъ братьевъ, прежде весьма усердный, интересовавшійся наукой, особенно увлекавшій вопросомъ о превращеніи свинца въ золото, въ словахъ самыхъ непріятныхъ попросилъ профессора Іонгмана тотчасъ убраться по-добру по-здорову. Все это весьма огорчало профессора, хоть онъ и писалъ бодрыя письма братьямъ, которые остались вѣрны завѣтамъ невидимыхъ.

Весну онъ провелъ на водахъ, ибо чувствовалъ

себя усталымъ. Но не отдохнулъ и не успокоился духомъ. Случилось въ то время съ профессоромъ Іонгманомъ и непріятность: онъ вдругъ очень потолстѣлъ. Самъ было сначала не замѣчалъ, но шутливо сказалъ ему объ этомъ владѣлецъ дома, гдѣ онъ жилъ, старый его знакомый и доброжелатель. Какъ на бѣду, хозяинъ собиралъ старыя зеркала, стеклянныя, серебряныя, полированнаго камня, и они у него въ домѣ находились вездѣ: висѣли на стѣнахъ, стояли на высокихъ табуретахъ, и даже, по древнему обычаю, вдѣланы были въ блюда, чашки, бокалы. Профессоръ сталъ приглядываться: въ самомъ дѣлѣ, двойной подбородокъ! И съ той поры зеркала съ утра до ночи напоминали профессору Іонгману, что онъ обложился жиромъ, что появилось у него брюшко, что плѣшь стала самой настоящей лысиной. Ему казалось также, что молодыя женщины на него больше и не смотрятъ. Это было непріятно. Хоть занимался онъ главнымъ образомъ наукой, но иногда думалъ, что хорошо было бы родиться на свѣтъ Божій высокимъ, тонкимъ человѣкомъ, геркулесовой силы и съ огненнымъ взоромъ.

На водахъ застала профессора Іонгмана страшная вѣсть о гибели Магдебурга. Много зла принесла людямъ эта война, но такихъ ужасовъ еще никогда не было. Въ городѣ погибъ и Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслейнъ, одинъ изъ самыхъ лучшихъ людей и наиболѣе ревностныхъ розенкрейцеровъ, встрѣчавшихся въ жизни профессору. Пытался онъ навести справки, но долго не могъ ничего узнать. Лишь много позднѣе получилъ онъ отъ шведскихъ братьевъ сообщеніе: несчастный Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслейнъ дѣйствительно погибъ. Случайно удалось выяснить, что зарѣзалъ его драгунскій офицеръ Деверу; онъ же увелъ съ собой, обезчестивъ ее, племянницу Газенфусслейна

Эльзу-Анну-Марію; дальнѣйшая участь ея осталась неизвѣстной братьямъ; никто изъ нихъ этой дѣвушки не зналъ. Не зналъ ея и профессоръ Іонгманъ. Не одну ночь провелъ онъ безъ сна, думая о своемъ пріятелѣ, объ его еще болѣе злосчастной племянницѣ, и спрашивая себя, какъ допускаетъ Провидѣнье столь вопіющія дѣла.

Между тѣмъ военныя событія шли; шведскій король Густавъ-Адольфъ искалъ мщенья за Магдебургъ. Говорили, что война распространится по средней Европѣ. Профессору Іонгману нужно было побесѣдовать съ итальянскими розенкрейцерами; онъ сталъ понемногу продвигаться на югъ, останавливаясь, гдѣ слѣдовало остановиться въ интересахъ дѣла невидимыхъ. Ничего худого съ нимъ не случилось въ его долгомъ, опасномъ путешествіи.

Въ Римѣ профессоръ Іонгманъ оживился. Здѣсь было совершенно спокойно. Правилъ мудрый Урбанъ VIII, по счету 244-ый папа, человѣкъ характера властнаго и твердаго. Жизнь въ городѣ была легкая, радостная и праздная. Профессору казалось даже, что никто здѣсь ничего не дѣлаетъ и что всѣхъ кормитъ и поитъ веселое итальянское солнце, поставляя, точно безъ человѣческаго труда, и хлѣбъ, и вино, и фрукты, и масляныя ягоды и всѣ земные плоды.

Невидимые встрѣтили въ Римѣ профессора любезно и привѣтливо, совсѣмъ не такъ, какъ нѣмецкіе братья. Мысль о съѣздѣ они очень привѣтствовали, но находили, что лучше бы его отложить: съѣздъ не убѣжитъ, торопиться некуда, вотъ зимой пріѣдетъ братъ Контарини, тогда обо всемъ можно будетъ поговорить, какъ слѣдуетъ, а до того отчего же дорогому и знаменитому нидерландскому брату не пожить у нихъ въ Римѣ? Профессору Іогману казалось, что эти братья недостаточно

заняты серьезными розенкрейцерскими вопросами: правда, слушали они его какъ будто съ интересомъ, но трепетнаго волненія у нихъ не было, а безъ душевнаго жара ничто цѣнное создано быть не можетъ. Немного страннымъ ему казалось ихъ отношеніе къ съѣзду: какъ можно ждать чуть не цѣлый годъ пріѣзда брата Контарини! Однако онъ оцѣнилъ чарующую любезность римскихъ братьевъ. Вышло такъ, что послѣ первой встрѣчи разговаривалъ онъ съ ними больше о постороннихъ предметахъ, чаще всего о предметахъ второстепенныхъ и легковѣсныхъ.

Говорили впрочемъ и о политикѣ. Римскіе невидимые ворчали: народъ коснѣетъ въ невѣжествѣ и въ предразсудкахъ, семья Барберини забрала слишкомъ много силы, найдутся вѣдь семьи и не хуже, а папа сталъ такъ гордъ, что и подступиться къ нему нельзя — una salda tenacità dei propri pensieri! Кромѣ того ужъ очень онъ тянетъ къ Франціи; кончится это дѣло еще, чего добраго, войной съ императоромъ. И хоть отчего же съ проклятыми нѣмцами при случаѣ и не повоевать, все-таки политика эта неосторожная. Говорятъ вѣдь, что герцогъ Фридландскій давно совѣтовалъ императору двинуться походомъ на Римъ: цѣлое столѣтіе не бралъ Рима приступомъ непріятель и будетъ, молъ, чѣмъ поживиться, — Валленштейнъ же ни въ Бога, ни въ чорта не вѣритъ; по слухамъ, предлагалъ онъ оттянуть отъ Польши казаковъ и двинуть въ Италію это дикое, воинственное, свирѣпое племя.

Слухи такіе дѣйствительно упорно ходили въ Германіи. Но въ Римѣ профессору казалось, что никакой войны здѣсь не будетъ, никакіе казаки не придутъ, а если и придутъ, то Римъ поладитъ и съ казаками, ибо и на нихъ хватитъ того, что безплатно даетъ итальянское солнце — самое свирѣпое племя, вѣрно, здѣсь повеселѣетъ и станетъ мирнымъ.

Ничто въ Римѣ измѣниться не можетъ, теперь правитъ 244-ый папа, а будетъ и 1244-ый.

Понемногу стали мѣняться и намѣренья профессора Іонгмана. Первоначально онъ предполагалъ пробыть въ Италіи мѣсяца три, не болѣе, — желалъ обсудить съ невидимыми планъ съѣзда, узнать, что дѣлается въ разныхъ частяхъ міра, — нигдѣ этого не знали лучше, чѣмъ въ Ватиканѣ, — а затѣмъ отправиться въ другія земли. Но теперь думалъ онъ, что уѣзжать ему некуда и незачѣмъ. Съѣздъ очевидно надо было отложить. А жизнь здѣсь была необыкновенно пріятная. Профессоръ Іонгманъ самъ этому удивлялся: вѣдь свободы нѣтъ и народъ коснѣетъ въ невѣжествѣ. Но уѣзжать отъ веселаго солнца ему не хотѣлось, и пробылъ онъ въ Римѣ полтора года.

Какъ-то ученые люди показали ему Галилеевы стекла, при помощи которыхъ сдѣлалъ столько открытій престарѣлый философъ герцога Тосканскаго. Чудо науки привело профессора въ восторгъ. И тотчасъ у него всплыла мысль о давнемъ научномъ изслѣдованіи: учась въ молодости въ Германіи (мать его была нѣмка), онъ много занимался вопросомъ о томъ, какого пола звѣзды; теперь можно было довести это изслѣдованіе до конца, пользуясь для наблюденій великимъ изобрѣтеніемъ Галилея. Мысль эта увлекла профессора. Къ лѣту 1633 года онъ перебрался въ Тиволи, пилъ цѣлебную воду, отъ которой спадалъ жиръ и возвращались волосы, а все свободное время посвящалъ научнымъ изысканіямъ.

Работа его подвигалась успѣшно: Галилеевы стекла очень ему помогли. Выяснилось, что большинство звѣздъ — женскаго пола. Съ увлеченіемъ читалъ профессоръ вышедшій незадолго до того трудъ мудраго философа: «Dialogo intorno ai due massimi sistemi del mondo» и, хоть трудно было ему

рѣшить, кто именно правъ: Сагредо или Симплиціо, онъ все больше склонялся къ мысли, что, вѣрно, правъ Сагредо и, какъ это ни странно, земля вращается вокругъ солнца: очень бойко отвѣчали Сагредо и его другъ Сальвіати на всѣ доводы Симплиціо, и такое имя было дано стороннику вращенія солнца вокругъ земли, что даже неловко было бы соглашаться съ нимъ. Для выясненія же пола звѣздъ Галилеевъ діалогъ далъ профессору немного; однако кое-какія мысли онъ изъ діалога использовалъ.

Ученый трудъ его былъ почти законченъ, когда пришло грустное извѣстіе: созданная въ Римѣ чрезвычайная комиссія признала еретическими взгляды Галилея, философъ долженъ былъ колѣнопреклоненно отречься отъ своей ереси. Извѣстіе это очень потрясло профессора Іонгмана. Онъ увидѣлъ въ случившемся тяжкое оскорбленіе для ума и достоинства человѣка. Вдобавокъ, при такомъ фанатизмѣ властей, легко могла быть признана опасной его собственная работа о полѣ звѣздъ. Тиволи вдругъ пересталъ нравиться профессору: слишкомъ много тутъ развалинъ, и не такъ ужъ хороша вилла кардинала д'Эсте, и немало есть въ природѣ зрѣлищъ прекраснѣе водопадовъ Тевероне. Воды же рѣки этой упорно отражали его фигуру. Веселое солнце больше не радовало профессора Іонгмана. При видѣ забытыхъ могилъ людей, прожившихъ жизнь шумную и славную, приходили ему въ голову тѣ мысли о бренности человѣческаго существованія, которыя всегда приходятъ въ подобныхъ случаяхъ. Зачѣмъ такъ устроенъ міръ, что разваливается и самъ человѣкъ, и каменныя дѣла его, и исчезаетъ о немъ память? Одна надежда, что какой-либо не родившійся еще розенкрейцеръ великаго ума въ самомъ дѣлѣ составитъ элексиръ жизни. Но удастся ли тогда воскресить уже умершихъ людей?

И думая обо всѣхъ этихъ важныхъ предметахъ, профессоръ Іонгманъ рѣшилъ, что теперь, закончивъ свой ученый трудъ, онъ долженъ усердно заняться розенкрейцерской работой: съѣздъ совершенно необходимъ, а созвать его можно будетъ только въ свободныхъ Нидерландахъ. Съ умиленіемъ и гордостью вспоминалъ профессоръ свою родину, гдѣ можно мыслить и печатать ученые труды спокойно, подъ защитой мощныхъ бастіоновъ Амстердама.

Онъ простился въ Римѣ съ друзьями. Къ его скорби, они отнеслись къ осужденію Галилея почти равнодушно, — для вида ворчали и бранили правительство, но тотчасъ переходили къ другимъ, легкомысленнымъ дѣламъ. Нѣкоторые, повидимому, и не знали объ осужденіи или на слѣдующій день о немъ позабыли. Коснѣвшій же въ невѣжествѣ народъ не слыхалъ и имени мудраго философа. Впрочемъ, римскіе невидимые соглашались съ профессоромъ Іонгманомъ въ томъ, что такъ оставить дѣло нельзя: нужно созвать съѣздъ, вотъ только пріѣдетъ братъ Контарини. На прощанье въ честь профессора устроили большой обѣдъ, пили за его здоровье мускатное вино съ Везувія, названное именемъ языческимъ, и въ самыхъ лестныхъ рѣчахъ желали успѣха его ученому труду, — предмета же этого труда профессоръ Іонгманъ римскимъ невидимымъ не сообщилъ.

Затѣмъ профессоръ выѣхалъ въ Парижъ для дальнѣйшей работы по созыву съѣзда. Но къ глубокому его изумленію, въ Парижѣ ни одного невидимаго не оказалось. Люди, которые, по его свѣдѣніямъ, были розенкрейцерами, рѣшительно ничего не понимали, когда онъ обращался къ нимъ съ условными словами. Онъ показывалъ золотую розу на синей лентѣ, они съ любопытствомъ ее разсматривали, но видимо совершенно не знали, что это та-

кое и зачѣмъ имъ это показываютъ. Такъ ни разу онъ и не услышалъ: «Ave Frater». Когда же въ обществѣ, гдѣ, по его мнѣнію, должны были находиться невидимые, профессоръ осторожно заводилъ рѣчь о таинственномъ братствѣ, всѣ весело хохотали: никакихъ невидимыхъ на свѣтѣ нѣтъ, это ерунда, скорѣе же всего выдумываютъ такія басни, для своихъ цѣлей, изувѣры и мошенники изъ La Cabale, — общество, такъ именовавшееся, пріобрѣтало все большую силу и не было мѣры злу, которое имъ творилось. Не нашелъ въ Парижѣ профессоръ Іонгманъ и должнаго вниманія къ своему ученому труду. Услышавъ о женскомъ полѣ звѣздъ, одни ученые умолкали и поспѣшно отходили, другіе трепали профессора по плечу, а то и по животу, и съ игривой улыбкой говорили слова, которыя онъ понималъ плохо, ибо не владѣлъ всѣми тонкостями французскаго языка.

Здѣсь же узналъ профессоръ, что какіе-то темные люди убили въ Эгерѣ герцога Фридландскаго. Много воды утекло со времени Регенсбургскаго сейма; невидимые больше не возлагали особыхъ надеждъ на Валленштейна. Все-же со скорбью принялъ профессоръ это извѣстіе, ибо трудно человѣку разстаться со старыми надеждами. Въ Парижѣ объ убійствѣ герцога говорили очень много, но путали все чрезвычайно. Фамилію же Валленштейна не могъ ни правильно выговорить, ни правильно написать и самъ кардиналъ Ришелье.

Не подвинувъ дѣла во Франціи, профессоръ Іонгманъ вернулся на родину. Въ Соединенныхъ провинціяхъ онъ опять воспрянулъ духомъ. Подышалъ роднымъ воздухомъ, повидалъ старыхъ друзей, говорилъ свободно, что хотѣлъ и о чемъ хотѣлъ, — одно было непріятно: всѣ изумлялись его полнотѣ. Сдѣлалъ онъ, разумѣется, и докладъ у невидимыхъ. Какъ вождь и наставникъ опытный,

профессоръ предостерегалъ братьевъ отъ унынія: говорилъ имъ, что положеніе въ мірѣ тяжелое, но для потери надеждъ нѣтъ никакихъ основаній: свѣтъ науки и благородная работа розенкрейцеровъ преодолѣютъ всѣ бѣды, косность, невѣжество и предразсудки.

Докладъ профессора Іонгмана вызвалъ у невидимыхъ большое вниманіе. Рѣшено было еще усилить работу и попытаться привлечь въ братство новыхъ полезныхъ и достойныхъ уваженія людей. Тутъ же распредѣлили, кому съ кѣмъ поговорить. Кто-то не безъ робости предложилъ: что, если снова побесѣдовать съ Декартомъ? Обсудили и признали, что надежды мало, но отчего бы въ самомъ дѣлѣ не попробовать? Къ общему удовлетворенію, попытку эту согласился сдѣлать самъ профессоръ Іонгманъ. Онъ сказалъ, что на дняхъ встрѣтилъ Декарта въ печатной мастерской, — «тамъ набирается мой новый трудъ», — застѣнчиво вставилъ онъ, всѣ одобрительно кивали головами, — «и Картезій звалъ меня погостить у него въ замкѣ»...

Декартъ лѣтомъ 1634 года снималъ замокъ, расположенный часахъ въ четырехъ ѣзды отъ Амстердама. Профессоръ Іонгманъ выѣхалъ утромъ съ разсчетомъ, чтобы, не очень торопясь, попасть къ обѣду. Для поѣздки онъ нанялъ телѣжку безъ кучера, — любилъ править лошадьми. Въ другой странѣ непремѣнно потребовали бы залога за экипажъ; здѣсь владѣльцу это и въ голову не пришло, хоть онъ не зналъ профессора Іонгмана. По дорогѣ профессоръ съ гордостью думалъ, что живетъ въ честнѣйшей странѣ. Еще пріятнѣе было то, что путешествовать можно было совершенно безопасно. Въ Германіи разбойники хозяйничали на милѣ разстоянія отъ большихъ городовъ. Безпокойно было и на французскихъ дорогахъ. Только

въ римской землѣ былъ порядокъ. И профессоръ въ пути удивлялся: разный строй даетъ одни результаты, — подъ властью папы Урбана VIII такое же спокойствіе, какъ въ свободныхъ Нидерландахъ.

Большая часть дороги уже была позади. Но попался уютный постоялый дворъ, въ сторонѣ отъ пыльной дороги. Сбоку отъ домика былъ маленькій садъ, въ немъ стояли два стола, съ чистенькими клѣтчатыми скатертями. Профессоръ остановился, отдалъ слугѣ лошадь и бросилъ бутылку пива.

Къ постоялому двору подъѣхала богатая коляска. Изъ нея вышли господинъ съ дамой, одѣтые весьма нарядно, не по дорожному. Дама была совсѣмъ молода и очень хороша собой. Они сѣли за сосѣдній столъ. Профессоръ Іонгманъ оглядѣлъ ихъ незамѣтно, точно смотрѣлъ мимо стола на крыльцо: зналъ свѣтскія правила и нескромнымъ никогда не былъ. Дамой онъ полюбовался, ибо любилъ красивыя женскія лица. Спутникъ же дамы, суроваго вида человѣкъ, въ синемъ атласномъ плащѣ, при шпагѣ и кинжалѣ, не понравился профессору Іонгману. Лицо этого человѣка показалось ему знакомымъ, но профессоръ не могъ вспомнить, кто такой: по всему видно, военный. Знакомыхъ же военныхъ было у профессора Іонгмана не много.

Такъ какъ коляска была очень богатая, то къ новымъ гостямъ, кромѣ слуги, вышла и сама хозяйка постоялаго двора. Однако объясниться съ нею гости не могли, они были иностранцы. Господинъ въ синемъ плащѣ заговорилъ сначала по французски, — видимо для важности, потому что говорилъ онъ на этомъ языкѣ плохо, — затѣмъ перешелъ на нѣмецкій языкъ; по нѣмецки заговорила и дама. Но хозяйка ни одного иностраннаго языка не знала и безпомощно оглянулась на профессора. Военный человѣкъ, видимо, начиналъ сердиться: что за по-

стоялый дворъ! Профессоръ предложилъ свою помощь. Господинъ привсталъ и съ легкимъ поклономъ сдѣлалъ жестъ рукою. Заказалъ онъ цѣлый обѣдъ, при чемъ о цѣнахъ не спрашивалъ, и потребовалъ самаго лучшаго французскаго вина. Хозяйка почтительно доложила, что у нея есть красное горное вино изъ Шампани, и бѣлое сладкое, и то, и другое очень хорошія. Ѣда же есть всякая: можно зарѣзать и курицу, если гости согласятся немного подождать? Оказалось, что гости не спѣшатъ. Дама все ахала и восторгалась: «Горное французское вино? Ахъ, какъ хорошо! Яичница? Ветчина съ грибами? Курица? Ея любимыя блюда! И какой милый садикъ!..» Говорила она безъ умолку, глядя нѣжно-восторженно на своего спутника. Профессоръ съ легкой грустью догадался, что это молодожены: хоть занятъ онъ былъ высшими интересами науки и розенкрейцерскихъ дѣлъ, все чаще сожалѣлъ, что не женился въ ту пору, когда еще не было у него двойного подбородка и были волосы не хуже чѣмъ у молодыхъ людей.

Гостямъ принесли вино. Военный человѣкъ опять привсталъ, прикоснулся къ стакану акульимъ зубомъ (чего въ Нидерландахъ никогда не дѣлали) и предложилъ профессору выпить съ ними. Профессоръ Іонгманъ вѣжливо поблагодарилъ и, чтобъ не остаться въ долгу, велѣлъ принести три рюмки настоенной на травахъ голландской водки. Господинъ въ синемъ плащѣ видимо не прочь былъ поболтать. Тутъ же разсказалъ, что онъ офицеръ имперской арміи, родомъ ирландецъ и ѣдетъ на побывку къ себѣ на родину, послѣ чего вернется въ Вѣну, гдѣ ему обѣщанъ императоромъ полкъ. Профессоръ сказалъ «Oh!» съ почтительной интонаціей, относившейся къ имени императора и къ высокому служебному положенію собесѣдника. Но въ душѣ, — хоть былъ вообще довѣрчивъ и плохо

понималъ, зачѣмъ люди лгутъ, когда гораздо проще и легче говорить правду, — немного усомнился, дѣйствительно ли ирландецъ имѣетъ чинъ полковника: по возрасту это было вполнѣ возможно, однако въ обликѣ ирландца было что-то грубое, неотесанное, — можно ли въ имперской арміи получить полковничій чинъ, не имѣя должнаго воспитанія?

Видъ ветчины съ грибами пробудилъ аппетитъ у профессора Іонгмана. Онъ не зналъ въ точности, когда именно обѣдаетъ Декартъ, — да еще кто его знаетъ, какъ онъ угощаетъ гостей? Профессоръ велѣлъ хозяйкѣ принести другую порцію ветчины. Полковникъ ѣлъ и пилъ очень много и жадно. Голландская водка ему понравилась, но заказывать по рюмкѣ было скучно: онъ велѣлъ подать цѣлый графинъ и опорожнилъ его такъ быстро, что профессоръ Іонгманъ только дивился, — эти военные люди! Дама тоже пила недурно, раскраснѣлась и весело хохотала при шуткахъ Вальтера (такъ звала полковника): а когда въ словахъ его ничего шутливаго не было, приглашала профессора оцѣнить ихъ справедливость, — была, видимо, чрезвычайно влюблена въ мужа. Замѣтивъ, что профессоръ смотритъ на ея колечко съ изумрудомъ, сняла его съ пальца и сообщила, что это подарокъ Вальтера: онъ въ концѣ зимы получилъ большія деньги...

— Много ты врешь! — сказалъ пьянымъ голосомъ ирландецъ. — Помолчала бы, а то смотри!.. Помнишь, что было въ среду?

Дама смущенно-весело засмѣялась. Полковникъ пояснилъ профессору, что держитъ жену строго: слишкомъ ее избаловали въ дѣтствѣ. Профессоръ Іонгманъ сочувственно спросилъ даму, откуда она родомъ. Узнавъ, что изъ Магдебурга, тяжело вздохнулъ. У него, сказалъ онъ, былъ въ этомъ городѣ пріятель, но погибъ при тѣхъ ужасныхъ со-

бытіяхъ... Профессоръ хотѣлъ было узнать, не слыхали ли его собесѣдники о Газенфуслейнѣ. Но не успѣлъ назвать имени своего пріятеля: жена полковника поблѣднѣла и перевела разговоръ на другой предметъ.

Такъ они побесѣдовали еще съ полчаса. Профессоръ съ интересомъ разспрашивалъ ирландца о послѣднихъ событіяхъ въ германскихъ земляхъ: полезно было поговорить съ человѣкомъ, который прямо оттуда прибылъ. Полковникъ видѣлъ немало, но разсказывалъ пристрастно, точно совершенно забывъ, что находится онъ все-таки въ странѣ лютеранской. Такъ на вопросъ профессора, кто, по его мнѣнію, побѣдитъ, католики или лютеране, расхохотался и сказалъ, что тутъ и спрашивать нечего: разумѣется, побѣдятъ католики. Это замѣчаніе и особенно грубый смѣхъ полковника не понравились профессору Іонгману. Онъ замѣтилъ, что у нихъ, въ Соединенныхъ провинціяхъ, военные люди думаютъ иначе. Правда, великаго Густава-Адольфа больше нѣтъ въ живыхъ, но вѣдь и у императора нѣтъ другого Валленштейна. Жена полковника снова измѣнилась въ лицѣ. Полковникъ же расхохотался еще громче и заявилъ, что проклятый Валленштейнъ былъ измѣнникъ: онъ предался шведамъ, но, къ счастью, Господь Богъ покаралъ его вотъ этой рукою. При этихъ словахъ онъ, впрочемъ безъ всякой злобы, показалъ огромный и страшный кулакъ, почему-то засучивъ рукавъ шелковаго кафтана.

Профессоръ Іонгманъ остолбенѣлъ: не могъ понять, что это такое, — если шутка, то какая глупая, если же правда... — но профессоръ и позднѣе не могъ рѣшить, что онъ долженъ былъ сдѣлать, если правда: не звать же было полицію для ареста человѣка, который называлъ себя убійцей герцога Фридландскаго.

Къ общему облегченію, въ эту минуту къ столу подошла хозяйка постоялаго двора. Она съ улыбкой попросила профессора Іонгмана перевести господину и дамѣ ея почтительную просьбу: ей было бы очень пріятно, если бъ они согласились расписаться въ книгѣ для почетныхъ гостей, съ давнихъ поръ существующей въ ея домѣ. Профессоръ такъ былъ радъ концу непріятной бесѣды, что и не почувствовалъ обиды: расписаться хозяйка просила лишь полковника съ женой, о немъ же ничего не было сказано. Онъ перевелъ просьбу хозяйки, обращаясь, въ знакъ протеста, преимущественно къ женѣ полковника. Ирландецъ, видимо, былъ польщенъ: тотчасъ согласился и, въ сопровожденіи хозяйки, направился къ дому.

Жена проводила его счастливымъ взглядомъ. Затѣмъ объяснила профессору, что Вальтеръ, конечно, немного вспыльчивъ, но самый милый человѣкъ на свѣтѣ. Грѣхи найдутся у всякаго воина, — горячо сказала она, — на то они воины и мужчины. Сердце же у Вальтера золотое, и начальство очень его цѣнитъ. Вотъ и теперь въ Вѣнѣ онъ получилъ награду за службу, такъ что они стали богатые люди. Вальтеръ хочетъ купить имѣніе въ Ирландіи, чтобы обезпечить себѣ покойную старость. Но она рѣшительно противъ этого: до старости имъ еще очень далеко. Сейчасъ, правда, въ Германіи не спокойно, но не всегда же это будетъ такъ; зато все продается очень дешево. А въ Богеміи, гдѣ конфискованы земли разныхъ измѣнниковъ, можно купить отличнѣйшее имѣніе совсѣмъ за безцѣнокъ, и хоть чеховъ она не очень любитъ, все же это не такъ далеко, какъ Ирландія. Вальтеръ все равно пока долженъ служить, ему и отпускъ данъ только на три мѣсяца, гораздо было бы лучше на время отпуска уѣхать въ Парижъ, гдѣ, всѣ говорятъ, такъ весело, правда? Она, впрочемъ, надѣется убѣдить

Вальтера на обратномъ пути побывать во Франціи, тамъ можно будетъ заказать и платья. Правда, платья и въ Вѣнѣ хороши, она кое-что купила, но въ Парижѣ они еще лучше. А Вальтеръ, хоть иногда и горячъ, въ концѣ концовъ всегда ей уступаетъ: такого любящаго вѣрнаго мужа нѣтъ, и это теперь надо особенно цѣнить, и немало денегъ онъ истратилъ на подарки ей изъ тѣхъ сорока тысячъ, что они недавно получили... Тутъ жена полковника смутилась: ей не велѣно было говорить о сорока тысячахъ.

Профессоръ Іонгманъ угрюмо мычалъ. Очевидно, сомнѣваться не приходилось: онъ только что дружелюбно пилъ вино съ убійцей Альбрехта Валленштейна. Убійца же, ясное дѣло, ни малѣйшихъ угрызеній совѣсти не испытывалъ; былъ веселъ, спокоенъ, счастливъ. И странныя мысли встревожили душу профессора. За ними не разслышалъ онъ вопроса дамы. Ей хотѣлось знать, къ какому ювелиру въ Амстердамѣ обратиться: Вальтеръ въ свое время подарилъ ей одну золотую штучку, теперь въ Вѣнѣ онъ купилъ еще три отличныхъ большихъ бриллiанта: хорошо было бы ими украсить первый подарокъ Вальтера. А то безъ драгоцѣнныхъ камней роза не имѣетъ должнаго вида, не правда ли? Съ этими словами достала она изъ сумки золотую розу на синей лентѣ. Свѣтъ погасъ въ глазахъ профессора Іонгмана: передъ нимъ была священная эмблема невидимыхъ! И въ ту же минуту онъ съ ужасомъ вспомнилъ: этого убійцу онъ видѣлъ когда-то въ Регенсбургѣ, въ домѣ почтеннаго врача Майера!

Профессоръ Іонгманъ побагровѣлъ. Выпучивъ глаза, онъ съ минуту въ упоръ глядѣлъ на удивленную даму, всталъ, снова сѣлъ, затѣмъ сорвался съ мѣста и, мимо возвращавшагося къ столу полковника, почти бѣгомъ прошелъ въ домъ. Потребо-

вавъ счетъ, онъ заглянулъ въ лежавшую на столѣ открытую книгу почетныхъ гостей. Тамъ по нѣмецки было написано: «Вальтеръ Деверу, полковникъ службы Его Императорскаго Величества, съ женой Эльзой-Анной-Маріей».

Лакей съ изумленіемъ и безпокойствомъ смотрѣлъ на профессора Іонгмана, пока тотъ расплачивался по счету. Профессоръ былъ смертельно блѣденъ, руки его дрожали. Съ ужасомъ оглянувшись въ сторону сада, онъ поспѣшно сѣлъ въ свою телѣжку и, расправивъ вожжи, сильно хлестнулъ кнутомъ по лошади, чего никогда не дѣлалъ, ибо былъ очень добръ и въ отношеніи животныхъ.

XXVIII.

Елена Федоровна вполголоса что-то разсказывала Нещеретову. Видъ у нея былъ оживленно-радостный, не очень шедшій къ дому, въ которомъ недавно произошло несчастье. Впрочемъ, хозяевъ въ гостиной не было. Нещеретовъ молча, хмурымъ взглядомъ, смотрѣлъ на баронессу. «Да вотъ они въ Петербургѣ были въ близкихъ отношеніяхъ. Мама до сихъ поръ въ душѣ не можетъ ей простить, что она его у меня отбила», — подумала, входя, Муся. — «Были близки, а теперь просто разговариваютъ, какъ добрые знакомые, и ничего. У этихъ все просто: сошлись, разошлись»...

Елена Федоровна здороваясь, подозрительно на нее взглянула. Нещеретовъ поцѣловала руку. Онъ то цѣловалъ при встрѣчахъ руку Мусѣ, то не цѣловалъ. «Сегодня милостивъ... Что-то нужно у нихъ спросить»... — Муся будто все не могла понять, почему она здѣсь, у чужихъ людей, а онъ гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ. — «Ахъ, да, Жюльеттъ»...

— Какъ сегодня? — негромко спросила она. Несмотря на выздоровленіе Жюльеттъ, въ квартирѣ Георгеску еще разговаривали вполголоса и ходили на цыпочкахъ.

— Слава Богу! Дай Богъ всякому! — саркастически сказала баронесса.

Нещеретовъ на нее покосился. Къ удивленію Муси, онъ принялъ близкое участіе въ горѣ этой румынской семьи, съ которой его связывали лишь дѣловыя отношенія, да и то не очень хорошія (Муся слышала о какихъ-то денежныхъ непріятностяхъ между ними и Леони). Аркадій Николаевичъ навѣщалъ Георгеску раза два-три въ недѣлю и часто привозилъ больной цвѣты. Къ Жюльеттъ еще никого не пускали.

— Температура 36,7, — сказалъ онъ Мусѣ.

— Не во рту, — пояснила Елена Федоровна. — Ерунда! Зачѣмъ только изводятъ на него деньги? — добавила она, показывая пренебрежительнымъ кивкомъ на сосѣднюю комнату, откуда доносился негромкій разговоръ. Муся сообразила, что тамъ Леони совѣщается съ врачемъ.

— Сказалъ: везти барышню на югъ, — пояснилъ Нещеретовъ съ легкимъ вздохомъ.

— На югъ, — автоматически повторила Муся. Елена Федоровна опять бросила на нее подозрительный взглядъ. «Что онъ сказалъ? Да, Жюльеттъ везутъ на югъ. Бѣдная дѣвочка! Но мнѣ все равно. Люди, кромѣ него, больше для меня не существуютъ. Князь убитъ, быть можетъ, я никогда не увижу Витю, Сонечку, Григорія Ивановича, и, хоть это стыдно, но мнѣ совершенно все равно!..» — Почему же именно на югъ?

— Если-бъ велѣли на сѣверъ, вы спросили бы, моя милая, почему именно на сѣверъ, — сказала баронесса и засмѣялась, оглянувшись на Аркадія Николаевича. Онъ не улыбнулся и сталъ подробно объяснять Мусѣ, почему Жюльеттъ везутъ на Ривьеру. Муся вспомнила, что Нещеретовъ и самъ больной человѣкъ. «Этимъ, вѣрно, и объясняется его участіе: масонство больныхъ людей... Онъ сказалъ: «Я получилъ первое предупрежденіе»... Что же это значитъ? Нѣтъ, не надо думать объ этомъ. Она смотритъ на меня... Лишь бы не догадалась. Впрочемъ, не все ли равно. Она опасная женщина и почему-то опять меня ненавидитъ. Но повредить мнѣ у него она не можетъ никакъ. Онъ просто не замѣчаетъ такихъ людей, какъ она. Почему онъ замѣтилъ меня? Онъ меня любитъ! Въ самомъ дѣлѣ, какъ бѣденъ нашъ языкъ! Вѣдь о Витѣ я сказала бы то же самое. Онъ и сказалъ: «кажется, вы смѣшиваете меня съ Витей». Витя пропалъ, но что-

жъ я буду отъ себя скрывать? Да, мнѣ это безразлично и то, что будетъ съ мамой, съ Вивіаномъ, со всѣми. Вся моя жизнь была до сихъ поръ сплошное недоразумѣніе... Онъ все-таки не могъ не чувствовать, что это «или послѣзавтра» оскорбительно... Но пусть дѣлаетъ со мной, что хочетъ!..» — Муся перевела дыханье. — «Надо говорить съ ними. О чемъ?..»

— Какъ же вашъ кинематографъ, Аркадій Николаевичъ?

— Ничего. Жаловаться грѣхъ, — кратко отвѣтилъ Нещеретовъ.

Жаловаться въ самомъ дѣлѣ никакъ не приходилось. Фильмъ, придуманный донъ-Педро и осуществленный съ необыкновенной быстротой, имѣлъ огромный успѣхъ. Въ кинематографическихъ кругахъ объ Альфредѣ Исаевичѣ теперь говорили, какъ о человѣкѣ геніальномъ. Какіе-то люди пріѣзжали къ нему изъ разныхъ странъ, почтительно вели съ нимъ переговоры, просили его о совѣтѣ. Онъ снисходительно-любезно говорилъ съ ними, въ совѣтахъ никому не отказывалъ, а кое-съ-кѣмъ велъ секретные переговоры о новыхъ своихъ замыслахъ, вскользь разъясняя, что по сравненію съ ними его первый фильмъ — ничего, такъ, проба пера. Впечатлѣніе отъ новыхъ замысловъ было сильнѣйшее. Альфредъ Исаевичъ получилъ изъ Соединенныхъ Штатовъ нѣсколько блестящихъ предложеній, уже могъ считаться состоятельнымъ человѣкомъ и несомнѣнно находился на пути къ настоящему богатству. За обѣдомъ, выпивъ рюмку водки, донъ-Педро теперь долго говорилъ о себѣ, сообщалъ разныя свѣдѣнія изъ своей біографіи и неизмѣнно возвращался къ ней, къ своимъ планамъ, когда его собесѣдники съ раздраженіемъ переводили разговоръ на другой предметъ; онъ переживалъ карьерную молодость. Планы у него по-

стоянно мѣнялись, но всѣ отличались грандіознымъ размахомъ. Альфредъ Исаевичъ собирался съѣздить въ Америку для переговоровъ съ милліардерами, — милліонеры его больше не интересовали, — онъ сокрушался, что все еще не знаетъ ни Ротшильдовъ, ни Шиффа, — какъ Коперникъ на смертномъ одрѣ выражалъ скорбь, что не пришлось ему увидѣть Меркурій. Нещеретовъ все не могъ прійти въ себя отъ изумленія: такъ ему было трудно привыкнуть къ мысли, что донъ-Педро оказался геніальнымъ человѣкомъ. Однако результаты были налицо. Иногда, слушая разговоры Альфреда Исаевича съ дѣловыми людьми, Нещеретовъ и самъ ловилъ себя на мысли: «А кто-жъ его знаетъ: можетъ быть, и вправду въ этомъ газетчикѣ что-то есть?»

На его собственную долю отъ успѣха дѣла выпадали гроши или, по крайней мѣрѣ, суммы, казавшіяся ему грошами. Онъ понималъ, что въ свои новыя предпріятія донъ-Педро его не позоветъ, развѣ на какую-нибудь третьестепенную роль. Другія же дѣла Нещеретова, начатыя имъ на вывезенныя изъ Россіи деньги, кончились плачевно: онъ все потерялъ. Это было, по его мнѣнію, естественно: наживать деньги легче всего если не имѣть въ нихъ нужды. Были у него и долги, особенно его угнетавшіе. Нещеретовъ отлично зналъ, что въ пору войны, когда только начинало теряться реальное представленіе о деньгахъ и о богатствѣ, въ калифорнизирующемся Петербургѣ 1916 года, люди, которыхъ молва называла несмѣтными богачами, были кругомъ въ долгу, — дѣла ихъ были совершенно запутаны. Если-бъ не большевистская революція, они такъ же легко могли очутиться на скамьѣ подсудимыхъ, какъ стать богачами и въ самомъ дѣлѣ, — нѣкоторымъ большевики прямо оказали услугу, утопивъ ихъ неизбѣжный крахъ въ общенаціональной катастрофѣ. Но тогда все искупалось огромны-

ми цифрами. Нещеретовъ въ концѣ 1916 года исчислялъ свои долги въ 60 милліоновъ рублей, а активъ приблизительно въ 100 милліоновъ. Правда, въ случаѣ того, что на дѣловомъ языкѣ называлось неудачной конъюнктурой, отношеніе актива и пассива могло оказаться обратнымъ; однако въ 1916 году немногіе въ Петербургѣ думали о неудачной конъюнктурѣ. Какъ бы то ни было, счетъ велся на десятки, если не на сотни, милліоновъ. Теперь Нещеретову приходилось брать взаймы, съ поручительствомъ, по 15-20 тысячъ франковъ; и для уплаты въ срокъ по этимъ неприличнымъ векселямъ надо было напрягать изобрѣтательность. Онъ чувствовалъ, что теперь только волосокъ отдѣляетъ его отъ зачисленія въ разрядъ мелкихъ биржевыхъ дѣльцовъ. Многіе какъ будто ужъ и не вѣрили, что въ Россіи онъ ворочалъ десятками милліоновъ. Да и всѣ вообще смотрѣли на него, какъ на человѣка, состоящаго при Альфредѣ Исаевичѣ. Такъ, Шумана, который былъ женатъ на популярной піанисткѣ, ея невѣжественные поклонники иногда снисходительно спрашивали, интересуется ли онъ т о ж е музыкой.

Въ первые мѣсяцы послѣ бѣгства Нещеретова изъ Россіи, разные знакомые, подъ предлогомъ политическаго разговора, старались узнать его мнѣніе: какія бы цѣнности купить, время ли продавать тѣ или иныя акціи, стоитъ ли начинать заграницей дѣла. Въ былыя времена онъ находилъ, что разспрашивать его о такихъ предметахъ неприлично, какъ неприлично въ гостиной, при случайной встрѣчѣ съ знаменитымъ врачемъ, стараться получить у него указанія о леченьи: на то есть консультаціи за плату въ пріемные часы. Но заграницей это льстило Нещеретову, и онъ никому въ совѣтахъ не отказывалъ. Теперь его мнѣніемъ, повидимому, никто больше и не интересовался. «Если вернутся

деньги, всѣ опять бросятся ко мнѣ въ переднюю и будутъ лебезить, ни для чего, просто такъ, потому милліонеръ; да, всѣ, даже тѣ, которые считаются чистенькими. А если чистенькимъ швырнуть кушъ на ихъ общественныя дѣла, то они и спрашивать не будутъ, откуда деньги, какія деньги, хоть бы я большевикамъ продался, даютъ, ну и бери», — думалъ онъ иногда со злобной радостью. Но порою приходили ему и другія мысли: не стоило отдавать деньгамъ всю жизнь, и не было ни геніальности, ни даже простой заслуги въ созданіи богатства, — вотъ вѣдь теперь, въ болѣе трудныхъ условіяхъ, чѣмъ въ Россіи, онъ все потерялъ, а геніальнымъ человѣкомъ оказался дуракъ донъ-Педро. Въ подобныя минуты Нещеретовъ, случалось, нищимъ на улицахъ давалъ двадцать, пятьдесятъ, сто франковъ, — то, что попадалось подъ руку.

— Жаловаться грѣхъ, — повторилъ онъ со вздохомъ.

— Во всякомъ случаѣ, вы дали возможность жить большому числу людей. Я знаю, вы и помогаете очень многимъ, — сказала Муся, вспомнивъ, что донъ-Педро говорилъ о благотворительныхъ дѣлахъ Аркадія Николаевича. У нея не было основаній говорить любезности Нещеретову. Эти слова были видимо ему пріятны. «Онъ былъ врагъ. А теперь?» — устало спросила она себя. Несмотря на то, что люди были безразличны Мусѣ, ей страшно было имѣть враговъ. «Такъ все мелко, то, изъ-за чего мы волновались, спорили, ссорились, и такъ ясно это чувствуешь, когда случается большое, настоящее. Счастье? Катастрофа? Это чувство даютъ и катастрофа, и счастье, и вино, да, вино... Вотъ послѣ шампанскаго, я помню, наступаетъ такая минута, когда хочется всѣмъ говорить пріятныя вещи. И можетъ быть, настоящее въ жизни

только и были эти рѣдкія полупьяныя минуты... Я не знаю, счастлива ли я... нѣтъ, не знаю. Знаю только, что случилась не глупая пошлая авантюра, а что-то большое, очень большое, смявшее мою жизнь. Но почему же я здѣсь и говорю вотъ съ нимъ»... Она встрѣтила удивленный взглядъ Нещеретова и поспѣшно сказала. — Мнѣ донъ-Педро говорилъ, что вы и здѣсь многимъ помогаете. О вашихъ пожертвованіяхъ въ Россіи я и не упоминаю.

— Ужъ будто многимъ!

Нещеретовъ сконфузился именно такъ, какъ хорошимъ людямъ полагается конфузиться, когда при нихъ говорятъ объ ихъ добрыхъ дѣлахъ. Его въ самомъ дѣлѣ теперь трогали и даже умиляли всякая похвала, всякое упоминаніе о томъ, чѣмъ онъ былъ въ Петербургѣ.

— Слишкомъ часто приходится отказывать, — пояснилъ онъ. — И всегда тяжело смотрѣть въ глаза человѣку, когда ему говоришь явную неправду: «извините, у меня нѣтъ».

— Какая же это неправда? На всѣхъ не хватитъ, а вѣдь вы теперь и въ самомъ дѣлѣ небогаты, — сказала Муся. Въ Петербургѣ такія слова прозвучали бы для Нещеретова худшимъ оскорбленіемъ.

— Небогатъ, но состою при богатомъ дѣлѣ. Я начинаю понимать своихъ прежнихъ артельщиковъ: они получали гроши, а въ кассѣ вѣчно отсчитывали десятки и сотни тысячъ... Это создаетъ особую психологію... — Онъ засмѣялся. — А вотъ я самъ не могу отдѣлаться отъ психологіи богатаго человѣка. Недавно на вокзалѣ носильщикъ меня спросилъ, какого класса взять билетъ. И мнѣ стыдно было ему сказать: «третьяго», хоть вѣдь онъ-то совсѣмъ бѣднякъ.

Муся не усвоила его словъ, но тоже засмѣялась. «Да, можетъ быть, я ошибалась въ немъ. Мнѣ его тонъ дѣйствовалъ на нервы, онъ изъ тѣхъ, что при

встрѣчѣ спрашиваютъ: «какъ живемъ?..» Но и у него вѣдь этотъ тонъ, вѣрно, напускной, какъ былъ напускной у меня, — естественныхъ людей такъ мало. А въ общемъ, всѣ со всячинкой, и даже плохенькіе люди много лучше, чѣмъ мы о нихъ думаемъ. Да гдѣ же тѣ, кого всѣ признаютъ хорошими? Вѣдь даже онъ»... — Муся вдругъ почувствовала большую усталость. — Что-жъ мы всѣ стоимъ? — сказала она и сѣла въ кресло. «Если бъ я была счастлива, то, во-первыхъ, я объ этомъ съ собой не разсуждала бы, а, во-вторыхъ, мнѣ полагалось бы всѣхъ людей находить милыми, добрыми, хорошими. Я и настраиваю себя на это... Въ сущности, во мнѣ теперь говоритъ страхъ, тотъ самый «буржуазный страхъ», о которомъ мы такъ много спорили въ Петербургѣ, наслѣдственность отъ мамы, отъ поколѣній разсудительныхъ честныхъ женщинъ, которыя своимъ мужьямъ не измѣняли. Но вѣдь у насъ было рѣшено, что все это, — вѣрность, измѣна, — пустыя слова. Это во времена Анны Карениной люди еще серьезно ужасались адюльтеру, — и это слово какое глупое и гадкое», — вздрогнувъ, подумала Муся. — «Теперь такъ смотрятъ на вещи только провинціалки и уроды! Тысячи женщинъ дѣлаютъ то, что сдѣлала я, и не считаютъ себя погибшими (тоже отвратительное слово!) и, вѣрно, не копаются въ своей душѣ, и счастливы... А если будетъ худо, то что-жъ, за все надо платить, и не я ли мечтала взять отъ жизни все, что она можетъ дать?.. Надо поддерживать разговоръ, слѣдить за каждымъ словомъ, держать себя въ рукахъ. Лучше было не приходить сюда. Но я не могла остаться одна, дома... Поѣхать къ нему? Нѣтъ, это страшно: страшно то, какъ онъ можетъ принять меня... Что-жъ мнѣ отъ себя скрывать: онъ жуткій человѣкъ, глаза у него пустые и сумасшедшіе. Но я люблю его. Мнѣ это и было нуж-

но, а мнѣ судьба послала спортсмена-англичанина! Я знаю, теперь моя жизнь будетъ полна слезъ и горя, но только это и есть счастье: любовь, исполненная тревоги и слезъ... До сихъ поръ у меня не было ничего, кромѣ тщеславія, притворства, игры въ какую-то элегантную жизнь, — да, онъ совершенно правъ, но я не думала, что и ему это можетъ быть видно! Я и сама этого не замѣчала, даже въ свои минуты «самоанализа»: была ломающаяся капризная петербургская барышня съ мечтами то грязными, то просто глупыми и смѣшными, вѣроятно, со стороны довольно противная, вдобавокъ чрезвычайно требовательная и строгая къ другимъ: это не хорошо, то не хорошо, этотъ глупъ, тотъ не изященъ, этотъ скученъ... У меня, впрочемъ, взгляды, настроенія мѣнялись каждые полчаса... Я жила такъ же, тѣми же интересами, что и эта авантюристка, обмѣнивалась съ ней колкостями. Да она и въ самомъ дѣлѣ нисколько не хуже, чѣмъ была я, только что она злая, — да и то не всегда злая, — я сама вызывала въ ней къ себѣ злыя чувства нарочно: мнѣ это было забавно. А онъ, Нещеретовъ, быть можетъ, просто хорошій и несчастный человѣкъ, прикидывающійся циникомъ, какъ я прикидывалась изысканной натурой... Да и важно ли это? не все ли равно, кто подлецъ, кто ангелъ! Только то важно»... Муся тупымъ взглядомъ смотрѣла на Нещеретова, на Елену Федоровну, они теперь были заняты своимъ разговоромъ. «Да, всѣ въ такомъ же туманѣ, никто ничего не знаетъ, и спорить не о чемъ, и правда, ничего нѣтъ, кромѣ этихъ полупьяныхъ минутъ, — пьяныхъ отъ вина, отъ морфія, отъ любви, все равно!»

Въ передней стукнула дверь. Леони показалась въ гостиной и сухо поздоровалась съ Мусей. У нея, со времени несчастья съ дочерью, видъ былъ особенно гордый и холодный.

— Все благополучно? Температура нормальная?

— Да. Благодарю васъ.

— Значитъ, я сегодня могу зайти къ ней? Вы сказали, что сегодня можно будетъ.

— Да, — нехотя подтвердила Леони. — Но прошу васъ оставаться у нея недолго, она еще очень слаба... Я скажу ей.

Госпожа Георгеску вышла въ столовую.

«Сейчасъ идти къ Жюльеттъ, говорить съ ней!» — съ ужасомъ подумала Муся. — «Спрашивать ее о здоровьи, о температурѣ, разсказывать о Витѣ, хоть мнѣ нѣтъ дѣла ни до нея, ни даже до Вити! Леони на меня сердится, эта ненавидитъ меня такъ, что и скрыть не можетъ, мнѣ все равно, лишь бы только они оставили насъ въ покоѣ. Но куда же дѣться? Вернуться въ гостиницу, потомъ вечеръ, ночь. У меня нервы напряжены такъ, какъ у преступника послѣ убійства, я не засну, буду думать все объ одномъ, о чемъ лучше не думать вовсе... Но развѣ я виновата, что родилась съ низкимъ разсудочнымъ темпераментомъ? Ну, дойдетъ до Вивіана, будетъ скандалъ, разводъ, мама сгоритъ отъ стыда за меня, какое это можетъ имѣть значеніе! Черезъ все надо пройти! А онъ, какъ онъ будетъ безъ стыда смотрѣть въ глаза своему другу Вивіану?..» Она почувствовала, что Браунъ будетъ смотрѣть въ глаза Вивіану вполнѣ равнодушно, и эта мысль не была гадка Мусѣ. Внезапно ей послышалось его имя. Она измѣнилась въ лицѣ.

— ...Да ужъ вы мнѣ повѣрьте: никакой онъ не психъ, а просто глупый человѣкъ, ученый дуракъ, — говорила баронесса. — Кто-то мнѣ говорилъ, что онъ масонъ. Но хоть и масонъ, а дуракъ.

— Это невѣрно. Не дуракъ, но заговариваться сталъ малый: самъ съ собой все больше разговари-

ваетъ, господинъ профессоръ. У него, я слышалъ, тяжелая наслѣдственность.

— Ну, и Богъ съ нимъ. Мой покойный мужъ былъ съ нимъ хорошо знакомъ, — сказала Елена Федоровна и тяжело вздохнула. Несмотря на свой второй бракъ, она иногда впадала въ тонъ неутѣшной вдовы. — Кого же вы еще видѣли изъ петербуржцевъ? Они впрочемъ теперь всѣ хлынули на Ривьеру, видно по старой памяти. Странно, что люди не отдаютъ себѣ отчета въ положенiи...

«Какая еще тяжелая наслѣдственность? Что такое?» — тревожно спросила себя Муся. — «Или она нарочно заговорила о немъ при мнѣ? Значитъ, ей извѣстно?..» Муся сообразила, что это невозможно. — «Но развѣ она его знаетъ? Кажется, я съ ней о немъ говорила прежде... Но вѣдь онъ самъ мнѣ сказалъ, что не знаетъ ея. Мнѣ показалось даже, будто его что-то тогда задѣло... Что же это? Почему тяжелая наслѣдственность? Все онъ вретъ, конечно! Нѣтъ, я въ немъ не ошибалась: злой пошлякъ! Надо спросить, но незамѣтно»...

— ...Нѣтъ, главное въ жизни все-таки деньги. И даже не главное, а все, дорогой мой, все.

— Вотъ и онъ вѣдь какъ былъ богатъ, а теперь прямо голодаетъ, — говорилъ о комъ-то Нещеретовъ. Муся не сразу поняла, что говорятъ не о Браунѣ.

— Не очень тоже вѣрьте. Ихъ послушать: всѣ были богаты, а отъ голода здѣсь еще никто не умеръ.

— Скоро начнутъ.

— Тогда и будемъ говорить, — побѣдоносно отвѣтила Елена Федоровна и просiяла. Въ комнату вошелъ Мишель, въ пальто, со шляпой и перчатками въ рукахъ. Онъ поздоровался съ Мусей еще

холоднѣе, чѣмъ его мать. У него видъ вообще теперь былъ особенно сухой, почти злобный.

— Куда вы, Мишель? — восторженно спросила Елена Федоровна.

— Надо кое-что купить, — отвѣтилъ онъ. Его послала мать въ аптеку за новымъ лекарствомъ для Жюльеттъ. Нещеретовъ заговорилъ съ нимъ о политическихъ новостяхъ. Елена Федоровна смотрѣла на молодого человѣка съ обожаніемъ.

«Эта не мѣняется. Нашла свой идеалъ мужчины. А онъ принимаетъ ея любовь, какъ должное, но безъ восторга, il se laisse aimer», — подумала, приходя въ себя, Муся. — «Но у нихъ равенство: они стоятъ другъ друга. А у меня! Я отлично знаю, кто я передъ нимъ! Но все-таки, какъ онъ могъ сказать: «или послѣзавтра»?..

— ...Такъ вы думаете, что избраніе Клемансо президентомъ обезпечено?

— Совершенно обезпечено.

— Какой ударъ для соціалистовъ!

— Надѣюсь, онъ свернетъ имъ шею! — сказалъ Мишель и въ голосѣ его прорвалась бѣшенство. Муся удивленно на него взглянула. «Ахъ, да, Серизье!.. Вотъ за что, быть можетъ, со временемъ заплатятъ румынскіе соціалисты»... Мишель сухо поклонился и вышелъ.

— Ну, можно опять говорить по-русски, — сказала Елена Федоровна. — Такъ вы говорите, президентомъ республики будетъ Клемансо? А вы знаете, Аркадій Николаевичъ, что вашъ Федосьевъ сталъ католическимъ монахомъ и удалился въ какую-то пещеру?

— Я тоже что-то такое слышалъ. Мнѣ давно говорили, что онъ впалъ въ мистицизмъ. Но не мистическій былъ мужчина.

На порогѣ появилась Леони.

— Жюльеттъ проситъ васъ къ себѣ. Только, пожалуйста, не утомите ее.

— Отъ меня нижайшій поклонъ.

— Она чрезвычайно васъ благодаритъ за чудные цвѣты.

— Мадамъ сегодня, видите ли, въ лунатическомъ состояніи. У насъ столько поэзіи! — сказала Елена Федоровна вполголоса, когда Муся вышла.

XXIX.

Скрыть все дѣло отъ людей оказалось невозможно: сейчасъ же узнала консьержка, узнали аптекарь, домашній докторъ, — было достаточно ясно, что знать будутъ всѣ, кому только это можетъ быть интересно. Жюльеттъ думала, что знаетъ и Серизье, и въ первые дни съ ужасомъ ждала: что, если онъ пріѣдетъ съ визитомъ, — такъ послѣ поединка побѣдитель оставляетъ визитную карточку въ домѣ раненаго. Серизье не пріѣзжалъ, — это, очевидно, означало, что ея поступокъ не произвелъ на него никакого впчатлѣнія: напротивъ, онъ, навѣрное, очень польщенъ и грустно разсказываетъ объ этомъ пріятелямъ, которые въ кофейнѣ посмѣиваются и надъ бѣдной дѣвочкой, и надъ се sacré Cerisier qui n'en fait jamais d'autres.

Передъ матерью и братомъ было особенно стыдно. Для другихъ въ ея поступкѣ все-таки были и героизмъ и романтика (это полусознательное ощущеніе только и поддерживало Жюльеттъ). Но мать, а тѣмъ болѣе братъ, она знала, ни въ какихъ ея поступкахъ романтику оцѣнить не могли. Когда они входили въ комнату, Жюльеттъ обычно притворялась спящей или просто отворачивалась къ стѣнѣ (днемъ никогда не плакала, отводя душу ночью). Она ни разу ни единымъ словомъ не обмолвилась съ ними о томъ, что произошло. Мишель былъ съ сестрой такъ внимателенъ и деликатенъ, какъ никогда до того не былъ. Онъ мало выходилъ и большую часть дня проводилъ за работой у себя въ комнатѣ. Однако его участіе, она чувствовала, сводилось къ оскорбленной семейной гордости. Жюльеттъ была увѣрена, что братъ ее презираетъ, — больше всего за то, что она осрамила семью. «И онъ правъ, разумѣется»... Всѣ другіе люди были

настоящіе враги, особенно тѣ, которые пріѣзжали съ визитомъ и участливо распрашивали объ ея здоровьи. Единственное спасеніе отъ нихъ было: прикидываться тяжело больной и никого не принимать.

Когда мать въ первый разъ ей сказала, что Муся хотѣла бы повидать ее, Жюльеттъ отвѣтила рѣшительнымъ отказомъ. Она не думала, что Муся имѣетъ отношеніе къ ея несчастью. Но мысль о ней была непріятна Жюльеттъ, какъ разорившемуся человѣку непріятно думать о богачахъ.

— Я слишкомъ устала, мама, я не могу разговаривать съ чужими людьми.

— Какъ хочешь, милая, — поспѣшно сказала госпожа Георгеску. Она тотчасъ насторожилась: ужъ не связана ли Муся съ дѣломъ? Госпожа Георгеску страстно любила дѣтей: Мишеля съ легкимъ оттѣнкомъ пренебреженія, Жюльеттъ — безъ этого оттѣнка. Отчаянный поступокъ дочери повергъ ее въ совершенный ужасъ, она ничего не понимала: въ ея время ж и л и гораздо больше (у нея у самой молодость была довольно бурная), но никто съ собой не кончалъ. То объясненіе, что послѣ войны пошли какіе-то новые люди, въ особенности новая молодежь, въ обществѣ еще придумано не было. — Какъ хочешь, милая, но если кого принять, то, по моему, все-таки ее: она пріѣзжала чуть ли не каждый день и справлялась по телефону постоянно.

— Хорошо, я приму ее, но не теперь, а позднѣе.

— Разумѣется, моя милая, когда ты захочешь...

Потомъ Жюльеттъ подумала, что Муся объяснитъ ревностью ея уклоненіе отъ встрѣчи. Да я и въ самомъ дѣлѣ ревновала, до того разговора на берегу моря...» Дня черезъ два послѣ того Жюльеттъ попросила мать сказать г о с п о ж ѣ К л е р в и л л ь, что будетъ рада ее видѣть.

Она встрѣтила Мусю приготовленной заранѣе ласковой, болѣзненной улыбкой и поздоровалась особенно слабымъ голосомъ, — этой слабостью Жюльеттъ инстинктивно защищалась отъ интимной бесѣды: хотѣла на свою слабость скоро и сослаться, чтобы положить конецъ разговору.

Въ комнатѣ стоялъ легкій пріятный запахъ одеколона и лавровишневыхъ капель. Муся и совсѣмъ пришла въ себя. Исхудавшее матово-блѣдное лицо, болѣзненный видъ, блестящіе измученные глаза Жюльеттъ поразили Мусю. Она быстрыми шагами подошла къ постели больной и горячо ее поцѣловала. Обѣ подготовили слова, съ которыхъ надо начать разговоръ, и обѣ этихъ словъ не сказали.

— ...Можно сѣсть къ вамъ на постель? Я такъ рада васъ видѣть!..

— Я тоже...

Обѣимъ стало легче. «Нѣтъ, она не врагъ», — подумала Жюльеттъ, — «и, можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ есть искренніе друзья...»

...— Но вы знаете, это вамъ идетъ. Вы прямо помолодѣли, а вѣдь вамъ это начинало быть нужнымъ, — правда? Нѣтъ, я васъ давно такой хорошенькой не видѣла! Это фарфоровое лицо! — смѣясь, говорила Муся, твердо зная, что такія слова и на смертномъ одрѣ радуютъ и утѣшаютъ женщинъ. — Но какъ вы себя чувствуете?

Она говорила такъ, точно болѣзнь Жюльеттъ была совершенно естественной, именно этотъ тонъ облегчилъ ихъ встрѣчу. Жюльеттъ отвѣчала слабымъ голосомъ, больше потому, что такъ сказала первыя слова. Но разговоръ уже ее не пугалъ: конечно, передъ ней былъ не врагъ. «Да, она тутъ ни при чемъ... И мнѣ не тяжело видѣть ее»... Чтобы дать себѣ передышку, она спросила о Витѣ.

— Я была такъ поражена, когда мнѣ это сообщили. Но онъ хорошо сдѣлалъ.

— Господи! Почему хорошо? Что вы говорите, моя милая?

— Это былъ его долгъ.

— Ахъ, это былъ его долгъ! Я и забыла. Но если его убьютъ?

— Будь онъ 3-4 годами старше, его взяли бы на ту войну, какъ милліоны другихъ молодыхъ людей.

— Нѣтъ, эта желѣзная логика! Я узнаю свою Жюльеттъ! — сказала Муся и вспомнила, что то же самое говорилъ когда-то Браунъ. Теперь мысль о Браунѣ была менѣе страшной. — Вивіанъ тоже мнѣ было пояснилъ, что это былъ долгъ Вити. Я такъ на него прикрикнула, что онъ больше не настаивалъ. А вамъ я бы уши надрала, если-бъ вы не были больны. Я просто ночей не сплю изъ-за этого поступка, а вы говорите, что онъ хорошо сдѣлалъ!

— Меня однако удивила странная форма... Почему надо было бѣжать тайкомъ отъ всѣхъ? У васъ есть догадки?

— Никакихъ. Кромѣ той, что я никогда его не пустила бы.

— Этого, быть можетъ, достаточно. Онъ вѣдь былъ въ васъ влюбленъ.

— И вы! Развѣ это было такъ замѣтно?

— Очень замѣтно... А почему: «и вы»?

— Нѣтъ, я такъ.

Муся покраснѣла. Жюльеттъ внимательно смотрѣла на нее. Муся вдругъ почувствовала, что теперь можно перейти къ Серизье: Жюльеттъ не оскорбится.

— Изъ-за чего вы отравились, глупая Жюльеттъ? — спросила Муся, кладя ей руку на плечо и смягчая мягкимъ тономъ и слово «глупая», и самый вопросъ. Инстинктъ ей подсказывалъ, что лучше принять такой тонъ, будто рѣчь идетъ о милой дѣтской шуткѣ. Жюльеттъ не оскорбилась. За пять ми-

нутъ до того ей въ голову не могло прійти, что она можетъ хоть одно слово сказать о случившемся съ ней кому бы то ни было, а особенно Мусѣ. Теперь она принялась разсказывать и разсказала все, почти безъ утайки, почти безъ смягченій и прикрасъ.

Муся слушала разинувъ ротъ. Смѣлость, рѣшительность этой дѣвочки, ея откровенный, чуть только не безстыдный и одновременно трогательный, разсказъ поразили Мусю — даже теперь, послѣ случившагося съ ней самой. Въ поступкѣ Жюльеттъ было то, что Муся теоретически больше всего цѣнила въ людяхъ и чего въ жизни она сама была почти лишена. «Вѣдь это для насъ, женщинъ, замѣняетъ войну, дуэли, авантюры, все, что такъ скрашиваетъ жизнь мужчинъ, настоящихъ, и такъ украшаетъ ихъ... Но эта дѣвочка — и Серизье, пожилой, плѣшивый, съ брюшкомъ! Право, въ этомъ есть нѣчто патологическое. Мнѣ онъ никогда не нравился», — совершенно искренно сказала себѣ Муся. — «Браунъ тоже гораздо старше меня. Мы съ нимъ вмѣстѣ состаримся, и въ этомъ тоже будетъ счастье: другое, тихое... Нѣтъ, что же тутъ сравнивать...» Душу Муси переполняла радость (это надо было тщательно скрывать): ей было очень жаль Жюльеттъ, но чувство жалости вытѣснялось въ Мусѣ тѣмъ, что собственный ея поступокъ и ея положеніе такъ выигрывали отъ сравненія. «Вѣдь если говорить о грѣхѣ (хоть это и глупо), то ея грѣхъ настолько постыднѣй! У меня онъ взялъ иниціативу, и только мужчина можетъ это сдѣлать. Пойти къ нему прямо, откровенно предлагаться я никогда, никогда не посмѣла бы. Бѣдная, милая Жюльеттъ, насколько ей хуже, чѣмъ мнѣ!.. Она не видѣла, чего онъ требуетъ отъ любви: какъ можно больше свободнаго времени и какъ можно меньше непріятностей... У него отъ ея визита останется пріятное воспоминаніе... Какъ отъ обѣда у Ларю...

Все таки — какъ у Ларю»... Муся сразу стала прежней, — такой же, какой была два дня тому назадъ. Она слушала, старательно поддерживая на лицѣ улыбку, которая приблизительно означала, что все это не имѣетъ ровно никакого значенія. Когда Жюльеттъ кончила, Муся снова ее обняла.

— Только и всего?

— Да, только и всего.

— И изъ-за этого вы отравились?

— Вы находите, что этого недостаточно? Это пустяки, да?

— Я не говорю, что это пустяки. Но травиться не стоило, — говорила, улыбаясь, Муся. Она рѣшительно не знала, какъ обосновать свое замѣчаніе. «Сказать ей, что Серизье ея не стоитъ? Это оскорбительно. Сказать: «Передъ вами вся жизнь, вы полюбите другого», или что нибудь еще, что говорятъ въ такихъ случаяхъ, — нѣтъ, глупо»... — Моя милая Жюльеттъ, въ жизни каждой умной дѣвушки есть или долженъ быть хоть одинъ безразсудный поступокъ, лучше всего именно одинъ. Это поэзія біографіи. Но, право, жизнь такая радость, такое счастье, что безуміе отъ нея отказываться даже изъ за любви, — сказала она наставительно и тотчасъ подумала: «Ce n'est pas une trouvaille, но сойдетъ»... Жюльеттъ смотрѣла на нее разочарованно.

—Ужъ будто такая радость? — подозрительно спросила она. Ей съ самаго начала показалось, что и въ Мусѣ что-то перемѣнилось. «Вѣрно, это ея беременность»... Муся угадала ея предположеніе и опять покраснѣла. «Въ самомъ дѣлѣ, я тогда въ Довиллѣ ей сказала, а о томъ она ничего не знаетъ»... Внезапно ей передалась непостижимая зараза откровенности.

— Со мной тоже случилось большое событіе, — сказала Муся нерѣшительно. Жюльеттъ безпокойно на нее глядѣла. — Я полюбила, Жюльеттъ.

Слова эти, неестественныя, книжныя, непріятно звучащія, «я полюбила, Жюльеттъ», тотчасъ ударили ее по нервамъ. Но отступать теперь было поздно. Жюльеттъ приподнялась на постели.

— Вы? Кого? — спросила она, забывъ даже о слабомъ голосѣ. «Нѣтъ, разумѣется, не его... Тогда она иначе меня слушала бы»...

Муся, только что удивлявшаяся беззастѣнчивости Жюльеттъ, все разсказала о себѣ, — тоже просто и спокойно, только не назвала имени Брауна: говорила «одинъ человѣкъ», «этотъ человѣкъ»... Ей разсказывать было много легче, она побѣдила. Эту разницу Жюльеттъ тотчасъ почувствовала: «Кто? Кто это? Нѣтъ, конечно, не Серизье: было бы верхомъ цинизма, если-бъ она разсказывала мнѣ о немъ. Вѣрно, кто-нибудь изъ ея свѣтскихъ знакомыхъ... Но что же ей сказать?» — спрашивала себя Жюльеттъ совершенно такъ же, какъ передъ тѣмъ спрашивала себя Муся. — «Все-таки не поздравлять же ее съ тѣмъ, что она измѣнила мужу!.. Какая сумасшедшая!..»

— Я рада за васъ, — сказала она, безъ увѣренности въ голосѣ. Онѣ посмотрѣли другъ на друга и засмѣялись: сами недоумѣвали, зачѣмъ понадобилась такая откровенность, но не жалѣли о ней. Теперь Муся могла, не задѣвая Жюльеттъ, сказать все, что полагалось: что передъ ней вся жизнь, что она полюбитъ другого. Говорила она это поневолѣ такъ, какъ милліонеръ, приходя въ гости къ бѣднымъ, живущимъ въ двухъ комнатахъ, друзьямъ, можетъ имъ сказать: «Но у васъ, право, очень уютно»... Все же слова Муси были пріятны Жюльеттъ.

— ...И, повторяю, вы такъ похорошѣли!

— Кто бы подумалъ!.. Но вы? Каковы ваши ближайшіе планы? — осторожно спросила Жюльеттъ.

— Никакихъ! Я безъ всякихъ плановъ счастлива,

какъ никогда въ жизни, и ни о чемъ другомъ не думаю! — отвѣтила Муся. Тонъ ея былъ такой, точно она въ самомъ дѣлѣ захлебывалась отъ счастья. Муся и Жюльеттъ разговаривали искренно и все же одна преувеличивала свой восторгъ, а другая свое отчаянье. — Ни о чемъ не думаю, и не спрашивайте меня, ради Бога, моя положительная Жюльеттъ, — по прежней привычкѣ сказала Муся, не подумавъ, что послѣ попытки самоубійства не совсѣмъ подобаетъ называть Жюльеттъ положительной.

— Меня мама везетъ на Ривьеру. Что, если-бы вы пріѣхали къ намъ? Съ нимъ, разумѣется, съ таинственнымъ незнакомцемъ, — пояснила Жюльеттъ, улыбаясь и подчеркивая интонаціей неполное довѣріе Муси: имени незнакомца Муся ей все-таки не назвала.

— Съ нимъ къ вамъ на Ривьеру? Это идея, — сказала тѣмъ же тономъ Муся, словно это совершенно отъ нея зависѣло. «Боюсь, что онъ тотчасъ со мной на Ривьеру не поскачетъ. «Да, завтра... Или послѣзавтра»... Нѣтъ, конечно, у него сегодня неотложныя дѣла. А какъ было бы въ самомъ дѣлѣ хорошо — не съ Жюльеттъ и съ Леони, конечно, но съ нимъ поѣхать куда-нибудь далеко вдвоемъ!..»

Муся вспомнила, какъ когда-то, въ Петербургѣ, въ пору своей влюбленности въ Клервилля, она дома вечеромъ нашла въ ящикѣ стола листокъ пароходнаго общества, съ изображеніемъ молодого человѣка и дамы — въ креслахъ на палубѣ парохода, передъ бутылкой шампанскаго въ ведеркѣ, съ садами и замками на фонѣ... «Тогда я мечтала путешествовать съ Вивіаномъ. Я позвонила къ нему по телефону въ гостиницу, позвала его на банкетъ папы. Онъ сказалъ: «Я плохо говорю по русски и мнѣ такъ хочется сидѣть рядомъ съ вами». Я отвѣтила: «если только будетъ какая-нибудь возможность»... А теперь папа въ могилѣ, а Вивіанъ»...

— Это идея, — повторила она, чувствуя холодъ въ душѣ. — Когда вы ѣдете?

— Какъ только я поправлюсь.

— Да вы совершенно здоровы.

— Докторамъ это виднѣе, — обиженно сказала Жюльеттъ. — Я кстати рѣшила на Ривьерѣ заняться подготовкой докторской работы.

— Господи! Жюльеттъ, вы будете докторомъ?

— По крайней мѣрѣ, надѣюсь. Но еще не знаю, на чемъ остановиться: на частномъ международномъ или на финансовомъ правѣ?

— Was ist das für eine Mehlspeise? Такъ говорятъ въ Вѣнѣ. Ради Бога, не произносите такихъ страшныхъ словъ, все равно я ни одного права не знаю. — Муся чувствовала, что для Жюльеттъ ея ученость теперь утѣшеніе и что она думаетъ о жизни, посвященной суровому труду. — Вдругъ я пріѣду на Ривьеру мѣшать вамъ готовить вашу диссертацію.

— Вы думаете, что вашъ мужъ...

— Онъ сейчасъ въ Лондонѣ, — сказала Муся, какъ будто Жюльеттъ ее спрашивала объ этомъ. — Быть можетъ, онъ получитъ назначеніе въ Индію.

— И тогда?

— И тогда... Я ничаго не знаю, Жюльеттъ, ничего! Можетъ быть, я съѣзжу съ нимъ туда и вернусь. «Въ самомъ дѣлѣ, это могъ бы быть выходъ, если только онъ согласится на время отпустить меня», — подумала Муся. Недавняя мысль о томъ, что съ ней случилась катастрофа, была теперь непонятна ей самой. «Все-таки, я комокъ нервовъ: да, безпрестанно перехожу отъ одного настроенія къ другому. Да, неврастеничка самая настоящая», — съ нѣкоторой гордостью сказала она себѣ; въ ихъ петербургскомъ кружкѣ принадлежность къ неврастеникамъ молчаливо признавалось чѣмъ-то

вродѣ патента на благородство. «Но какъ я хорошо сдѣлала, что поговорила съ ней!»

— Значитъ, вы не разойдетесь съ мужемъ?

— Можетъ быть, мы и разойдемся. Я не знаю! Не спрашивайте меня, милая, я ничего не знаю! Ничего, кромѣ того, что я безумно счастлива! — сказала она и, чтобы загладить неделикатность этихъ словъ, обняла Жюльеттъ и поцѣловала.

Обѣ онѣ почувствовали, что любятъ другъ друга и что имъ было бы тяжело разстаться. Муся внезапно прослезилась. «Нѣтъ, послѣ того самое лучшее въ жизни это моя дружба съ ней, съ Сонечкой, съ Витей»...

— Какая я глупая!.. Ну, до свиданья, мой другъ, я и такъ васъ утомила. Ваша мама меня съѣстъ.

— Нѣтъ, посидите еще.

— Нельзя, нельзя.

— Мнѣ было очень пріятно съ вами, Муся. Когда вы придете опять? Завтра?

— Завтра? Я не знаю, буду ли свободна. — Она смущенно кивнула головой. — Да... Но я все-таки приду и завтра. Если не вечеромъ, то днемъ. Если не днемъ, то утромъ.

— Непремѣнно. Приходите каждый день.

Жюльеттъ взяла со стола платокъ и поднесла его къ глазамъ. Онѣ обнялись опять.

XXX.

Мудрый Картезій при встрѣчѣ позвалъ къ себѣ профессора Іонгмана, но дня не назначилъ и не ждалъ гостя. По своему обычаю, чуть не до полудня оставался онъ въ постели, лежалъ съ закрытыми глазами, изрѣдка приподнимался на локтѣ, бралъ со столика листокъ бумаги, карандашемъ, нѣсколькими словами, записывалъ приходившія ему мысли и снова опускалъ голову на подушку, погружаясь въ размышленія. Это были его лучшіе часы. Затѣмъ онъ одѣлся и перешелъ въ тѣ комнаты, которыя служили ему лабораторіей. Но только взялся за работу, какъ слуга доложилъ ему о пріѣздѣ профессора Іонгмана. И хоть это означало потерю доброй части дня, Декартъ встрѣтилъ профессора какъ самаго дорогого друга; привыкъ скрывать всѣ свои чувства и видѣлъ въ этомъ необходимѣйшую изъ добродѣтелей.

Тотчасъ распорядился объ особыхъ блюдахъ къ обѣду; не думалъ какъ многіе, что для гостей никакихъ измѣненій быть не должно, пусть, молъ, ѣдятъ то самое, что каждый день ѣстъ хозяинъ дома. Онъ повелъ профессора по своей усадьбѣ, показалъ садъ, видъ на каналъ и на рощу, показалъ лучшія камнаты замка, показалъ лабораторную залу. О своихъ же въ ней трудахъ сказалъ ровно столько, сколько было нужно изъ вѣжливости: не говорилъ съ посторонними людьми о дѣлахъ своихъ такъ подробно, точно дѣла эти должны были интересовать ихъ, какъ его самого. Ибо во всемъ зналъ мѣру мудрый Декартъ, и хорошо была ему извѣстна, въ большомъ и въ маломъ, трудная наука жизни. Изысканья его заинтересовали профессора Іонгмана, — заговорилъ и профессоръ о своемъ научномъ трудѣ, о томъ, какого пола оказалось большинство

звѣздъ. Картезій же помолчалъ, затѣмъ съ ласковой улыбкой одобренья пожелалъ труду его успѣха, но о своихъ работахъ больше не сказалъ ни слова и увелъ гостя въ столовую.

За обѣдомъ, закуски, блюда, вина, все было хорошо, хоть безъ чрезмѣрнаго обилія и роскоши. Только они двое и были за столомъ: хозяинъ и гость. И видно, подѣйствовалъ на профессора Іонгмана духъ дома мудраго Картезія, или развязало ему языкъ старое вино, или былъ онъ такъ взволнованъ встрѣчей съ людьми, съ которыми свела его судьба въ саду постоялаго двора, — но говорилъ профессоръ долго, взволнованно и задушевно. Разсказалъ о поѣздкѣ своей по Европѣ, изложилъ впечатлѣніе отъ событій въ германскихъ земляхъ, перешелъ къ Риму и остановился на дѣлѣ Галилея. И когда разсказалъ объ отреченьи старца на колѣняхъ, голосъ его задрожалъ и на глазахъ показались слезы: такъ было тяжело ему оскорбленье ума и достоинства великаго человѣка. Не менѣе его былъ взволнованъ этой частью разсказа Картезій, хоть не любилъ Галилея и хоть еще съ зимы зналъ всѣ подробности римскаго процесса.

Послѣ обѣда они вышли въ садъ и сѣли на скамейку у ключа, который шутливо называлъ хозяинъ ключемъ мудрости: здѣсь размышлялъ онъ о предметахъ высокихъ и важныхъ. Въ саду профессоръ Іонгманъ закончилъ разсказъ: сообщилъ подробно о своей встрѣчѣ съ на постояломъ дворѣ съ убійцей Альбрехта Валленштейна, полковникомъ Вальтеромъ Деверу, и съ женой его, племянницей имъ же убитаго праведнаго человѣка. Вкратцѣ разсказалъ онъ объ этомъ еще раньше, какъ только пріѣхалъ; теперь же высказалъ и свои скорбныя мысли. Съ виду Деверу человѣкъ благодушный, — отчего благодушный видъ у столь многихъ злодѣевъ? Отчего вообще торжествуетъ зло надъ

добромъ? И не нужно ли, не нужно ли срочно, объединеніе лучшихъ людей для побѣдоносной борьбы со злыми?

И тутъ профессоръ Іонгманъ перешелъ къ тому дѣлу, ради котораго пріѣхалъ въ гости къ Декарту. Трудное это было дѣло, ибо, по уставу невидимыхъ, ничего нельзя было сообщать о братствѣ людямъ, еще не принятымъ въ его среду, — а какъ заинтересовать ихъ братствомъ, ничего о немъ не сообщая? Приходилось начинать издалека, говорить и двусмысленно, чтобъ можно было отступить благопристойно, когда-бы мысль о братствѣ не увлекла того, кого надлежало опросить, или когда-бы оказался онъ при разспросахъ неподходящимъ для братства человѣкомъ. Но, къ счастью, все понималъ собесѣдникъ профессора Іонгмана и такимъ же намекомъ далъ онъ понять, что объяснять больше ничего не надо и что онъ теперь, какъ и раньше, не намѣренъ идти въ братство невидимыхъ розенкрейцеровъ. Говорилъ же онъ лѣниво, медленно, раздѣльно, точно разговаривалъ съ малымъ ребенкомъ.

Вотъ что сказалъ профессору Іонгману мудрый Картезій:

«Объединеніе лучшихъ людей для побѣдной борьбы со зломъ? Да, это великое дѣло, величайшее изъ всѣхъ дѣлъ. Но нужно заранѣе обо всемъ договориться. Что есть зло? Можно ли съ нимъ бороться? Есть ли хоть малая надежда на побѣду? Какое объединеніе людей должно способствовать побѣдѣ?

Вы отвѣчаете: всякій знаетъ, что такое зло. — Это неизвѣстно дикарямъ. Твердо это знаютъ люди, переставшіе быть дикарями. Но тѣхъ изъ нихъ, что умудрены жизнью, снова тревожитъ сомнѣнье. Васъ потрясло: какой ничтожный человѣкъ убилъ великаго Валленштейна! Въ этомъ лишь одна сторона

истины. Многимъ ли отличался герцогъ Фридландскій отъ своего убійцы? Поражено наше воображенье: темная ночь, потайная лѣстница въ замкѣ, окровавленный трупъ человѣка, долго наполнявшаго міръ шумомъ своего имени, блескомъ титуловъ и богатствъ. Поройтесь же въ жизни Валленштейна, — сколько человѣкъ было разстрѣляно или повѣшено по его приказу? За преступленья? Чаще всего за то, что они называютъ дезертирствомъ, — за неповиновеніе насилію ихъ набора или, быть можетъ, за нежеланіе убивать лютеранъ. Но людей этихъ казнили безшумно, и не было ничего въ ихъ судьбѣ, что могло бы встревожить неразумно-воспріимчивую душу поэта.

Не спрашиваю васъ, за какую правду боролся погибшій герцогъ. Моря крови пролиты подобными ему людьми для славы, для власти или просто для удовольствія. Въ этомъ Валленштейнъ не отличался отъ другихъ владыкъ міра. И будетъ доля истины, если я скажу: ничтожный Деверу убилъ Деверу покрупнѣе, — это все. Воображеніе, опаснѣйшее изъ человѣческихъ свойствъ, выдѣлило одно убійство изъ множества повседневныхъ злодѣяній, съ которыми нечего дѣлать труппѣ бродячихъ скомороховъ.

Не говорите мнѣ о добрыхъ дѣлахъ Валленштейна: вы не знаете добрыхъ дѣлъ Деверу. Не всегда онъ насиловалъ женщинъ, не всегда рѣзалъ стариковъ и, вѣрно, недаромъ полюбила его племянница убитаго имъ человѣка. Увѣрены ли вы, что ни разу въ жизни Деверу не накормилъ голоднаго, не подарилъ игрушки ребенку, не плакалъ ночью, вспоминая свою грѣшную жизнь? Богатство же герцога Фридландскаго позволяло ему всѣ виды роскоши, въ томъ числѣ и роскошь душевную.

Однако я не отрицаю: есть доля правды и въ вашихъ словахъ о немъ. Что-то выдѣляло Валлен-

штейна изъ немалой толпы ему подобныхъ. Порою дѣлалъ онъ то самое, что дѣлалъ графъ Тзэркласъ Тилли, — безъ этого не былъ бы возвеличенъ людьми, — но на Тилли онъ все же не походилъ, и нѣтъ въ числѣ его подвиговъ Магдебурга. Въ пору мысли лѣнивой и стадной, окруженный людьми, не имѣвшими никогда обычая размышлять, герцогъ Фридландскій думалъ по своему, тронутый тѣмъ же сомнѣньемъ, въ которомъ и мы видимъ главную особенность нашего дѣла. Валленштейнъ былъ игрокъ и жизнь свою проигралъ въ кости. Погибъ онъ, повидимому, потому, что не хотѣлъ вѣрить въ случай; въ звѣздахъ онъ искалъ закона для того, въ чемъ законовъ нѣтъ и быть не можетъ. И такъ ли ужъ само по себѣ малоцѣнно впечатлѣніе, произведенное имъ на души людей? Вотъ передо мной не юноша — немолодой, пожившій, занимающійся наукой человѣкъ умиляется надъ участью герцога Фридландскаго. Что-жъ, есть своя правда у поэтовъ и скомороховъ: пусть до конца временъ и занимаются они Валленштейномъ, какъ занимались Цезаремъ, Аннибаломъ, Александромъ, усердно истреблявшими ихъ предковъ.

Нѣтъ, не ясно и не безспорно, что такое зло. Предвижу ваше возраженье. Тайное братство лучшихъ людей, о которомъ вы говорите, просвѣтитъ міръ новой, безкровной, разумной правдой, — въ мірѣ вашемъ отличіе добра и зла никакихъ сомнѣній вызывать не будетъ. Пусть такъ! Но для установленія вашего міра не понадобятся ли долгія столѣтія, исполненныя зла, подобнаго которому не сохранила человѣческая память? Съ легкимъ, очень легкимъ сердцемъ принимаетъ на себя за это отвѣтственность братство лучшихъ людей. Не скрою отъ васъ: въ трудныхъ человѣческихъ дѣлахъ я побаиваюсь всякой новой правды. Но та правда, которая при первомъ своемъ появленіи выра-

жаетъ намѣренье осчастливить міръ, внушаетъ мнѣ смертельный, непреодолимый ужасъ. Палачей всегда приводили за собой пророки. Ибо всѣ они были и лжепророками — для значительной части людей.

Вы хотите передѣлать Деверу? Въ самомъ дѣлѣ это главная наша задача. Но подумайте о томъ, какъ ее рѣшить, и не говорите, что рѣшите ее скоро. Деверу ходилъ когда-то въ звѣриной шкурѣ, теперь ходитъ въ латахъ, — каковъ будетъ его слѣдующій нарядъ? За три тысячи лѣтъ онъ не очень измѣнился, — ведите же на тысячелѣтья счетъ и вы, надѣющіеся на измѣненіе нашего душевнаго состава. Говорю «нашего»: ибо и во мнѣ, и въ васъ, повѣрьте, сидитъ Деверу.

Борьба со зломъ! Не будемъ заблуждаться: зло, творимое человѣческими руками, лишь песчинка въ общемъ злѣ міра. Пусть Деверу палачъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ и жертва: Деверу умретъ, какъ умеръ Валленштейнъ. Чего стоятъ его преступленія, чего стоятъ звѣрства всѣхъ историческихъ преступниковъ взятыхъ вмѣстѣ по сравненію съ нашимъ общимъ основнымъ несчастьемъ! Вы отвѣчаете на это: элексиръ вѣчной жизни. И я еще недавно надѣялся, что проживу пятьсотъ лѣтъ. Но для научныхъ поисковъ не нужно входить ни въ какое братство. Теперь я больше этого не ищу. Вотъ лучъ солнца отражается въ водѣ моего ключа. Мнѣ извѣстны законы его отраженья. Черезъ тысячу лѣтъ любой школьникъ будетъ знать въ тысячу разъ больше меня. Міръ же станетъ тогда еще непонятнѣе, — даже если не спрашивать, зачѣмъ онъ существуетъ. Немного поняли мы въ мірѣ до сихъ поръ и немного поймемъ еще. Чѣмъ больше будемъ знать, тѣмъ понятнѣе все будетъ глупцамъ, тѣмъ непонятнѣе умнымъ и тѣмъ тяжелѣе. Быть можетъ, мы и откроемъ элексиръ вѣчной жизни. Но нѣкоторымъ

изъ насъ тогда придется искать отъ него противоядія.

Этихъ признаемъ вольноотпущенниками смерти. Страшно заглянуть имъ въ пропасть, но трудно и отвести отъ нея взглядъ: манитъ она, и голова кружится. Что тяжелѣе преодолѣть этимъ людямъ: радость бытія или тягу къ безднѣ? Говорятъ, что душа наша въ тѣлѣ словно въ клѣткѣ птица. Всегда ли стоитъ птица клѣтки? Тяжело необычной птицѣ разставаться съ клѣткой, и велика, безпредѣльно велика мука выбора. Пожалѣемъ же о людяхъ, потерявшихъ любовь къ жизни, еще больше пожалѣемъ о тѣхъ, которые ничего не желаютъ оставлять непостижимой волѣ рока. Худо въ мірѣ и съ рокомъ, но безъ него было бы еще много хуже.

Вы со мной не согласны. Это естествено: никому въ мірѣ не по пути ни съ кѣмъ, нѣтъ дорогъ совершенно параллельныхъ. Ограничьте же задачу и уставъ общества, которое вы хотите создать, или не зовите меня въ это общество. Говорю безъ гордыни и безъ насмѣшки. Никто изъ жившихъ до меня людей не вѣрилъ крѣпче, чѣмъ я, въ мощь и въ права разума. Я не отказываюсь и сейчасъ отъ этой вѣры, но фанатикомъ разума я не буду: этого не стоитъ и онъ.

Кто посмѣетъ смотрѣть свысока на великаго Галилея? Мнѣ ли не сожалѣть объ его участи: мысли его и мои мысли. Но то, что онъ сказалъ, сказалъ онъ либо слишкомъ рано, либо слишкомъ шумно. Осудившіе его люди невѣжды передъ нимъ въ наукѣ о звѣздахъ. Но онъ передъ ними невѣжда — въ наукѣ о людяхъ.

Земля вращается вокругъ солнца, это важно. Но еще гораздо важнѣе то, что вращается она очень скверно. Какъ бы въ концѣ концовъ не вращалась вокругъ солнца одна грязная кровавая лужа! И Га-

лилею, и мнѣ пріятно разгадывать безчисленныя тайны звѣздъ. Однако, если вслѣдствіе разгаданныхъ нами тайнъ, Деверу ворвется сюда въ садъ, перерѣжетъ мнѣ горло и швырнетъ мой трупъ въ этотъ ключъ, я признаю свою жизнь не слишкомъ удачной. Что-жъ дѣлать: вдругъ, благодаря открытіямъ Галилея, окончательно рехнется Деверу.

Почему рехнется? Эта связь не обязательна, но вполнѣ возможна. Скажемъ правду: Галилей подкопался не только подъ ученье Птоломея. Его преемники отберутъ у Деверу главное и не дадутъ ему взамѣнъ ничего. Вы негодуете? Нѣтъ, я не предлагаю прекратить изученіе тайнъ вселенной. Знаю, что на каждую разгаданную тайну появляется десять неразгаданныхъ. Но слишкомъ велики эта радость, это счастье, чтобы мы съ Галилеемъ могли отъ нихъ отказаться! Отрицать же я не могу: Деверу безъ нашихъ открытій обошелся бы, какъ и они обходятся безъ него. Галилей имъ интересовался чрезмѣрно.

Вы говорите, что въ человѣкѣ исконно добро; зло только наносное начало, созданное дурными учрежденіями міра. Можно сказать и обратное: человѣкъ неуменъ, человѣкъ низокъ, человѣкъ въ особенности слабъ, и спасаютъ насъ отъ Деверу только вѣковыя учрежденія міра, какъ бы плохи они ни были. Выводъ изъ обоихъ преувеличенныхъ утвержденій будетъ въ сущности одинъ и тотъ же. Люди, любующіеся глупостью и низостью людей, тупые моральные самоубійцы. Кому этотъ міръ не нравится, тотъ въ любую минуту воленъ уйти въ другой: незачѣмъ отравлять жизнь себѣ и товарищамъ по сомнительному несчастью. Въ мѣстѣ же общественномъ, какъ эта планета, надо вести себя по правиламъ. Настоящій человѣкъ вѣренъ себѣ и въ разбойничьей берлогѣ, и въ домѣ умалишенныхъ, хоть по мѣрѣ возможности слѣдуетъ дер-

жаться подальше отъ разбойниковъ и отъ сумасшедшихъ.

Роскошь собственной правды я держу про себя: не говорю людямъ того, что о нихъ думаю: Bene vixit bene qui latuit. Стараюсь и думать объ этомъ возможно рѣже. Жить мнѣ десять лѣтъ, двадцать лѣтъ, — одинъ мигъ, — я не употреблю его на составленіе коллекціи уродцевъ. Вы хотите улучшить міровой порядокъ? Сдѣлаемъ каждый порознь усиліе для достиженія этой великой цѣли. Но пока она не достигнута, благоразумно ли кричать на перекресткахъ улицъ, что міровой порядокъ отвратителенъ?

Я сердечно благодаренъ каждому человѣку, который не собирается меня зарѣзать. Деверу не исключеніе, а правило. Въ насъ живутъ черныя души нашихъ предковъ. Силъ, хоть немного обуздывающихъ Деверу, хватитъ на вѣка, ихъ не хватитъ на тысячелѣтья. О нѣтъ, я говорю не о кострахъ и не о карахъ! Мудрость, правда, предписываетъ обращаться къ худшимъ побужденьямъ человѣка, но это отнюдь не значитъ, что у него нѣтъ побужденій лучшихъ. Повѣрьте, и у Деверу есть высшая правда. На нее посягать мнѣ запрещаетъ совѣсть. И если придется сдѣлать выборъ, я скажу: пусть лучше солнце и дальше вращается вокругъ земли...

Милліоны людей живутъ въ той вѣрѣ, въ которой, по волѣ случая, родились, и считаютъ ее единственной истинной вѣрой. Быть можетъ, это не дѣлаетъ чести ихъ уму; это дѣлаетъ большую честь ихъ сердцу. Вы хотите создать новую религію. Какъ республиканцы въ политикѣ, вы въ области неизмѣримо болѣе трудной желаете замѣнить наслѣдственное начало выборнымъ. Знайте же твердо: вы начинаете великую вѣковую войну, по сравненію съ которой покажутся безкровными войны, вызванныя пугливой крошечной реформой Лютера.

У крови съ мыслью нѣтъ общаго мѣрила, поэтому и спорить здѣсь не приходится. Я примкнулъ бы къ вамъ, если бъ вы по времени были первые. Я примкнулъ бы къ вамъ, если бъ за вѣрой вашей было триста лѣтъ жизни. Такъ какъ ихъ у васъ нѣтъ, разрѣшите мнѣ держаться вѣры моего короля. Передѣлывать міръ наскоро у меня охоты нѣтъ, — не люблю спѣшной работы.

О, тяжелы, тяжелы великія, вѣками неподвижныя тѣла! Грузно и страшно ихъ внезапное паденье! Знаю, что Галилей, его преемники и ваше братство создаютъ мощный таранъ. Чувствую, что и съ моимъ именемъ будутъ связывать начинающуюся на нашихъ глазахъ борьбу. Между тѣмъ, я не хотѣлъ ея, я считалъ ее гибельной, я предостерегалъ гонителей вашихъ, какъ предостерегаю васъ. Не скрывайте же хоть отъ себя: для борьбы, для кровавой борьбы создается ваше братство. Но подкапываясь подъ чужую вѣру, вы подкапываетесь и подъ вашу собственную: Деверу долго разбирать не станетъ. Борьба эта самоубійственная для обѣихъ сторонъ, — для васъ, быть можетъ, больше чѣмъ для вашихъ противниковъ, и не потому, что во всемъ, отъ возраста до размѣра и увѣренности обѣщаній, они имѣютъ преимущество передъ вами: нѣтъ, и одержавъ полную побѣду, на стотысячномъ по счету преемникѣ Галилея вы погибнете отъ равнодушія и скуки.

Большинство людей живетъ безъ всякихъ мыслей, стоющихъ этого слова, и здѣсь ничего худого нѣтъ. Опаснѣе тѣ, что раздавлены одной мыслью. Ихъ тоже довольно много въ мірѣ. Изъ нихъ выходятъ и члены вашего братства, и его завистники. Ни съ тѣми, ни съ другими мнѣ не по пути. Вы спрашиваете о выходѣ. Онъ былъ бы для руководителей міра въ единеніи честныхъ людей всѣхъ вѣрованій, въ прочномъ, искреннемъ союзѣ для ра-

боты, которой всѣмъ хватитъ надолго: для вѣковой работы надъ медленнымъ, очень медленнымъ улучшеніемъ черной природы Деверу. Союзъ предполагаетъ взаимныя уступки, онъ допускаетъ для каждой стороны возможность держать кое-что про себя, онъ ставитъ обязанность бороться и съ застоемъ, и съ разрушеньемъ. Истинный, чуждый фанатизма, разумъ разрушаетъ мало и неохотно, твердо зная, что имѣетъ возможность разрушить рѣшительно все.

Но, разумѣется, я себя не обольщаю: это иллюзія, чистая иллюзія. Въ вопросѣ же о каждомъ изъ насъ въ отдѣльности общаго рѣшенья нѣтъ. Мой выходъ вы видите: вотъ передъ вами ключъ. Кто можетъ, долженъ спасаться бѣгствомъ на высоты, подальше отъ Деверу и даже отъ Газенфуслейна. Bene vixit bene qui latuit. Предлагаю свой выходъ и вамъ: вспомните, что вы еще не рѣшили вопроса о полѣ нѣкоторыхъ звѣздъ.

Вижу, что этотъ выходъ вамъ не нравится. Вы нашли свою опасную игрушку: грозный братскій таранъ для разрушенія того, что разрушать не надо. Вамъ скученъ мой совѣтъ, и тишина высотъ не прельщаетъ васъ. Я сожалѣю объ этомъ. Въ пещерѣ пророкъ Илья услышалъ голосъ, призывавшій его взглянуть на лицо Господне. И была буря, раздирающая горы и скалы, но не въ бурѣ былъ Господь. Потомъ было землетрясенье, но не въ землетрясеніи былъ Господь. Послѣ землетрясенья былъ огонь, но не въ огнѣ былъ Господь. А затѣмъ услышалъ Илья вѣянье тихаго вѣтра. И въ вѣяньи тихаго вѣтра былъ Господь! Только тогда Илья закрылъ лицо плащемъ своимъ и вышелъ, наконецъ, изъ пещеры».....

..... Изъ пещеры вылетѣлъ аэропланъ съ шведскимъ флагомъ и понесся на очень большой высотѣ къ огоньку, который зловѣще дрожалъ, надвигаясь все ближе. Всѣмъ хотѣлось, чтобы аэропланъ тутъ же упалъ и разбился. Особенно этого хотѣлось человѣку во френчѣ, въ высокихъ желтыхъ сапогахъ. «Гутъ, гутъ», — сказалъ онъ и Федосьевъ отвѣтилъ «Ja wohl». Изъ аэроплана вышелъ Бергеръ онъ же мосье Берже, управляющій гостиницы «Паласъ», и сообщилъ: «Одинъ персонъ желайтъ»... Рядомъ съ нимъ былъ невысокій, толстый, желтозубый человѣкъ. Дарья Петровна выбѣжала навстрѣчу, подала ключъ и сказала съ почтительной улыбкой, что дѣвушки были, да ничего, придутъ опять. Слѣдователь Яценко сердился, а Федосьевъ, напротивъ, былъ очень доволенъ. Огонекъ рѣзалъ глазъ все непріятнѣе. Толстый человѣкъ говорилъ входившимъ дѣвушкамъ «будемъ знакомы», весело смѣялся и объяснялъ, что терпѣть не можетъ музыки — «непріятный шумъ», — однако, если дѣвушки любятъ, то пусть механическое піанино играетъ, но веселенькое, — а это дрянь, и только русскіе купцы любятъ за шампанскимъ душещипательную музыку, — но впрочемъ ему все равно, а вотъ средствице пора принять. Всѣ тоже очень смѣялись, и толстый человѣкъ сказалъ, что старость не радость, за веселую жизнь надо платить... Платить же надо по очень простой формулѣ... Шопенъ послѣ взятія Варшавы называлъ Бога москалемъ. Федосьевъ же въ своей пещерѣ разсердился и написалъ злое письмо, на которое надо такъ же отвѣтить... Въ формулѣ этой одна молекула кислоты приходится на двѣ ...на двѣ молекулы Кали. Какой же атомный вѣсъ калія? Но сначала надо отправить «Ключъ»... Онъ

брошенъ въ Зимнюю Канавку... Тамъ страница о богинѣ Кали, покровительницѣ кладбищъ, и Муся Клервилль будетъ читать. Она хочетъ сыграть эту самую сонату, гдѣ все: и та грязь, и кладбища, и калій... Атомный вѣсъ его 39,04... Да, кости выброшены, выпалъ тузъ, игра сыграна. Теперь бѣгство... Огонь нестерпимо разросся, сталъ жечь... — И вдругъ случилось непостижимое: одинъ міръ, за секунду до того ясный, логическій, связный, сталъ совершенной нелѣпостью, появился другой, мучительный и тоскливый, — тотъ, изъ котораго нужно уходить...

Надъ изголовьемъ постели горѣла лампа, Браунъ, засыпая, забылъ потушить ее. Онъ весь трясся мелкой дрожью, стараясь вспомнить, что ему снилось. Сѣлъ, надѣлъ туфли, вышелъ въ лабораторію, — въ вытяжномъ шкапу были приготовлены и банка съ ціанистымъ каліемъ, и колба, и дважды пробуравленная пробка съ воронкой, съ хорошо оплавленной отводной трубкой. Вернувшись въ спальную, онъ снова легъ, хоть зналъ, что больше не заснетъ, — принятая наканунѣ огромная доза снотворнаго дала все, что могла дать: нѣсколько часовъ безпокойныхъ идіотскихъ видѣній. «Кажется, Гамлетъ боится, что тамъ будутъ сны. Надо бы сказать обратно, оттого и страшно, что тамъ ничего не будетъ, даже идіотскихъ сновъ... Во всякомъ случаѣ, въ послѣдній разъ спалъ въ этой жизни»...

За окномъ было темно. Съ кровати, за садомъ, надъ крышей выходящаго на улицу дома, была видна одинокая звѣзда. Трудно было сказать, какое время: вечеръ, глубокая ночь, предразсвѣтный часъ? И долго еще Браунъ лежалъ въ постели, вздрагивая подъ теплымъ одѣяломъ, въ тысячный разъ думая все о томъ же. Разсужденіе было не-

опровержимое. Случился ударъ, настоящій ударъ, — нѣсколько раньше, чѣмъ бываетъ обычно, — но вѣдь и жилъ на своемъ вѣку больше, чѣмъ живетъ большинство людей. «Да, за это надо платить, — но и за умственную работу также: одна плата и за то, и за другое! Былъ первый ударъ: тотъ врачъ — менѣе невѣжественный, чѣмъ другіе, — такъ, не стѣсняясь, и сказалъ: первый ударъ. Потомъ будетъ второй ударъ, — все какъ полагается, полуидіотизмъ, идіотизмъ, смерть...

Съ этимъ спорить не приходилось, но разсужденіе все натыкалось на одно и то же: «Правильно, однако отчего именно сегодня?» — «И завтра будетъ то же самое». — «Да, но можно еще подождать». — «Ждалъ, ждалъ, пора и перестать. До вчерашняго дня было оправданіе: «Ключъ». Теперь книга кончена.—«Можно бы подождать ея выхода». — «А потомъ можно будетъ подождать откликовъ... А вотъ, онъ, второй, не ждетъ... Да и не это одно, и не въ этомъ, быть можетъ, главное. Да, совпаденіе во времени, своего рода предустановленная гармонія: душа износилась одновременно съ тѣломъ: износилось дряхлое тѣло, — человѣкъ умираетъ; износилась дряхлая душа, — человѣкъ кончаетъ съ собой. Достойнѣе было бы, если-бъ было только послѣднее, — а то выходитъ: faire de nécessité vertu... Другіе убиваютъ себя изъ,за любви, изъ-за разоренія, отъ угрызеній совѣсти, отъ позора или «въ состояніи аффекта». У меня ничего этого нѣтъ: если-бъ не ударъ, было бы самоубійство въ чистомъ видѣ, можно было бы взять идейный патентъ»... Онъ сердито усмѣхнулся и взглянулъ на часы. Къ удивленію своему, увидѣлъ что уже половина девятаго. На дворѣ стоялъ холодный туманъ. «И отлично: въ такую погоду и уходить всего лучше... Да, да, вольноотпущенникъ смерти»...

Радуясь собственному равнодушію, онъ брился, купался, одѣвался: не было никакой причины не дѣлать того, что полагалось дѣлать утромъ. Затѣмъ позвонилъ. Хорошенькая горничная — не та, которую видѣлъ Витя, а новая — принесла чай: не было никакой причины не пить чаю. Горничная сообщила, что съ утра очень холодно: она, пожалуй, предпочла бы, ужъ если мосье такъ любезенъ, поѣхать въ Медонъ, къ своимъ, въ другой разъ. — «Нѣтъ, въ другой разъ мнѣ будетъ трудно отпустить васъ», — отвѣтилъ Браунъ, — «вѣдь я сказалъ вамъ, что самъ уѣзжаю»... — «Прошу мосье меня извинить: мосье мнѣ не говорилъ, что уѣзжаетъ». — «Я не сказалъ? Значитъ, я забылъ. Да, я уѣзжаю до четверга». — «Тогда я, конечно, поѣду сегодня. Но, значитъ, надо уложить вещи мосье?» — «Нѣтъ, не надо, я самъ все сдѣлаю. Вы только оставьте у консьержки вашъ адресъ, на всякій случай». — «Разумѣется. И если мосье будетъ что нужно спѣшно, то можно позвонить по телефону къ бистро, рядомъ съ домомъ моей матери, насъ всегда оттуда вызываютъ, это стоитъ только пять су»... — «Отлично, отлично, благодарю васъ»... — «Я оставлю мосье номеръ телефона бистро»... — «Лучше и номеръ оставьте у консьержки». — «Пусть только она позвонитъ, и я черезъ два часа буду здѣсь, если не раньше... Мосье хотѣлъ дать мнѣ денегъ». — «Да, денегъ, я хотѣлъ вамъ заплатить за два мѣсяца впередъ». — «Мнѣ столько не нужно: у мосье деньги будутъ вѣрнѣе, чѣмъ у меня», — сказала съ улыбкой горничная, поглядывая на него исподлобья. — «Но я уже приготовилъ для васъ, не надо ничего мѣнять». Горничная поблагодарила и взяла деньги, соображая, что по дорогѣ зайдетъ въ сберегательную кассу: все-таки за два мѣсяца это можетъ составить тридцать или даже сорокъ су. — «Не надо ничего мѣнять», — повторилъ Браунъ.

Она взглянула на него съ легкимъ удивленіемъ (позднѣе всѣмъ разсказывала, что сразу замѣтила неладное: мосье въ это утро былъ совсѣмъ не такой, какъ всегда).

Когда выходная дверь за горничной захлопнулась, Браунъ перешелъ въ кабинетъ, сѣлъ въ кресло и выдвинулъ изъ письменнаго стола ящикъ. Еще съ вечера назначилъ: сжечь бумаги, — хоть въ этомъ собственно надобности не было. Въ среднемъ ящикѣ, кромѣ бумагъ, оказались револьверъ, коробка съ патронами, кусочекъ сургуча, посеребренная ручка для пера съ концомъ въ видѣ разрѣзного ножа. И долго онъ смотрѣлъ на перо и все не могъ вспомнить, гдѣ пріобрѣлъ эту дешевенькую вещицу и почему хранилъ ее въ ящикѣ. На неровно оплавившемся концѣ сургуча повисла бородка. Браунъ зажегъ спичку, поднесъ къ ней сургучъ. Бородка растопилась, чернѣя зажглась и, съ дымомъ, горящей каплей упала на кожу стола. Спичка обожгла пальцы. Браунъ вздрогнулъ, потушилъ огонь, и что-то далекое, радостное, оставшееся отъ дѣтскихъ лѣтъ, напомнилъ ему запахъ сургуча. «Жаль уходить... Душа износилась, все такъ, но еще пожилъ бы... Ахъ, какъ жаль!..»

Затѣмъ онъ пододвинулъ кресло къ камину и принялся бросать въ огонь одну связку бумагъ за другой. Подумалъ со слабой улыбкой, что въ дѣйствіи этомъ есть что-то Тургеневское: «передъ смертью онъ сжегъ письма женщинъ». Въ ящикѣ дѣйствительно были и письма женщинъ, и счета, и квитанціи, и рукописи научныхъ работъ. Онъ все сжегъ съ одинаковымъ равнодушіемъ.

До отхода поѣзда оставалось еще почти два часа. Но дѣлать больше было нечего: вся программа на утро была выполнена. «Да, адресъ монастыря», — вспомнилъ онъ и разыскалъ письмо Федосьева. Оно лежало не въ ящикѣ, а въ деревянной коробкѣ

на столѣ. Съ досадой замѣтилъ, что забылъ объ этихъ послѣднихъ по времени, письмахъ. Браунъ записалъ: rue d'Auge. Раздраженіе поднялось въ немъ снова. «Вотъ ужъ именно, l'habit ne fait pas le moine: не вытравилъ въ себѣ ни политическаго дѣятеля, ни даже сыщика. И какъ все глупо! Пожалуй, не стоитъ и ѣхать. Ну, да какъ было рѣшено, все равно, не надо ничего мѣнять»... Онъ бросилъ въ каминъ и письма изъ деревяной коробки.

Быстро пробѣжалъ послѣднюю главу новеллы. Положилъ одинъ экземпляръ въ карманъ, другой добавилъ къ папкѣ, на которой было написано «Ключъ». Аккуратно запечаталъ папку въ огромный толстый конвертъ, надписалъ адресъ, заполнилъ желтую квитанцію заказного письма и нѣсколько минутъ внимательно, съ удовольствіемъ, слѣдилъ за тѣмъ, какъ высыхаютъ на конвертѣ чернила. «Теперь, кажется, все? Развѣ «Федона» почитать?..»

У книжныхъ полокъ онъ стоялъ долго, позабывъ, что ему было нужно. «Съ книгами связано много радости, много гордости за свою породу, благодарю, благодарю отъ всей души... Вотъ скоро присоединится и «Ключъ». Сколько будетъ жить? Двадцать, тридцать лѣтъ? Здѣсь многія проживутъ меньше. Тѣ, что выдержали столѣтье, наперечетъ. Наберется и десятокъ тысячелѣтнихъ. Но и имъ скоро конецъ, темпъ все ускоряется, надвигается такое наводненіе книгъ, такая лавина печатной бумаги, что самая громкая литературная слава станетъ чистой фикціей: дай Богъ запомнить одни имена, гдѣ ужъ тутъ будетъ читать! Это, вѣрно, не помѣшаетъ умнымъ людямъ будущихъ вѣковъ такъ же тратить всю жизнь на писанье, какъ дѣлали многіе изъ насъ»... Вспомнилъ, что ему нуженъ былъ Платонъ, разыскалъ томики, но «Федона» среди нихъ не оказалось. «Досадно. Такъ и не буду до вече-

ра знать, есть ли безсмертіе», — подумалъ онъ, самъ удивляясь странному тону своихъ чувствъ: точно все онъ спорилъ съ какими-то воображаемыми обманщиками, — изъ тона этого больше не могъ выйти. Взглянулъ опять на часы: рано. «Да, такъ какъ же безсмертіе? Развѣ въ энциклопедическомъ словарѣ спѣшно навести справку»... Браунъ въ самомъ дѣлѣ взялъ томъ словаря и вернулся къ столу. Дрожь опять у него усилилась. «Безпомѣстные дворяне»... «Безсиліе половое — см. Анафродизія»... «Безсмертіе» — вотъ, вотъ, оно самое. «Безсмертіе, т. е. существованіе человѣческой личности, въ какой бы то ни было формѣ, и за гробомъ — представленіе весьма распространенное и встрѣчающееся на всѣхъ ступеняхъ человѣческой культуры, хотя»... «Нѣтъ, я тебя спрашиваю не объ этомъ». Онъ заглянулъ въ конецъ статьи. «При современномъ состояніи науки слѣдуетъ признать, что если до сихъ поръ и нѣтъ прямого философски-обоснованнаго доказательства въ пользу идеи безсмертія, то съ другой стороны нельзя также подыскать такого доказательства противъ нея»... Да, это очень цѣнный выводъ!..» Вдругъ у него подступили къ горлу рыданья. «Позоръ, позоръ», — сказалъ онъ вслухъ, стараясь сохранить тонъ бесѣды съ обманщиками. Браунъ поставилъ на мѣсто томъ словаря, заглянулъ въ лабораторію, вынулъ изъ шкапа банку съ бѣлыми кристаллами, посмотрѣлъ на нее у окна. «Богиня Кали, богиня Кали, какъ глупо», — пробормоталъ онъ. Затѣмъ онъ надѣлъ пальто и вышелъ.

XXXI.

Носильщикъ подбѣжалъ къ автомобилю и отошелъ разочарованно, увидѣвъ, что никакого багажа нѣтъ. Браунъ разыскалъ кассу. У окошка онъ не сразу вспомнилъ, куда именно ѣдетъ. Кассиръ смотрѣлъ на него съ нетерпѣніемъ. — «Какого класса?» — спросилъ онъ, услышавъ, наконецъ, названіе города. — «Перваго», — сказалъ разсѣянно Браунъ. — «Прямой или обратный?» — «Обратный, пожалуйста»... Браунъ остановился у кіоска, купилъ газету, направился къ перрону, все точно вспоминая, какъ путешествуютъ люди.

На указанномъ ему пути уже стоялъ роскошный коротенькій поѣздъ. Слышалась англійская рѣчь. У перваго вагона провожали какое-то важное лицо. Группа людей столпилась вокругъ высокаго господина въ необыкновенной дорожной шапочкѣ и въ превосходномъ новенькомъ пальто. Господинъ что-то говорилъ двумъ журналистамъ почтительно записывавшимъ его слова въ книжечку. «Же не рэвьендерэ па? Пуркуа же не рэвьендрэ па? Же ревьендрэ», — сказалъ господинъ. Браунъ пошелъ дальше. Вдругъ сзади его окликнулъ голосъ.

— Профессоръ! Александръ Михайловичъ, мое почтеніе.

Браунъ оглянулся. Къ нему подходилъ Нещеретовъ. Они поздоровались.

— Куда изволите ѣхать? Тоже въ Америку.

— Нѣтъ. Вы въ Америку?

— Не я. Мой хозяинъ.

Господинъ въ необыкновенной шапочкѣ перевелъ съ журналистовъ глаза на Брауна, пріятно улыбнулся и отдѣлился отъ провожавшихъ его людей. «Я сейчасъ вернусь», — бросилъ онъ журналистагъ внушительнымъ тономъ, какъ бы запрещая

имъ уходить до его возвращенія. — «Oui, maître», сказалъ журналистъ, пряча книжечку и дуя на руки отъ холода.

— Вы знакомы? — спросилъ Нещеретовъ.

— Какъ же, мы встрѣчались въ Питерѣ, — небрежно отвѣтилъ Альфредъ Исаевичъ. — Вы въ Америку, профессоръ.

— Нѣтъ.

— Жаль. Надѣялся на пріятнаго попутчика. А я на «Атлантикъ» и прямо въ Нью-Іоркъ.

Разговоръ продолжался двѣ минуты, но донъ-Педро успѣлъ сказать, что его вызвали въ Соединенные Штаты по телеграфу, что онъ едва получилъ порядочную каюту на «Атлантикѣ», да, пожалуй, и не получилъ бы, если-бъ американскій посолъ не былъ такъ любезенъ и не позвонилъ лично въ контору общества.

— Вы его не знаете? Это мой большой другъ, милѣйшій и любезнѣйшій человѣкъ. Если вамъ къ нему что нужно, распоряжайтесь мной, профессоръ, — съ чувствомъ сказалъ донъ-Педро.

— Благодарю васъ.

— Вы понимаете, что я могъ бы обойтись и безъ кабинъ-де-люксъ на «Атлантикѣ», но американскимъ репортерамъ показаться иначе, — сейчасъ же потеряютъ уваженіе. Вы, быть можетъ, спросите, зачѣмъ намъ съ вами уваженіе американскихъ репортеровъ, — смѣясь, добавилъ Альфредъ Исаевичъ, — мнѣ изъ него дѣйствительно не шубу шить. Но надо было считаться съ интересами дѣла, вѣдь дѣло многомилліонное... Вы, вѣрно, уже слышали? Я свожу Францію съ Соединенными Штатами.

— Альфредъ Исаевичъ затѣялъ суперфильмъ, — пояснилъ Нещеретовъ.

— Дэ... Донъ-Педро теперь какъ-то особенно произносилъ слово «да». — Суперъ не суперъ, а

фильмъ будетъ не изъ послѣднихъ. Я, видите ли, профессоръ, рѣшилъ всецѣло посвятить себя этому дѣлу. Надо, надо очистить кинематографъ отъ пошлятины, теперь надо больше, чѣмъ когда бы то ни было: именно онъ и создастъ то взаимное пониманіе между народами, о которомъ мечтаетъ Америка. Онъ же и пріобщитъ къ культурѣ сотни милліоновъ людей, — произнесъ съ силой Альфредъ Исаевичъ и подумалъ, что это надо сказать журналистамъ. Носильщикъ, странно вывернувъ назадъ руки, подкатилъ телѣжку съ великолѣпными чемоданами. За нимъ бѣжалъ, съ видомъ необычайно озабоченнымъ и значительнымъ, молодой человѣкъ тоже въ новенькомъ и удивительномъ пальто. — Сдалъ большой багажъ? — спросилъ донъ-Педро. — Это мой секретарь, дальній мой родственникъ, юноша выдающихся способностей, хочу сдѣлать изъ него человѣка въ нашей браншѣ, — сообщилъ онъ Брауну и простился. — Очень буду радъ поболтать съ вами въ поѣздѣ, профессоръ. Можетъ, вмѣстѣ позавтракаемъ въ вагонъ-ресторанѣ? А теперь покоя нѣтъ отъ журналистовъ, даже на вокзалѣ меня преслѣдуютъ!.. Дэ... Месье, кэске ву вуле анкоръ савуаръ? Дэмандэ, дэмандэ.

— Vos projets, maître, — сказалъ журналистъ, снова вынимая книжечку.

— Вуаля. Жэ вэ ву раконтэ...

— Переѣздъ-то каковъ будетъ при этой милой погодкѣ, — сказалъ Нещеретовъ. — Вдругъ потонетъ, и ни тебѣ генія, ни тебѣ суперфильма.

— А вы не ѣдете? — повторилъ свой вопросъ Браунъ.

— Нѣтъ, мнѣ куда ужъ! Провожаю хозяина, — отвѣтилъ Аркадій Николаевичъ, подчеркивая послѣднее слово съ явнымъ самобичеваніемъ. — Получаетъ тридцать тысячъ долларовъ и тантьему, — добавилъ онъ вполголоса съ насмѣшливой улыб-

кой, — относившейся не то къ малому, не то къ большому размѣру платы: тридцать тысячъ долларовъ составляли для Нещеретова прежде совершенно ничтожную цифру, а теперь чуть ли не богатство. — Главное, впрочемъ, тантьема. Порядочную можетъ заработать деньгу. Ну, прощайте, профессоръ, хозяинъ ждать не долженъ.

Онъ поспѣшно отошелъ, подавляя вдругъ поднявшуюся въ немъ злобу: ему хотѣлось на прощанье сказать хозяину, что онъ, Альфредъ Исаевичъ, никакой не геній, а мелкій невѣжественный, влюбленный въ себя репортеръ, что его суперфильмъ дрянь и что американскій посолъ не знаетъ даже его фамиліи. Но сказать это было невозможно. «Не то, не то», — говорилъ себѣ Нещеретовъ, стараясь успокоиться: онъ зналъ, что въ такихъ чувствахъ къ людямъ ничего, кромѣ муки, не было; относительное спокойствіе было въ чувствахъ прямо противоположныхъ, хоть и они успокаивали не всегда и ненадолго.

XXXII.

Несмотря на ранній часъ, уже горѣли фонари. Длинная скучная улица шла съ легкимъ уклономъ вверхъ. По сторонамъ одинаковые ветхіе трехэтажные дома съ худыми, бѣдными, тускло освѣщенными лавками. Браунъ разсѣянно вглядывался въ вывѣски. «Comité d'action artisanale de Calvados»... Это, вѣроятно, товарищи... Вотъ и маленькое утѣшеніе: о товарищахъ больше ничего никогда не буду слышать. «Jouber, cordonnier»... «Epicerie Savary»... Та ли еще улица? Да, rue d'Auge»... Ему сначала показалось страннымъ, что монастырь выстроенъ въ столь сѣромъ, не-поэтическомъ, безотрадномъ мѣстѣ. «А впрочемъ, такъ и должно быть: если въ душѣ ничего нѣтъ, то не поможетъ и «берегъ живописнаго озера»... А кто въ самомъ дѣлѣ ищетъ уединенія, благочестія, «созерцательной жизни», тому внѣшняя поэзія не нужна. Чѣмъ будничнѣе, тѣмъ, должно быть, и лучше: ты здѣсь посозерцай, по сосѣдству съ кальвадосскими товарищами»... И такъ странно, неестественно ему показалось, что Сергѣй Федосьевъ оказался въ монастырѣ, въ маленькомъ нормандскомъ городѣ, что, быть можетъ, здѣсь пройдутъ его послѣдніе годы... Впереди, высоко, горѣлъ огонекъ. Браунъ долго шелъ, разсѣянно на него глядя. Вдругъ онъ остановился пораженный, вспомнивъ свой сонъ. «Это огонь монастыря? Нѣтъ, просто фонарь»... Огонекъ горѣлъ какъ будто посрединѣ мостовой, вспыхивая дрожащей звѣздочкой. «Все вздоръ», — сказалъ себѣ Браунъ, — «самый обыкновенный фонарь»... Пошелъ дальше, стараясь туда не смотрѣть; но изрѣдка, вопреки своей волѣ, все-же бросалъ взглядъ вверхъ: огонекъ, приближаясь, становился ярче. «Все вздоръ... Да, жалкая, убогая улица... Очень холодно», —

вздрагивая думалъ онъ. — «Да, не стоило пріѣзжать... Послѣ разговора я зайду въ кофейню, надо выпить грога: тоже въ послѣдній разъ... Съ нимъ мы пили коньякъ въ Паласѣ... Что же онъ тутъ дѣлаетъ? Какъ проходитъ его день? Не круглыя же сутки созерцательная жизнь? Что дѣлаетъ по вечерамъ? Или вотъ такъ, какъ я, тоскливо бредетъ по этой скучной улицѣ, смотритъ на этотъ фонарь?..» Огонь теперь горѣлъ близкимъ, непріятнымъ, почти ослѣпительнымъ свѣтомъ.

По правой сторонѣ показался длинный, идущій уступами заборъ. Браунъ догадался, что это началась монастырская усадьба. За заборомъ уютно мигали огоньки. Тотъ огонь не имѣлъ къ монастырю отношенія. «Самый обыкновенный фонарь... Казался посрединѣ потому, что загибается улица... Сейчасъ увижу Федосьева. Какъ спросить? О чемъ разговаривать съ нимъ? Онъ и не ждетъ меня, — писалъ: «пріѣзжайте весной»... Не объяснять же, что мнѣ откладывать неудобно. Онъ предложилъ бы мнѣ с в о ю пещеру, для этого главнымъ образомъ и писалъ... У тѣхъ, «при современномъ состояіи науки», есть и съ одной стороны, и съ другой стороны, — у него оффиціально никакихъ сомнѣній быть не можетъ. Его пещера со всѣми удобствами, хоть на видъ казалась еще жестче, еще тоскливѣй моей. Но при нашемъ съ нимъ сходствѣ, при изомеріи, — какъ могутъ быть разныя пещеры? Вотъ сейчасъ и выяснимъ», — равнодушно думалъ Браунъ, подходя къ огромной коричневой двери съ глазкомъ, съ почтовымъ ящикомъ. Онъ позвонилъ. Огонь исчезъ за уступомъ стѣны.

Ничего не было слышно. Браунъ позвонилъ опять. На стѣнѣ была надпись: «Eau de la ville». «Да, обыкновенно, просто, безъ условной поэзіи, такъ и должно быть»... За дверью послышались неторопливыъ шаги. Что-то мелькнуло у глазка. Дверь от-

ворилась. На порогѣ показался старый монахъ, въ коричневой, дважды перевязанной веревкою рясѣ, съ умнымъ, спокойнымъ, добродушнымъ лицомъ. Браунъ поклонился. Въ ту же секунду онъ услышалъ издали звуки пѣнья.

— Что вамъ угодно? — ласково спросилъ монахъ.

— Нельзя ли увидѣть ...Федосьева? — сказалъ Браунъ, неясно вставивъ что-то передъ фамиліей. Монахъ попросилъ его войти. Обстановка передней была тоже самая простая, будничная, не поэтическая. Звуки пѣнья стали слышнѣе: вѣроятно, гдѣ-то въ сосѣднемъ помѣщеніи происходила спѣвка хора. Браунъ прислушался. Мелодія показалась ему знакомой. Слышны были и слова, — не латинскія, а французскія: «Ayez pitié de l'angoisse de tant de cœurs affligés»... — разобралъ Браунъ. Онъ только теперь съ неловкимъ чувствомъ замѣтилъ, что по дорогѣ усиленно настраивалъ себя на ироническій тонъ. «Нѣтъ, все это очень просто, хорошо, даже величественно. Никакой поэзіи и не надо»...

— Его сейчасъ нѣтъ, — отвѣтилъ монахъ. — Вы могли бы повидать его завтра утромъ, въ пріемные часы.

— Мнѣ необходимо сегодня. Никакъ нельзя?

Монахъ помолчалъ, внимательно въ него вглядываясь.

— Сейчасъ его нѣтъ. Вѣроятно, скоро вернется. Если вамъ необходимо, вы могли бы, пожалуй, навѣдаться опять, черезъ полчаса. Но лучше завтра...

— Если можно, я хотѣлъ бы сегодня, — повторилъ Браунъ, стараясь вспомнить мелодію, которую пѣлъ хоръ. Ему показалось, что это изъ Баха.

— Вы нашего прихода?

— Нѣтъ... Я живу въ Парижѣ и сегодня долженъ вернуться обратно.

— Тогда, конечно, приходите опять. Черезъ полчаса или черезъ часъ. Лучше черезъ полчаса.

— Очень благодарю.

Монахъ проводилъ его. Снова тяжело отворилась дверь. Браунъ поклонился и вышелъ, еще разъ поблагодаривъ монаха.

Было очень холодно. Браунъ пошелъ вверхъ по той же длинной угрюмой улицѣ. Людей встрѣчалось все меньше. «Да, это прекрасно. Но каждому свое: это не для меня. Я такъ не прожилъ бы и трехъ дней... Покой? Впереди и у него то же безпокойство, — большое безпокойство... Въ сущности, все, что онъ могъ сказать мнѣ, я тамъ услышалъ, ничего не добавишь. Вернуться черезъ полчаса? Зачѣмъ?..» Онъ вступилъ въ полосу свѣта и взглянулъ на часы: до отхода поѣзда въ Парижъ оставалось еще много времени. Браунъ увидѣлъ, что незамѣтно для себя подошелъ къ тому самому фонарю. Навстрѣчу по улицѣ спускался старый сгорбленный человѣкъ. «Да, зайти еще разъ можно, времени хватитъ. Но о чемъ же мы будемъ говорить? Ничего, кромѣ муки, изъ этого не выйдетъ... Развѣ написать ему? Тамъ былъ почтовый ящикъ... Да, конечно, разговаривать не надо и незачѣмъ...» Старый человѣкъ вошелъ въ полосу, освѣщенную фонаремъ. Въ ту же секунду Браунъ узналъ Федосьева.

У стойки убогой кофейни двое мастеровыхъ въ шерстяныхъ жилетахъ весело болтали съ толстой, на рѣдкость безобразной хозяйкой. За столомъ три человѣка играли въ карты. Всѣ оглянулись на Брауна. Черная труба стоячей печки сначала шла вверхъ, затѣмъ горизонтально вдоль стѣны, и снова поворачивала подъ прямымъ угломъ. «Всѣ три измѣренія», — подумалъ, садясь, Браунъ, — «тамъ,

говорятъ, будетъ четвертое... Но вотъ, надѣюсь, такой физіономіи тамъ, въ четвертомъ измѣреніи, не будетъ, и это тоже утѣшенье»... — «Дайте мнѣ», — сказалъ онъ хозяйкѣ и остановился. — «Дайте мнѣ Перно и бумаги для письма»...

За дверью теперь было совершенно темно. По стеклу наискось шла надпись бѣлыми буквами. «Отлично сдѣлалъ, что не окликнулъ его. Едва удержался, но отлично сдѣлалъ... Онъ состарился лѣтъ на двадцать... Если-бъ онъ увидѣлъ меня, онъ, вѣрно, сказалъ бы обо мнѣ то же самое. Что тамъ написано, на той сторонѣ?» — соображалъ Браунъ, глядя на черное стекло. «Двѣ... пять... девять буквъ. Такъ и мы отсюда стараемся разобрать, что т а м ъ, по ту сторону... Если разберу, то сегодня, а не разберу, такъ отложить на три мѣсяца? Увижу въ печати «Ключъ», послушаю, что скажутъ люди»... Онъ не столько прочелъ, сколько догадался: написано было «téléphone»... «Ну, вотъ, и тутъ выходитъ, что нельзя откладывать. Очень хорошо, слушаю-съ, очень хорошо»... Браунъ дрожалъ все сильнѣе. Отъ печки шелъ жаръ. «Этакъ можно и простудиться»... — «Eh bien, mon vieux, rien que pour le plaisir d'assister à ton enterrement»... — говорилъ мастеровой. Хозяйка захохотала. «De la bière, vous autres, là-bas!» — закричалъ одинъ изъ игроковъ. «Вотъ для нихъ Бахъ написалъ Magnificat... А я себя убѣждалъ много лѣтъ, что люблю народъ... Но это не идетъ къ дѣлу... Я думалъ не объ этомъ»... — Хозяйка принесла стаканъ съ желтой жидкостью, графинъ, истертый до дыръ бюваръ. Браунъ взглянулъ на нее съ отвращеніемъ, вынулъ карманное перо и принялся писать.

XXXIII.

«Простите, что не повидался съ Вами. Я для этого, собственно, пріѣхалъ изъ Парижа. Только что издали Васъ видѣлъ и не остановилъ: вдругъ почувствовалъ (именно почувствовалъ), что разговаривать намъ было бы очень тяжело. Вы, вѣроятно, восхваляли бы мнѣ преимущества Вашей пещеры передъ моею. Я не могъ бы отвѣтить Вамъ тѣмъже: своей не очень удовлетворенъ и не засижусь въ ней. Но Ваша мнѣ не годится. Искренно отдаю ей должное: ея достоинству, красотѣ и величію. Церковь давно уже (почти незамѣтно для насъ) стала одной изъ добрыхъ силъ, все болѣе рѣдкихъ въ мірѣ (какъ все напоминающее людямъ, что они всетаки не совсѣмъ звѣри). Мнѣ неясно, зачѣмъ Вы перемѣнили вѣру. Если-бъ отъ православія осталась одна его несказанно-прекрасная панихида, то и этого было бы достаточно для его «оправданія» — и, конечно, не только эстетическаго. Но это Ваше дѣло. Знаю только, что мнѣ съ Вами не по пути и теперь.

Разрѣшите послать Вамъ написанную мною новеллу, изъ той книги «Ключъ», о которой я когда-то Вамъ разсказывалъ. Скоро книга эта выйдетъ (сегодня отослалъ въ типографію); надѣюсь, Вы ее прочтете. А до того прочтите новеллу. Она называется «Деверу». Я хотѣлъ было назвать ее «Магдебургская кошка», да ужъ очень было бы литературно, т. е. гадко.

Быть можетъ, Вы истолкуете мою новеллу, какъ капитуляцію передъ Вашимъ кругомъ мыслей, — и старымъ, и нынѣшнимъ. Это будетъ невѣрно. Нѣтъ, въ ней третій выходъ: не Вашъ и не мой. Общаго, годнаго для всѣхъ рѣшенія задачи — основной задачи существованія — нѣтъ и, по моему, быть

не можетъ. Думаю, что третій выходъ самый лучшій и достойный, — для него нужно быть Декартомъ! Я не Декартъ, хоть въ мѣру силъ, въ лучшіе свои часы, старался жить какъ надо: на высотахъ. Лучшихъ часовъ было не такъ много. «Начать новую жизнь»? Какую-нибудь новую жизнь можно было бы придумать. Но поздно мнѣ искать 1002-ую ночь.

Изъ пещеры человѣкъ вышелъ, въ пещеру и возвращается, только въ другую. Въ сущности, такъ же смотрите на дѣло и Вы, — Вамъ угодно выражать это иными словами. Не могу сказать, чтобы слова Ваши обо мнѣ были очень добры. Есть люди, притворяющіеся праведниками, — этотъ видъ притворства тоже можетъ войти въ привычку: результатъ превосходный. Вы, Сергѣй Васильевичъ, къ числу такихъ людей не принадлежите. Въ кротости надо упражняться долго и ежедневно, — вотъ какъ Бахъ каждое утро, чтобы набить себѣ руку, писалъ по безсмертному хоралу. Не скрою, многое раздражило меня въ письмѣ Вашемъ. Приписываю это впрочемъ тому, что Вы всегда были спорщикомъ (большой недостатокъ для политическаго дѣятеля). Не знаю, зачѣмъ Вы заговорили о нашемъ прошломъ. Политика больше ни Васъ, ни меня не интересуетъ. Думаю, многое можно бы забыть послѣ всего того, что случилось, послѣ нашей совмѣстной работы. Во всякомъ случаѣ не могу доставить Вамъ удовольствіе: не могу признать, что Вы во всемъ были правы, а я во всемъ ошибался.

Охоты къ такому спору у меня нѣтъ никакой. Если Вы ограничитесь утвержденіемъ, что для тѣхъ, кто такъ смотритъ на міръ, на жизнь и особенно на людей, какъ смотрю я, какъ смотрѣли прежде Вы, что для нихъ больше подходитъ реакціонная политическая «вѣра», чѣмъ либеральная, — мои возраженія сохранятъ силу, хоть горячности въ нихъ еще уба-

вится. Но Вы хотите быть правымъ до конца, полностью, на всѣ сто процентовъ. Нѣтъ, я долженъ очень съ Вами поторговаться: каяться, Сергѣй Васильевичъ, такъ ужъ вмѣстѣ. Міръ лежалъ и лежитъ во злѣ, попытка же коренной его починки почти неизбѣжно влечетъ за собой зло, въ тысячу разъ худшее. «Мы» это упустили изъ виду, — «нашъ» грѣхъ. Но Вы, сторожившіе свой міръ съ его долей зла, отчего вы такъ легко все отдали, почему ничего не уберегли? Подумайте, какой принципъ былъ у Васъ, какая давность для историческихъ грѣховъ, какая мощная инерція столѣтій! Подумайте: за всю исторію Россіи лучшимъ, умнѣйшимъ царемъ нашимъ былъ Лжедимитрій, первый русскій либералъ, демократъ и западникъ, — погибъ же онъ оттого, что былъ самозванцемъ: иными словами, нельзя было доказать, что онъ въ самомъ дѣлѣ родной сынъ такого хорошаго человѣка, такого прекраснаго царя, какъ Иванъ Васильевичъ! Вотъ какой капиталъ у васъ былъ въ рукахъ, и вы его отдали почти безъ сопротивленія. Только этимъ доводомъ и пользуюсь: въ спорѣ с ъ В а м и онъ долженъ замѣнить сотню другихъ. Я плохо вѣрю въ медицину, но не думаю, что надо лечиться у знахарей. И если «Бюхнеромъ и Молешотомъ» корили «насъ» почти полвѣка, то, быть можетъ, было бы справедливо и въ философіи, и въ политикѣ не совать теперь «Бюхнера и Молешотта»-наизнанку. Мосье Омэ дѣйствительно глупъ, однако не всѣ надъ нимъ издѣвающіеся много умнѣе его.

«Демократіей» же Вы меня попрекаете, право, напрасно. Дарю Вамъ своихъ тяжеловѣсовъ глупости, они стоятъ Вашихъ. Исторія государственной власти — смѣна однихъ видовъ саранчи другими. И мы съ Вами не для того разошлись по пещерамъ, чтобы обсуждать, какая саранча лучше. Но ужъ ес-

ли обсуждать, то, по моему, гораздо лучше и безвреднѣе наша. Въ демократіи мнѣ нисколько не дорога сущность: чувствую себя въ состояніи обойтись безъ народнаго голосованія; но зато мнѣ очень нужны и дороги ея «аксессуары». Мнѣ дорога свобода мысли (этого подарка я Вамъ, простите, не сдѣлаю). Далъ бы ее царь, принялъ бы его съ благодарностью: такъ же, если-бъ далъ ее диктаторъ, — хоть мнѣ диктаторы, въ отличіе отъ царей, въ большинствѣ очень противны просто какъ люди. Что-жъ дѣлать, у царей и диктаторовъ ея не получишь. Я не знаю, былъ ли у Васъ въ свое время «идеалъ»? Плохо вѣрю въ идеалы и въ идеализмъ государственныхъ людей. Но если какой-нибудь, «феодальный», идеалъ былъ, то признайте, что отъ него ничего не осталось: тузъ побилъ короля. Можетъ быть, исторія расправится и съ тузами (любви къ нимъ большой не чувствую),— глава «возвращеніе монарховъ» мало вѣроятна, хоть и невозможнаго въ ней нѣтъ ничего. Въ эстетическомъ смыслѣ ее можно было бы и привѣтствовать, я не отрицаю.

Мнѣ совѣстно писать Вамъ все это — сплеча, кратко, плоско. И у меня вѣдь есть или еще недавно была своя beata solitudo. Не такая beata, какъ Ваша, но на улицу выходить не хочется. Не сталъ бы и сейчасъ думать объ улицѣ, если-бъ не странныя замѣчанія Вашего письма. Актеръ, игравшій десятилѣтіями королей, и по уходѣ изъ театра ласково-величественно киваетъ головой знакомымъ. Не вытравили и Вы въ себѣ стараго человѣка. Что-жъ, и Вамъ, и мнѣ много простится, потому что (не сердитесь) оба мы много ненавидѣли.

Съ гораздо большей силой это впрочемъ сказалось въ другомъ Вашемъ замѣчаніи, — объ «убійствѣ» Фишера. Признаюсь, съ немалымъ удивленіемъ убѣдился я, что ночной нашъ разговоръ въ Пе-

тербургѣ, наканунѣ нашего бѣгства, какъ будто не вполнѣ разсѣялъ Вашу давнюю idée-fixe. Очень объ этомъ сожалѣю, помочь Вамъ никакъ не могу: я не спеціалистъ по борьбѣ съ навязчивыми идеями. Я Вамъ тогда сказалъ чистую правду. Отлично понимаю, что въ романтическомъ и иныхъ смыслахъ было бы превосходно, если-бъ я убилъ Фишера и меня по этому случаю замучила совѣсть. Но я его не убивалъ: его и вообще не убивалъ никто, онъ умеръ естественной смертью, именно такъ, какъ я Вамъ разсказалъ. Магдебургская кошка повела Васъ по ложному слѣду (все забываю, что Вы еще не читали моей новеллы). Васъ это поразило какъ развѣдчика: поэта или философа могло бы поразить символикой, о которой я распространяться не стану. Но катастрофой мнѣ эта исторія не грозила, — грозила только непріятностями: ужъ очень грязны были и Фишеръ, и его квартира, и его женщины, и его смерть. «Огласка чрезвычайно непріятна», какъ Вы же мнѣ когда-то говорили. Мнѣ и самому странно, что, мало боясь въ жизни подлинныхъ опасностей, не слишкомъ боясь смерти, я непріятностей всегда боялся, боялся даже «общественнаго мнѣнія», — вотъ какъ слоны панически боятся крысъ.

Помните ли Вы нашъ разговоръ о мірахъ А и В? Вы тогда его отнесли ко мнѣ не только ядовито, но и вѣрно. Мой міръ В былъ не хуже и не лучше, чѣмъ у другихъ людей. Но показывать его сыщикамъ и газетчикамъ у меня охоты не было. Позднѣе, передъ нашимъ бѣгствомъ, Вы мнѣ говорили, что «уваженіе къ самому себѣ» выдумали англійскіе сквайры. У меня это выдуманное чувство было, и мой міръ В самъ по себѣ на него не очень посягалъ, — посягнула бы на него именно улица. Вотъ и все. Воспоминаніе объ этомъ дѣлѣ и сейчасъ одно изъ самыхъ гадкихъ въ моей жизни: ужъ очень

близко отъ меня проскользнула тогда поганая кошка! Но не менѣе постыдныя воспоминанія есть у каждаго изъ насъ. У кого, Сергѣй Васильевичъ нѣтъ міра В? (у всѣхъ онъ, въ сущности, сходный). Во всякомъ случаѣ, не было въ этомъ дѣлѣ, т. е. въ моей въ немъ роли, ни трагедіи, ни фарса, и никакого прямого отношенія къ дальнѣйшей моей судьбѣ оно не имѣло, — развѣ только, что жизнь стала мнѣ еще противнѣе, а она была мнѣ достаточно противна и до тѣхъ поръ. Разумѣется, я нисколько не исключаю возможности, что Вы и слѣдователь Яценко, при иномъ стеченіи обстоятельствъ, могли признать меня убійцей Фишера или тайнымъ большевистскимъ агентомъ. Отчего бы и нѣтъ? Въ жизни нѣтъ ничего кромѣ случая, — обычно сквернаго. Остается удивляться, что находятся умные люди, серьезно убѣжденные въ существованіи направляющей силы въ мірѣ, и даже силы разумной, и даже силы доброй! Въ тотъ мигъ, когда земля столкнется съ другой планетой и разлетится вдребезги, люди эти скажутъ, что новая разумная жизнь начинается на Сатурнѣ.

Обо всемъ этомъ, т. е. о дѣлѣ Фишера, мнѣ и смѣшно, и неловко писать Вамъ. Не въ моей, а въ Вашей біографіи это страница знаменательная: пересмотрите, съ этой точки зрѣнія, всю свою прежнюю жизнь. Забавнѣе всего будетъ, если Вы и сейчасъ мнѣ не повѣрите. Ужъ очень видно сильна въ Васъ эта навязчивая идея, если Вы теперь, не съ Фонтанки, а съ rue d'Auge, сочли возможнымъ написать мнѣ объ этой исторіи, символической во многихъ отношеніяхъ. Понимаю конечно, что у Васъ (кромѣ рецидива Фонтанки) могутъ быть соображенія отъ rue d'Auge: на случай, если-бъ Ваше толкованіе было вѣрнымъ, Вы такъ сказать, протягиваете мнѣ ключъ къ Вашей пещерѣ. Искренно благодарю, но воспользоваться не могу: и толкованіе

Ваше выдумано отъ перваго слова до послѣдняго, и повторяю, дѣлать мнѣ въ Вашей пещерѣ нечего. Даже въ томъ случаѣ, если т а м ъ безсмертный духъ кошки не издѣвается надъ безсмертнымъ духомъ мыши.

Боюсь, что письмо мое сумбурно, — я нездоровъ или, вѣрнѣе, тяжело боленъ, физически во всякомъ случаѣ, быть можетъ и душевно. Чувствую, что впадаю, въ послѣднее время все чаще, въ плоскій и грубый тонъ. Не сочтите этого неуваженіемъ къ Вамъ и къ Вашему новому кругу мыслей: повторяю, отношусь къ Вашей пещерѣ съ величайшимъ уваженіемъ и съ завистью. Оба мы разсчитались съ міромъ, — Вашъ счетъ много счастливѣе, чѣмъ мой. Каждому свое. Я грѣшную смерть Пушкина всегда понималъ лучше, чѣмъ благостную смерть Толстого. Вы упрекаете меня въ элементарномъ подходѣ къ жизни, — «суета суетъ, это старо, надо бы придумать что-либо другое». Ничего не подѣлаешь, жизнь элементарна и въ самой сложности своей. Отъ всей души надѣюсь, что для Васъ не придетъ часъ паломничества къ Соломону.

Вы пишете о надвигающейся на міръ катастрофѣ. Не спорю. Все то, что привиллегированные люди могли отдать безъ кровопролитія, они уже отдали. Въ остальное они вцѣпятся зубами — и будутъ правы ибо на смѣну имъ идутъ дикари подъ руководствомъ прохвостовъ. Уголовный кодексъ правъ: грязь лучше крови, жулики лучше бандитовъ, тѣмъ болѣе, что жуликъ сидитъ и въ бандитахъ. А выбирать изъ разныхъ шаекъ надо все-таки наименѣе опасную.

Внѣшнему хаосу соотвѣтствуетъ хаосъ внутренній: распадъ душъ, j'en sais quelque chose. Распалась и моя душа, — что-жъ мнѣ жалѣть о жизни! Большое, очень большое явленье медленно выпадаетъ изъ міра, замѣнить его не-

чѣмъ, и пустоту скорѣе всего заполнитъ дрянь, которую, послѣ нѣкоторой давности, назовутъ гораздо вѣжливѣе, — какъ вѣковую грязь называютъ патиной времени. Появятся, уже появились новые идеалисты. Идеализмъ ихъ наглый и глупый, зато у нихъ твердая вѣра въ себя, у нихъ душевная цѣлостность, въ своей мерзости еще невиданная въ исторіи, — будущее принадлежитъ идеалистамъ хамства. Но мнѣ все это теперь довольно безразлично:

Sois ce que tu voudras, nuit noire, rouge aurore...

Желаю Вамъ — безъ увѣренности — счастья, всякаго, какого хотите, — В а ш е г о.

Глубоко уважающій Васъ Александръ Браунъ.

XXXIV.

Черный кранъ вцѣпился въ телѣжку, медленно поднялъ ее и потащилъ куда-то вдаль. Сбоку дрогнула и передвинулась на одно дѣленье красная огненная стрѣлка огромныхъ часовъ. Браунъ, поднявъ воротникъ пальто, медленно ходилъ взадъ и впередъ по перрону. За стекломъ, въ уютно-освѣщенной небольшой комнатѣ пожилой краснолицый человѣкъ съ видимымъ удовольствіемъ ставилъ печать на листкахъ. Слышался однообразный, неизвѣстно откуда идущій свистъ. Слегка пахло гарью, и запахъ этотъ рождалъ неясныя, старыя, пріятно-волнующія воспоминанія. Впереди свѣтились разноцвѣтные, точно игрушечные, огни. За рѣшеткой клѣтки тяжело опускалась въ подземелье, какъ въ преисподнюю, грузовая подъемная машина.

Далеко на полотнѣ низко надъ землей передвигалась красная свѣтящаяся точка, — кто-то шелъ съ фонаремъ вдоль стоявшаго на запасномъ пути нескончаемо-длиннаго товарнаго поѣзда. Черная старушка спала въ креслѣ, въ ярко освѣщенной комнтѣ съ стекляной дверью. Краснолицый человѣкъ все продолжалъ ставить печати, — и было въ немъ, въ его листкахъ, въ освѣщеніи комнатки, въ стоявшемъ у стѣны большомъ кожаномъ диванѣ что-то уютное, ласковое. «Вотъ такъ и надо было прожить свой вѣкъ... Но это отъ меня не зависѣло... Она вотъ какъ тотъ кранъ, — подхватитъ, перенесетъ, куда-то выброситъ... А если бороться нельзя, то маленькая — очень маленькая — доля утѣшенія въ томъ, что самъ помогаешь крану, по крайней мѣрѣ въ выборѣ времени...»

На перронъ стали выходить люди. Одуряюще-протяжно просвистѣлъ свистокъ. Краснолицый человѣкъ съ сожалѣніемъ отложилъ листки и вышелъ

изъ своей комнаты. Черная старушка проснулась, ахнула и бросилась къ носильщику. «Нѣтъ, нѣтъ, это скорый поѣздъ въ Парижъ. До вашего еще больше часа», — сказалъ носильщикъ, видимо очень этимъ успокоивъ старушку. Она вопросительно взглянула на Брауна: вѣрно ли, что поѣздъ въ Парижъ? — и тотчасъ испуганно отвернулась. Два красныхъ огонька сбоку надъ полотномъ погасли, вспыхнули желтые, опять страшно загудѣлъ свистокъ и вдали показался огненный глазокъ паровоза. Дѣвочка, провожавшая отца, съ ужасомъ, какъ къ пропасти, приблизилась къ рельсамъ и, скосивъ голову, заглянувъ въ сторону, попятилась назадъ. «Elise, mais tu es folle!.. — послышался отчаянный крикъ. Съ тяжелымъ грохотомъ, сдерживая ходъ, подкатилъ скорый поѣздъ. Отецъ семейства, наскоро всѣхъ перецѣловалъ, подхватилъ лѣвой рукой чемоданъ, и съ рѣшительнымъ видомъ принялся отпирать тяжелыя дверцы вагона.

Мэтръ-д'отель съ легкимъ неудовольствіемъ сказалъ, что обѣдъ начнется только въ 7 часовъ 30. Браунъ, не отвѣчая, сѣлъ у окна. Другой лакей помоложе, пробѣгавшій по вагону съ непостижимо-громадной грудой сѣро-голубыхъ тарелокъ на одной рукѣ, остановился передъ нимъ съ вопросительнымъ видомъ. «Un porto sec», — сказалъ Браунъ, глядя на него мутнымъ взглядомъ. «Oui, Monsieur... Un porto rouge, un», — съ удовольствіемъ прокричалъ, уносясь куда-то, лакей. За окномъ сверкнули красные огни. «Вотъ и вокзала больше не увижу... Тогда и объ этой будкѣ пожалѣй, старый дуракъ!..»

Поѣздъ все ускорялъ ходъ. Уютно-печально сталъ накрапывать дождь. Капли неровно стекали по черному стеклу. Сверкали огни, металась вверхъ и падала телеграфная проволока. Лакей принесъ

портвейнъ. «Посѣтите Шотландію», — приглашало объявленіе на красномъ деревѣ стѣны. «Монте-Карло, спортъ и солнце», — заманивало другое объявленіе. Когда-то все это составляло одну изъ лучшихъ радостей жизни. Въ этихъ нехитрыхъ объявленіяхъ тоже было что-то непостижимо-сладостное, какъ въ старыхъ, заигранныхъ, именно въ заигранности прелестныхъ мелодіяхъ, вродѣ пѣсенки «Санта Лючія» или интеремеццо «Сельской Чести», которыя подтягиваетъ каждый кто ихъ слышитъ. Браунъ вспомнилъ, что купилъ въ Парижѣ газету. Въ обзорѣ печати ему бросилось въ глаза имя Серизье. Приводились наиболѣе замѣчательные отрывки изъ его очередной статьи: «Notre foi demeure». Браунъ взглянулъ на третью страницу и убѣдился, что читать не можетъ.

Суровый мэтръ-д'отель подошелъ къ нему и сказалъ, что сейчасъ начнется обѣдъ. — «Это мѣсто занято, но если мосье угодно остаться, то еще есть свободные столы». — «Да, да», — отвѣтилъ Браунъ съ внезапнымъ оживленіемъ, — «что у васъ сегодня? Вѣдь à la carte нельзя?» — «Къ сожалѣнію, во время обѣда невозможно», — мягче отвѣтилъ мэтръ-д'отель, — «но если мосье угодно заказать какое-либо экстра, то я скажу повару»... — «Вотъ, вотъ», — торопливо сказалъ Браунъ, — «и вина получше. Какого бы вина?..» Онъ долго изучалъ карту, — «всѣхъ въ послѣдній разъ не попробуешь», — и спросилъ шампанскаго. — «Полбутылки прикажете?» — «Цѣлую бутылку... Или нѣтъ, полбутылки шампанскаго и полбутылки вотъ этого Шато-Латуръ. А до того дайте мнѣ еще портвейна... Или лучше, чего-нибудь другого. У васъ есть хересъ?» — «Превосходный, изъ нашего запаса, мосье можетъ быть увѣренъ, что это»... — «Вотъ, вотъ, дайте мнѣ хереса». Смягчившійся и изумленный мэтръ-д'отель объявилъ, что мосье можетъ оста-

ваться на этомъ мѣстѣ, если оно ему нравится: «Номеръ я перемѣню». — «Ахъ, да, ради Бога!..»

Въ вагонъ-ресторанъ входили хорошо одѣтые, по дорожному-празднично настроенные люди, и, весело переговариваясь, занимали мѣста. Браунъ жадно ѣлъ, пилъ и, вздрагивая, что-то бормоталъ, къ недоумѣнію сидѣвшаго противъ него старичка въ сѣромъ костюмѣ. — «Vous dites, Monsieur?» — спросилъ, наконецъ, вѣжливо старичекъ. «Папиросы Честерфильдъ», — сказалъ Браунъ, глядя поверхъ головы старичка на объявленіе. Старичекъ вытаращилъ глаза и поспѣшно налилъ себѣ минеральной воды. Дождь шелъ все сильнѣе, на створкахъ стекла обозначились мутныя пятна, какъ отъ крошечныхъ пальцевъ. Браунъ пилъ кофе, ликеры. «Непріятная дрожь... Значитъ, простудился тамъ, у печки, это очень печально»... — «Очень печально», — повторилъ онъ вслухъ. Вѣжливый старичекъ расплатился, не допивъ липовой настойки, и ушелъ съ легкимъ, ни къ кому въ частности не относившимся поклономъ. Вагонъ сталъ пустѣть.

«Но, можетъ быть, рано, какъ ни безупречно разсужденіе? Можетъ быть, и второй ударъ будетъ нескоро? Развѣ нельзя покончить съ собой и послѣ того?» — «Нѣтъ, тогда будетъ поздно, тогда параличъ сознанія и воли»... — «Но развѣ параличъ наступаетъ мгновенно? Проблески сознанія остаются, и не такъ ужъ хитро произвести послѣдній опытъ... Вотъ, Монте-Карло, sport and sun. Отчего не съѣздить еще на югъ? Развѣ можно умереть, не простившись съ Италіей? Не увидѣвъ въ послѣдній разъ Венеціи, Рима, не услышавъ аромата апельсинныхъ садовъ?.. Да и безъ Италіи живутъ вѣдь люди, находятъ чѣмъ жить, есть вѣдь простая жизнь: «какая хорошенькая!..» «малый шлемъ безъ козырей!» «выпьемъ-ка водочки!..» Вѣдь т у д а не опоздаешь»... Всякій разъ, когда ему приходили въ голову

эти мысли, тысячу разъ передуманныя, онъ испытывалъ невообразимое облегченіе, — такъ безпрестанно спасался и снова погибалъ уже не одну недѣлю. Лакеи убрали скатерти, на столахъ появился войлокъ, убавили свѣта въ другой части вагона. Изъ кухни выглянулъ поваръ, съ распареннымъ багровымъ лицомъ.

— Мосье, черезъ десять минутъ мы будемъ въ Парижѣ, — сказалъ мэтръ-д'отель.

— Да, я очень радъ, — отвѣтилъ Браунъ. Онъ всталъ и пошелъ, пошатываясь, къ двери. Мэтръ-д'отель смотрѣлъ ему вслѣдъ съ такими же недоумѣніемъ и испугомъ, съ какими смотрѣли на Брауна всѣ люди, встрѣчавшіе его въ тотъ вечеръ.

XXXV.

Свистки стали учащаться. Поѣздъ остановился. Браунъ вышелъ изъ вагона и направился къ выходу. У рѣшетки его остановилъ контролеръ. Разстегнувъ пальто, онъ досталъ билетъ изъ жилетнаго кармана, почувствовалъ холодъ и страшную усталость. Отдѣлившись отъ толпы пассажировъ, Браунъ отошелъ къ боковымъ дверямъ и, дрожа всѣмъ тѣломъ, простоялъ тамъ нѣсколько минутъ, безсмысленно вчитываясь въ иностранную надпись надъ дверьми. «Liverado?»... Что такое Liverado?.. Отъ чего liverado? Да, все это былъ вздоръ: и Венеція, и запахъ апельсинныхъ садовъ, и Римъ... Изъ за шампанскаго мѣнять рѣшеніе невозможно. Все лучше, чѣмъ то... Трусомъ никогда не былъ, не былъ и неврастеникомъ... «Liverado de pakajoi»... Это не освобожденіе, это багажъ, а я пьянъ или совсѣмъ схожу съ ума, и некстати: кончать съ собой, такъ просто, спокойно, не работать на психіатровъ, — «въ состояніи невмѣняемости». Хороша невмѣняемость!..» Вдругъ наверху загремѣлъ голосъ: «Allo! Allo!..» Браунъ съ ужасомъ поднялъ голову. Громкоговоритель извѣщалъ о предстоящемъ отходѣ поѣзда. «Да, «повѣстка», «голосъ свыше», пора»... Онъ сорвался съ мѣста и пошелъ къ выходу. Надъ лѣстницей, на зеленомъ барабанѣ, вспыхнула бѣлыми огнями надпись: «N'avez-vous rien oublié?..»

Накрапывалъ мелкій холодный дождь. Бульваръ, понемногу оправлявшійся отъ войны, горѣлъ огнями, отсвѣчивавшимися въ окнахъ магазиновъ, въ засыпанныхъ листьями лужахъ у бортовъ тротуара. Всѣ эти огни — золотые, красные, зеленые, синіе, постоянные, вспыхивающіе, горизонтальные, вертикальные, косые, размѣщенные всюду, гдѣ только

можно было ихъ устроить, говорили одно и то же: купи, возьми, продается. И то же говорили женщины, въ одиночку и попарно гулявшія по пустому бульвару. Браунъ шелъ, все ускоряя шаги, не зная, куда и зачѣмъ онъ идетъ. Проститутки оглядывали его бѣглымъ взоромъ, и не одной изъ нихъ казалось, что съ этимъ иностранцемъ дѣло было бы не безнадежно. «Tu ne viens pas, chéri?» — сказала проститутка. «Liverado de pakajoi», — произнесъ онъ и засмѣялся. Женщина отшатнулась. «Il est un rien dingo, le pauvre type!», — сказала она подругѣ. «Вотъ до того дома еще дойду», — объяснилъ себѣ онъ, съ трудомъ справляясь съ дыханіемъ. Далеко впереди, сверху внизъ, во всю высоту пятиэтажнаго дома, огромными красными буквами, по одной, зажигалась и гасла какая-то вертикальная надпись. «Кинематографъ? Притонъ? Да, да, старайтесь! Это для васъ старались Фарадеи, Эдиссоны... Для васъ — для насъ... Благодарить, такъ и за это»... Дрожащій отъ холода человѣкъ въ легкомъ пальто, въ продыравленномъ котелкѣ, нерѣшительно протянулъ ему рекламу лечебницы венерическихъ болѣзней. «Вотъ, вотъ — и васъ благодарю», — по русски вслухъ сказалъ Браунъ. На углу боковой улицы висѣла огромная, многоцвѣтная, съ желто-красными фигурами, чудовищная афиша кинематографа, залитая синимъ свѣтомъ, страшная неестественнымъ безобразіемъ. «На донъ-Педро работали, товарищъ Фарадей... Это судьба хочетъ облегчить мои послѣднія минуты: въ самомъ прекрасномъ изъ городовъ показываетъ все уродливое... Да, такъ уходить легче... Знаю, знаю, что есть другое, мнѣ ли не знать? Прощай, Парижъ, благодарю за все, за все»... Онъ почти бѣжалъ. Проѣзжавшій шофферъ замедлилъ ходъ, вопросительно на него глядя. Браунъ, задыхаясь, сказалъ свой адресъ. «Только скорѣе, прошу васъ, возможно скорѣе, я спѣ-

шу»... Сердце у него билось все сильнѣе. «Можетъ не выдержать, это было бы еще проще. Хоть и такъ все просто, все очень, очень просто»...

Поднялъ стекло вытяжного шкафа и вставилъ въ колбу заранѣе приготовленную пробку съ двумя отверстіями: въ одномъ была воронка съ краномъ, въ другомъ отводная трубка. Кранъ воронки вращался въ отверстіи туго. Браунъ старательно смазалъ его, вставилъ опять, насыпалъ въ колбу ціанистаго калія изъ банки, въ воронку налилъ кислоты. И тотчасъ, отъ привычныхъ лабораторныхъ дѣйствій, къ нему вернулось спокойствіе. «Послѣдній опытъ, но такой же, какъ всѣ другіе... Первый былъ большой радостью, можетъ, лучшей въ жизни. Ну, и отлично. Всего понемножку... Хватитъ и науки, хватитъ и открытій. Обезпечено мѣсто въ двухъ ближайшихъ изданіяхъ Бейльштейна, а то и въ трехъ», — съ улыбкой подумалъ онъ уже совершенно спокойно.

Онъ сѣлъ въ кресло у письменнаго стола, съ удовлетвореніемъ прислушиваясь къ себѣ. «Вотъ такъ, такъ отлично, произведу послѣдній опытъ, такъ же, какъ всѣ другіе: не спѣша, не волнуясь, прилично, какъ подобаетъ настоящему человѣку. Что, страшно, настоящій человѣкъ? Страшно, да не очень. Что же обдумать еще? «Припомнить всю свою жизнь»? Нѣтъ, надобности никакой нѣтъ. Но умираешь только разъ, надо же почувствовать, что сейчасъ умрешь... Вотъ какъ тамъ на вокзалѣ: «Вы ничего не забыли?..» Нѣтъ, кажется, не забылъ ничего. «Прошу никого не винить»?.. Разберутъ и такъ»... Мысль его перебѣгала по самымъ разнымъ предметамъ, останавливаться ни на чемъ не было ни силы, ни охоты. «Да, можно приступить»... Почему-то на цыпочкахъ (хоть въ квартирѣ никого не было) онъ обошелъ всѣ комнаты, вернулся, затѣмъ

еще постоялъ передъ книжными полками. «Жаль, «Федона» нѣтъ, очень жаль»... Вышелъ въ лабораторію, широко, настежь, отворилъ окно, стало холодно. «Простуженъ, совсѣмъ простуженъ», — подумалъ онъ съ той же слабой улыбкой. Лицо его было смертельно блѣдно. Туманъ заволокъ садъ съ голыми деревьями. Дождь прекратился. Въ беззвѣздномъ небѣ не было видно ничего. Со вздохомъ Браунъ оторвался отъ окна, подошелъ къ вытяжному шкапу, сѣлъ на высокій табуретъ. Сердце опять застучало. Расширенными глазами онъ взглянулъ въ послѣдній разъ по сторонамъ, наклонилъ голову и взялъ въ ротъ старательно оплавленный конецъ отводной трубки. Кранъ повернулся легко, гладко, безъ скрипа.

XXXVI.

«UN CHIMISTE RUSSE SE SUICIDE A PARIS.»

«Un savant chimiste russe, M. Alexandre Braun, s'est suicidé hier soir à Paris, dans son domicile, rue..., en respirant une forte dose d'acide cyanhydrique qu'il a fait dégager dans un curieux appareil de sa construction. Le docteur Braun, grand ami de la France, habitait notre pays depuis de longues années. On lui doit des recherches très appréciées pour lesquelles il a reçu, il y a quelques années, le fameux prix Ravy. Il s'occupait aussi de philosophie. Sa disparition prématurée sera très vivement ressentie dans les milieux scientifiques français et étrangers, ainsi que dans la colonie russe où il ne comptait que des amis.

L'enquête confiée à M. Duruy, commissaire de l'arrondissement, put établir que M. Graun avait des ressources largement suffisantes pour subvenir à ses modestes besoins de savant. On attribue son acte désespéré aux chagrins d'amour doublés d'une crise de nostalgie aigüe.

M. Duruy a pu recueillir des renseignements utiles à son enquête chez une dame de la plus haute société britannique, très liée avec le défunt. Cette dame que nous avons pu approcher un instant et dont l'élémentaire discrétion nous retient de dévoiler le nom, parle français sans le moindre accent. Paraissant très affectée, elle a librement laissé éclater sa douleur.

Après les formalités d'usage, le corps a été transporté à l'Institut médico-légal.»

ПОСЛѢСЛОВІЕ КЪ ТРИЛОГІИ «КЛЮЧЪ» — «БѢГСТВО» — «ПЕЩЕРА»

Второй томъ «Пещеры» заканчиваетъ трилогію, надъ которой я, съ перерывами, работалъ болѣе десяти лѣтъ. Боюсь, что читатели ея конца давно забыли начало. Писатель не всегда пописываетъ, но читатель почти всегда почитываетъ, и это не можетъ быть иначе, особенно въ наше время. Авторъ не въ правѣ требовать чрезмѣрно напряженнаго вниманія отъ людей, читающихъ его книги. Поэтому, быть можетъ, ему позволительно кое-что разъяснять и самому (согласно довольно многочисленнымъ примѣрамъ въ литературномъ прошломъ). Я этимъ правомъ не воспользуюсь; хотѣлъ бы сказать лишь нѣсколько словъ.

Иностранный критикъ первыхъ двухъ томовъ трилогіи въ предположительной формѣ обратилъ вниманіе на то, что она отдаленно, намеками, связана съ моей исторической серіей «Девятое Термидора» — «Чортовъ Мостъ» — «Заговоръ» — «Святая Елена, маленькій островъ»: какъ будто иногда

проходятъ тѣ же или сходныя положенія, — критикъ выразилъ мнѣніе, что это не могло быть случайно, таково, вѣроятно, было намѣреніе автора. Это замѣчаніе, разумѣется, справедливо. Мнѣ казалось, что авторскій замыселъ здѣсь вполнѣ очевиденъ; въ настоящей трилогіи изъ современной жизни изрѣдка появляются и тѣ же предметы, которые были въ моихъ историческихъ романахъ, — вещи вѣдь переживаютъ людей. Эта подробность связана съ болѣе общимъ вопросомъ.

Въ моихъ историческихъ романахъ я пользовался пріемами стилистическаго подчеркиванія. Такъ, напримѣръ, похоронная процессія Робеспьера въ «Девятомъ Термидора» написана фразами равной длины, а приближеніе кавалерійскаго отряда генерала Бонапарта въ «Чортовомъ Мостѣ? — фразами съ равномѣрно наростающимъ числомъ словъ. Отъ этихъ пріемовъ я давно отказался, — не оттого, конечно, что боялся упрека въ «вымученности», который могъ бы быть мнѣ сдѣланъ, а прежде всего потому, что остались эти пріемы совершенно незамѣченными и слѣдовательно художественной цѣли не достигли (пользоваться типографскими способами, треугольничками, печатаньемъ не съ начала, а со средины строчки и т. п. я никакъ не хотѣлъ). Но ужъ во всякомъ случаѣ символику романа было невозможно подчеркивать звуковыми пріемами. Между тѣмъ настоящая трилогія есть произведеніе символическое, со всѣми недостатками этого литературнаго рода, — помимо недостатковъ ей особо присущихъ.

Авторъ.

ПРИМѢЧАНІЯ.

(Къ стр. 5).

1) Это подлинный гороскопъ юнаго Валленштейна, составленный Кеплеромъ (Navitas Wallensteinii, Joannis Kepleri astronomi, opera omnia, volumen primum, p. 388).

(Къ стр. 54).

2) Это, разумѣется, подлинныя слова Ленина. Точно такъ же и въ другихъ историческихъ главахъ «Пещеры», какъ засѣданіе Палаты Общинъ, съ инцидентомъ и съ рѣчью Ллойдъ-Джорджа, авторъ считалъ для себя обязательной точность.

Того же автора:

ЗАГАДКА ТОЛСТОГО

С-Петербургъ, 1914. — Берлинъ, 1922

ОГОНЬ И ДЫМЪ

Парижъ, 1922

СЕРІЯ „МЫСЛИТЕЛЬ“

I. ДЕВЯТОЕ ТЕРМИДОРА

Третье изданіе. Берлинъ, «Слово», 1928

II. ЧОРТОВЪ МОСТЪ

Берлинъ, «Слово», 1925

III. ЗАГОВОРЪ

Берлинъ, «Слово», 1927

IV СВЯТАЯ ЕЛЕНА, МАЛЕНЬКІЙ ОСТРОВЪ

Второе изданіе. Берлинъ, «Слово», 1926

ПОРТРЕТЫ

Берлинъ, «Слово», 1931

КЛЮЧЪ

Берлинъ, «Слово», 1930

БѢГСТВО

Берлинъ, «Слово», 1932

ДЕСЯТАЯ СИМФОНІЯ

Парижъ, «Современныя Записки», 1931

СОВРЕМЕННИКИ

Второе изданіе. Берлинъ, «Слово», 1932

ЗЕМЛИ, ЛЮДИ

Берлинъ, «Слово», 1933

ПЕЩЕРА I

Берлинъ, «Слово», 1934

BINDING OCT 8 1969

PG
3476
A327P4
t.2

Aldanov, Mark Aleksandrovich
Peshchera

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY